

Болеслав Прус

ФАРАОН

КНИГА ВТОРАЯ

1

Невдалеке от города Бубаста находился большой храм богини Хатор.

В месяце паини (март — апрель), в день весеннего равноденствия, часов в десять вечера, когда звезда Сириус склонялась к закату, у ворот храма остановились два жреца, пришедшие, по-видимому, издалека. За ними следовал паломник. Он шел босиком, голова его была посыпана пеплом, лицо закрыто лоскутом грубой холстины.

Несмотря на ясную ночь, черты двух других путников также нельзя было разглядеть. Они стояли в тени двух исполинских статуй богини с коровьей головой, охранявших вход в храм и милостивым своим оком оберегавших ном Хабу от мора, засухи и южных ветров.

Отдохнув немного, паломник припал грудью к земле и долго молился. Потом встал, взял в руки медную колотушку и постучал в ворота. Мощный звон прокатился по всем дворам, отдался эхом от толстых стен храма и пронесся над пшеничными полями, над крышами крестьянских мазанок, над серебристыми водами Нила, где слабыми вскриками ответили ему разбуженные птицы.

Наконец за воротами послышался шорох и кто-то спросил:

— Кто нас будит?

— Раб божий Рамсес, — ответил паломник.

— Зачем ты пришел?

— За светом мудрости.

— Какие у тебя на это права?

— Я получил посвящение в низший сан и во время больших процессий в храме ношу факел.

Ворота широко отворились. На пороге стоял жрец в белой одежде. Протянув руку, он медленно и внятно произнес:

— Войди. И когда ты переступишь этот порог, да ниспошлют боги покой твоей душе и да исполнятся желания, которые ты возносишь к ним в смиренной молитве.

Паломник припал к его ногам, а жрец, делая какие-то таинственные знаки над его головой, прошептал:

— Во имя того, кто есть, кто был и будет... кто все сотворил... чье дыхание наполняет мир зримый и незримый и кто есть жизнь вечная...

Когда ворота закрылись, жрец взял Рамсеса за руку и в темноте повел его между огромными колоннами в предназначенное ему жилище. Это была небольшая келья, освещенная плоской. На каменный пол была брошена охапка сена, в углу стоял кувшин с водой, а рядом лежала ячменная лепешка.

— Я вижу, что здесь я действительно отдохну от гостеприимства номархов! — весело воскликнул Рамсес.

— Думай о вечности! — произнес жрец и удалился.

На царевича неприятно подействовал этот ответ. Несмотря на голод, он не стал есть лепешку и не выпил воды. Он присел на подстилку из сухой травы и, глядя на свои израненные в пути ноги, думал: «Зачем я сюда пришел?.. Зачем добровольно отказался от своего высокого положения?..»

Голые стены кельи напоминали ему отроческие годы, проведенные в школе жрецов. Сколько побоев вынес он там!.. Сколько ночей провел в наказание на каменном полу! И сейчас он вновь почувствовал прежнюю ненависть и страх к суровым жрецам, которые на все его просьбы и вопросы отвечали неизменно: «Думай о вечности!»

После нескольких месяцев шумной жизни попасть в такую тишину, променять двор наследника на сумрак и одиночество и, отказавшись от пиршества, женщин и музыки, запереться в угрюмых каменных стенах...

— Я с ума сошел!.. Я с ума сошел!.. — повторял Рамсес.

Он готов был уже покинуть храм, но его остановила мысль, что ему могут не открыть ворота. Грязь, покрывавшая его ноги, пепел, сыпавшийся с волос, жесткое рубище паломника — все стало ему вдруг противно. О, если б при нем был меч! Но разве в этой одежде и в этом месте он посмел бы пустить его в ход?

Рамсес почувствовал непреодолимый страх, и это отрезвило его. Он вспомнил, что боги в храмах ниспосылают на людей этот трепет, который должен служить началом постижения мудрости.

«Но ведь я наместник и наследник фараона, — подумал он. — Кто здесь может мне что-либо сделать?»

Рамсес встал и вышел из своей кельи. Он очутился на большом дворе, окруженном колоннами. Ярко светили звезды, в одном конце двора видны были огромные пилоны, в другом — открытые врата храма.

Он направился туда. Здесь царил мрак, и лишь где-то вдали горело несколько светильников, как бы паривших в воздухе. Вглядевшись, он увидел между входом и огнями целый лес толстых колонн, капители которых расплывались во тьме. В глубине, в нескольких сотнях шагов от него, смутно виднелись исполинские ноги сидящей богини и ее руки, лежавшие на коленях, едва освещенных светом светильен.

Вдруг он услышал шорох. Вдали из бокового придела показались белые фигуры, выступавшие попарно. Это было ночное шествие жрецов для поклонения статуе богини. Они пели в два хора.

Хор первый. «Я тот, кто сотворил небо и землю и населил их живыми существами».

Хор второй. «Я тот, кто создал воду и большой разлив ее, кто дал мать быку — отцу всего сущего».

Хор первый. «Я тот, кто сотворил небо и тайну его высот и вложил в них души богов».

Хор второй. «Я тот, кто, открывая глаза, повсюду разливает свет, а закрывая их — все окутывает тьмой».

Хор первый. «Воды Нила текут по его повелению...»

Хор второй. «Но боги не ведают его имени».

[90]

Их голоса, сначала неясные, становились все громче, так что слышно было каждое слово, но, по мере того как процессия удалялась, они стали рассеиваться между колоннами, стихать, и, наконец, все смолкло.

«Однако эти люди не только едят, пьют и копят богатства, — подумал Рамсес, — они действительно служат богам даже ночью. Но для чего это статуе?»

Царевич не раз видел на границах номов статуи богов, которых жители соседнего нома забрасывали грязью, а солдаты чужеземных полков обстреливали из луков и пращей. Если боги терпеливо сносят такое поношение, то вряд ли их трогают также молитвы и процессии.

«Кто, впрочем, видел богов?» — задал он себе вопрос.

Огромные размеры храма, его бесчисленные колонны, огни, горящие перед статуей, — все это привлекало Рамсеса. Ему захотелось осмотреться в этом таинственном сумраке, и он пошел вперед.

Вдруг ему почудилось, будто к его затылку мягко прикоснулась чья-то рука... Он оглянулся... Никого не было... Он пошел дальше.

На этот раз две руки обхватили его голову, а третья, большая рука, легла на плечи...

— Кто здесь? — вскрикнул царевич и бросился к колоннам, но споткнулся и чуть не упал — кто-то схватил его за ноги.

Ему снова стало страшно еще больше, чем в келье, и он, как безумный, побежал, натываясь на колонны, которые, казалось, нарочно преграждали ему дорогу. Темнота охватывала его со всех сторон.

— О святая богиня, спаси! — прошептал он.

И тут же остановился: в нескольких шагах от него были широко открытые ворота храма, в которые глядело звездное небо. Он оглянулся: среди леса гигантских колонн горели светильники, едва освещающая бронзовые колени богини Хатор. Царевич возвратился в свою келью взволнованный и потрясенный. Сердце металось в груди, как птица, пойманная в силки. Впервые за много лет он пал ниц и стал горячо молиться о милосердии и прощении.

— Ты будешь услышан! — раздался над ним приятный голос.

Рамсес быстро поднял голову, но в келье никого не было. Тогда он стал молиться с еще большим жаром и так и заснул, распростертый крестообразно на каменном полу, припав к нему лицом.

На следующий день он проснулся другим человеком: он познал власть богов и получил надежду на прощение.

С этих пор в продолжение длинного ряда дней Рамсес с рвением и верой предавался благочестивым испытаниям. Он дал сбрить себе волосы, облачился в жреческие одежды, подолгу молился в своей келье и четыре раза в сутки пел в хоре самых младших жрецов. Его прошлая жизнь, заполненная развлечениями, казалась ему отвратительной: с ужасом думал он о том неверии, которым заразился от распущенной молодежи и чужеземцев, и если бы ему в это время предложили выбрать трон или жреческий сан, он не знал бы, что предпочесть.

Однажды верховный жрец храма призвал царевича к себе и напомнил, что он пришел сюда не только молиться, но и познать мудрость. Похвалив его благочестивый образ жизни, благодаря которому он уже очистился от мирской суеты, жрец велел ему ознакомиться с существующими при храме школами.

Скорее из послушания, чем из любопытства, Рамсес прямо от него отправился во внешний двор, где помещался класс чтения и письма.

Это был большой зал, который освещался сверху через отверстие в крыше. На циновке сидело несколько десятков совершенно обнаженных учеников с навощенными дощечками в руках. Одна стена была из гладкого алебастра. Перед ней стоял учитель и разноцветными мелками чертил на ней знаки.

Когда царевич вошел, ученики (почти все одного с ним возраста) пали ниц, учитель же, склонившись, прервал урок, чтобы прочесть юношам наставление о великом значении науки.

— Друзья мои, — говорил он, — «человек, у которого сердце не лежит к наукам, должен заниматься физическим трудом и напрягать зрение. Но тот, кто оценил преимущества учения и отдался ему всей душой, может достичь всякой власти, всяких придворных должностей. Помните об этом! Взгляните на жалкую жизнь людей, не знающих грамоты. Кузнец черен, вымазан сажей, руки у него в мозолях, и работает он день и ночь. Каменотес, чтобы наполнить желудок, в кровь сбивает себе пальцы. Штукатур, отделяющего капители в форме лотоса, порой сносит ветром с гребня кровли. У ткача всегда согнуты колени. Оружейный мастер вечно странствует: не успеет он вечером вернуться в свой дом, как утром уже спешит

его покинуть. У маляра, расписывающего стены жилищ, пальцы всегда в краске, а время он проводит в обществе прохвостов. Скороход, прощаясь с семьей, должен писать завещание, ибо рискует встретиться в пути хищных зверей или кочевников-азиатов. Я показал вам судьбу людей, занимающихся разными ремеслами, так как хочу, чтобы вы полюбили искусство письма — основу всех основ. А теперь я покажу вам его достоинства. Письмо важнее всех других занятий. Тот, кто владеет искусством письма, с детства пользуется уважением, ему поручаются великие дела. А тот, кто неграмотен, живет в нищете. Учение в школе тяжело, как восхождение на гору, но зато вам хватит его на целую вечность. Спешите же как можно скорее постичь и полюбить науку. Звание писца — высокое звание: его чернильница и книга доставляют ему радость и богатство».

[91]

После этого похвального слова науке, которое в течение трех тысяч лет неизменно слушали египетские ученики, учитель взял мелок и стал писать на алебастровой стене азбуку. Каждая буква изображалась несколькими иероглифическими или демотическими знаками[92]. Глаз птицы или перо обозначали букву А, овца или цветочный горшок — букву Б, стоящий человек или челнок — букву К, змея — Р, сидящий человек или звезды — С. Обилие знаков крайне затрудняло обучение чтению и письму.

Рамсес устал все время только слушать и оживлялся, лишь когда учитель заставлял кого-нибудь из учеников начертить или назвать букву и бил его палкой за ошибки.

Распрощавшись с учителем и учениками, наследник из школы писцов прошел в школу землемеров. Там молодых людей учили снимать планы с полей, имевших чаще всего форму прямоугольника, и нивелировать почву при помощи двух вех и угольника. В этом же отделении учили писать числа — искусству не менее сложному, чем писание иероглифов или демотических знаков. Простейшие арифметические действия составляли программу высшего курса, и производились они при помощи шариков.

Рамсесу это скоро наскучило, и прошло несколько дней, прежде чем он решился посетить школу лекарей.

Это была в то же время и больница, представлявшая собой большой тенистый сад, где благоухали душистые травы. Больные проводили здесь целые дни на воздухе и солнце, лежа на койках, на которых вместо матрацев было натянуто полотно.

Рамсес вошел туда в самый разгар врачевания. Несколько пациентов купалось в проточном пруду, одного смазывали благовонными мазями, другого окуривали. Некоторых усыпляли при помощи взгляда и движения руки. Кто-то стонал в то время, как ему вправляли вывихнутую ногу.

Тяжелобольной женщине жрец подносил в кружке микстуру, приговаривая:

«Войди, лекарство, войди, изгони боль из моего сердца, из моих членов, чудотворное лекарство».

[93]

Царевич, в сопровождении великого лекаря, направился в аптеку, где один из жрецов изготавливал целебные снадобья из трав, меда, оливкового масла, из кожи змей и ящериц, из костей и жира животных.

При появлении Рамсеса жрец не оторвал глаз от своей работы. Продолжая взвешивать и растирать какие-то вещества, он бормотал молитву:

«Исцелило Исиду, исцелило Исиду, исцелило Гора... О Исида, великая волшебница, исцели меня, избавь от всех дурных, злых болезней, от лихорадки бога и лихорадки богини... О Шанагат, сын Энагате! Эрукате! Крауарушагате! Папарука папарака папарура...»

[94]

— Что он говорит? — спросил наследник.

— Это тайна, — ответил великий лекарь, приложив палец к губам.

Когда они вышли на пустой двор, Рамсес обратился к великому лекарю:

— Скажи мне, святой отец, в чем состоит лекарское искусство и на чем основаны способы лечения? Я слышал, что болезнь — это злой дух, которого голод заставляет вселиться в человека и мучить его, пока он не получит подходящей пищи, и что один злой дух, или болезнь, питается медом, другой — оливковым маслом, а третий — выделениями животных. Поэтому врач должен прежде всего знать, какой дух вселился в больного, а затем — какую пищу нужно ему давать, чтобы он не мучил человека.

Жрец задумался, потом ответил:

— Что такое болезнь и как она нападает на человеческое тело, этого я не могу тебе сказать, Рамсес. Объясню тебе только, так как ты уже очистился, чем мы руководствуемся при назначении лекарств. Представь себе, что у человека болит печень. Так вот мы, жрецы, знаем, что печень находится под влиянием звезды Пенетер-Дэва[95] и что лечение должно находиться в зависимости от этой звезды. Но тут существуют две школы: одни утверждают, что человеку с больной печенью надо давать все то, над чем Пенетер-Дэва имеет власть, а именно: медь, ляпис-лазурь, отвары из цветов, главным образом из вербены и валерианы, наконец — разные части тела горлицы и козла; другие же полагают, что, когда больна печень, нужно лечить ее как раз противоположными средствами. А так как антиподом Пенетер-Дэвы является Собек[96], то лекарствами будут ртуть, изумруд и агат, орешник и подбел, а также части тела лягушки и совы, стертые в порошок. Но это еще не все. Значение имеют также день, месяц и время дня, ибо каждый день и час находится под влиянием звезды, которая усиливает или ослабляет действия лекарства. Надо наконец помнить, какая звезда и какой знак

зодиака благоприятствуют больному. Лишь когда врач примет все это во внимание, он может прописать безошибочно действующее лекарство.

— И вы исцеляете всех больных, проходящих в храм?

Жрец отрицательно покачал головой.

— Нет, — ответил он, — человеческий ум, вынужденный считаться со всем этим, легко может ошибиться. И что еще хуже: завистливые духи, гении других храмов, ревнуя к своей славе, нередко мешают лекарю и нарушают действие его лекарств. Поэтому конечный результат может быть различен: один больной полностью выздоравливает, другой слегка поправляется, а третий остается в прежнем состоянии. Бывают, впрочем, случаи, что больной заболевает еще сильнее или даже умирает... На то воля богов!..

Рамсес слушал внимательно; но в душе сознавал, что много не понимает.

Вспомнив же цель своего прихода в храм, он спросил великого лекаря:

— Вы собирались, святые отцы, открыть мне тайну фараоновой казны. Имеет ли к ней отношение то, что я видел?

— Никакого, — ответил лекарь, — мы несведущи в государственных делах. Вот придет святой Пентуэр, — это великий мудрец, он снимет пелену с твоих глаз.

Рамсес простился с лекарем, еще с большим нетерпением ожидая того, что должны были ему показать.

2

Храм Хатор встретил Пентуэра с великими почестями. Низшие жрецы вышли ему навстречу на расстояние в полчаса пути, чтобы приветствовать знатного гостя. Из всех чудотворных мест Нижнего Египта приехало много верховных жрецов, святых пророков, сынов божьих, чтобы услышать слова мудрости. Несколько днями позже прибыли великий жрец Мефрес и пророк Ментесуфис.

Пентуэру воздавали почести не только потому, что он был советником военного министра и, несмотря на свой сравнительно молодой возраст, членом верховной коллегии жрецов, но и потому, что он пользовался славой во всем Египте. Боги одарили его сверхчеловеческой памятью, красноречием и, главное, чудесным даром прозорливости. Во всяком деле и предмете он замечал стороны, скрытые от других людей, и умел изложить их понятным для всех образом.

Узнав, что Пентуэр будет возглавлять религиозный праздник в храме Хатор, не один номарх и не один высокий сановник фараона завидовал самому скромному жрецу, который услышит его вдохновенное слово.

Священнослужители, вышедшие на дорогу приветствовать Пентуэра, были уверены, что высокое духовное лицо прибудет в дворцовой колеснице или в носилках, несомых восьмью рабами. Каково же было их удивление, когда они увидели худого аскета с обнаженной головой, в рубище, ехавшего одиноко на ослице и встретившего их с великим смирением.

Когда его ввели в храм, он принес жертву богине и тотчас же отправился осмотреть место, где должно было состояться торжество.

После этого его больше не видели, но в самом храме и прилегающих к нему дворах началось необычное оживление. Свозили всякую драгоценную утварь, зерно, одежду, согнали несколько сот крестьян и работников. Пентуэр заперся с ними на предназначенном для торжества дворе и занялся приготовлениями. После восьмидневной работы он сообщил верховному жрецу храма Хатор, что все готово.

Все это время царевич Рамсес, уединившись в своей келье, предавался молитве и посту. Наконец однажды, в три часа пополудни, к нему явились, шествуя попарно, около десятка жрецов и пригласили его на торжество.

В преддверии храма царевича приветствовали старшие жрецы и вместе с ним воскурили благовония перед гигантским изваянием богини Хатор. Потом свернули в боковой коридор, узкий и низкий, в конце которого горел огонь. Воздух здесь был насыщен запахом смолы, варившейся в котле.

Неподалеку от котла через отверстие в полу доносились ужасные стоны и проклятия.

— Что это значит? — спросил Рамсес у одного из сопровождавших его жрецов.

Вопрошаемый ничего не ответил, но лица всех присутствующих выражали волнение и страх.

В этот момент великий жрец Мефрес взял в руки большую ложку и, зачерпнув из котла горячую смолу, возгласил:

— Так да погибнет всякий, кто выдаст священную тайну!

Произнеся это, он вылил смолу в отверстие пола, — из подземелья послышался отчаянный вопль.

— Убейте меня, если в сердцах ваших есть хоть капля жалости! — взывал голос под полом.

— Да источат твое тело черви! — произнес Ментесуфис, также выливая расплавленную смолу в отверстие.

— Собаки! Шакалы! — донеслось из подземелья.

— Да сгорит твое сердце, и прах да будет выброшен в пустыню! — произнес следующий жрец, повторяя обряд.

— О боги! можно ли столько страдать! — взывали из подземелья.

— Пусть дух твой, заклеянный преступлением и позором, блуждает по местам, где живут счастливые люди! — произнес следующий жрец и тоже вылил ложку смолы.

— Чтоб вас пожрала земля! Пощадите! Дайте вздохнуть...

Когда очередь дошла до Рамсеса, голос в подземелье уже смолк.

— Так боги карают предателей! — сказал, обращаясь к царевичу, верховный жрец храма.

Рамсес остановился и впился в него гневным взглядом. Казалось, вот-вот он разразится словами возмущения и покинет это сборище палачей. Но он почувствовал страх перед богами и молча двинулся вслед за другими. Теперь гордый наследник престола понял, что есть власть, перед которой склоняются фараоны. Его охватило отчаяние, ему хотелось бежать отсюда, отказаться от трона... Но он молчал и продолжал шествовать, окруженный жрецами, поющими молитвы.

«Теперь я знаю, — подумал он, — куда деваются люди, неугодные слугам божьим».

Мысль эта, однако, не уменьшила его ужаса.

Выйдя из узкого, наполненного дымом коридора, процессия опять очутилась под открытым небом, на возвышении. Внизу находился огромный двор, с трех сторон окруженный вместо стены одноэтажными строениями. От того места, где остановились жрецы, спускались в виде амфитеатров пять широких площадок, по которым можно было прохаживаться вокруг двора и спуститься вниз, во двор.

На самом дворе никого не было, но из строений выглядывали какие-то люди.

Верховный жрец Мефрес, как старший саном на этом собрании, представил наследнику Пентуэра. После ужасов, совершавшихся в коридоре, лицо аскета странно поразило наследника своею кротостью. Чтобы сказать что-нибудь, он обратился к Пентуэру:

— Мне кажется, что я уже где-то встречал тебя, благочестивый отец.

— В прошлом году на маневрах под Пи-Баилосом. Я состоял там при достойнейшем Херихоре, — ответил жрец.

Звучный, спокойный голос Пентуэра поразил Рамсеса. Ему показалось, что он уже слышал этот голос при каких-то необычайных обстоятельствах... Но где и когда?

Жрец произвел на него приятное впечатление. Только бы забыть крики человека, обливаемого кипящей смолой!

— Можно начинать, — объявил верховный жрец Мефрес.

Пентуэр вышел на площадку перед амфитеатром и хлопнул в ладоши. Из одноэтажного павильона выпорхнула группа танцовщиц и вышли жрецы, неся музыкальные инструменты и небольшую статую богини Хатор. Музыканты шли впереди, за ними — танцовщицы, исполняя священный танец, а позади несли изваяние, окруженное дымом курений. Шествие обошло вокруг всего двора, останавливаясь через каждые несколько шагов и моля божество ниспослать свое благословение, а злых духов — покинуть место, где должно состояться религиозное торжество.

Когда процессия вернулась к павильону, Пентуэр вышел вперед. Высшие жрецы окружили его. Их было человек двадцать или тридцать.

— С соизволения его святейшества фараона, — начал Пентуэр, — и с согласия высшей жреческой власти мы должны посвятить наследника престола в некоторые подробности жизни египетского государства, известные только божествам, правителям страны и храмам. Я знаю, достойные отцы, что любой из вас лучше объяснил бы молодому царевичу все это, ибо вы преисполнены мудрости, и богиня Мут говорит вашими устами, но так как обязанность эта пала на меня, жалкого ученика, то разрешите мне исполнить ее под вашим высоким руководством и наблюдением.

Шепот удовлетворения пронесся по рядам жрецов, которых он почтил этими словами. Пентуэр обратился к наследнику:

— Вот уже несколько месяцев, слуга божий Рамсес, как ты, словно заблудившийся путник, что ищет дорогу в пустыне, ищешь ответа на вопрос, почему уменьшились и продолжают уменьшаться доходы святейшего фараона. Ты расспрашивал номархов, и, хотя они все объяснили тебе, как смогли, ответы их не удовлетворили тебя, несмотря на то, что эти вельможи наделены высшей человеческой мудростью. Ты обращался к великим писцам, и они запутались в поставленных тобой вопросах, как птицы в сетях, и не могли выпутаться, ибо ум человека, даже получившего образование в школе писцов, не в силах постигнуть необъятного. Наконец, утомленный бесплодными разъяснениями, ты стал приглядываться к земле номов, их людям и произведениям их рук, но ничего не увидел, ибо есть вещи, о которых люди молчат, как камни, но о которых расскажет тебе даже камень, если на него падет свет богов. Когда, таким образом, тебя обманули все земные умы и силы, ты обратился к богам. Босой, посыпав пеплом голову, ты пришел как кающийся в сей великий храм, где с помощью молитв и лишений очистил тело свое и укрепил дух. Боги, в особенности же могущественная Хатор, услышали твои мольбы и через мои недостойные уста дадут тебе ответ, который ты должен запечатлеть глубоко в своем сердце...

«Откуда он знает, — думал, слушая Пентуэра, Рамсес, — что я расспрашивал писцов и номархов? А... ему сказали Мефрес и Ментесуфис... Впрочем, они все знают».

— Слушай, — продолжал Пентуэр. — С разрешения присутствующих здесь сановников храма, я открою тебе, чем был Египет четыреста лет назад, в царствование наиболее славной и благочестивой девятнадцатой Фиванской династии, и что он представляет собою теперь.

Когда первый фараон той династии, Ра-Мен-Пехути-Рамсес, принял власть над страной, доходы государственной казны, получаемые зерном, скотом, пивом, шкурами, драгоценными и простыми металлами и всевозможными изделиями, составляли сто тридцать тысяч талантов. Если бы существовал народ, который мог бы нам обменять все эти товары на золото, фараон получал бы ежегодно сто тридцать три тысячи мин^[97] золота. А так как один солдат может нести на

плечах груз в двадцать шесть мин, то для перенесения этого золота потребовалось бы пять тысяч солдат.

Жрецы стали перешептываться между собой с нескрываемым изумлением. А Рамсес даже забыл про человека, замученного в подземелье.

— Ныне же, — продолжал Пентуэр, — ежегодный доход царя от всех продуктов наших земель равен всего девяноста восьми тысячам талантов, и полученное за них золото перенесли бы четыре тысячи солдат.

— Что государственные доходы значительно сократились, я знаю, — перебил Рамсес, — но почему?

— Будь терпелив, слуга божий, — ответил Пентуэр. — Сократились не только доходы царя. При девятнадцатой династии в Египте количество вооруженных людей достигало ста восьмидесяти тысяч. Если бы боги сделали так, чтобы каждый тогдашний солдат превратился в камешек величиной с виноградину...

— Это невозможно, — прошептал Рамсес.

— Боги все могут, — строго промолвил верховный жрец Мефрес.

— Или лучше, если бы каждый солдат положил на землю один камешек, то было бы сто восемьдесят тысяч камешков, и взгляните, достойные отцы, — эти камешки заняли бы вот столько места... — Пентуэр указал на красноватого цвета прямоугольник, лежавший на земле. — В этой фигуре поместились бы камешки, брошенные всеми до единого солдатами времен Рамсеса Первого. В ней девять шагов в длину и около пяти в ширину. Фигура — красноватого цвета, цвета тела египтян, ибо в те времена наши полки состояли только из египтян...

Жрецы опять стали перешептываться между собой.

Наследник нахмурился: ему показалось, что это сказано в укор ему за то, что он любит чужеземных солдат.

— Нынче же, — продолжал Пентуэр, — с большим трудом набралось бы сто двадцать тысяч воинов, и если бы каждый из них бросил на землю камешек, получилась бы вот такая фигура... смотрите, достойнейшие.

Рядом с первым лежал второй прямоугольник такой же ширины, но значительно меньшей длины. Он состоял из нескольких полос разного цвета.

— В этой фигуре около пяти шагов в ширину, в длину же всего шесть шагов. Государство, таким образом, потеряло огромное количество солдат, треть того, что было у нас раньше.

— Государству нужнее мудрость таких, как ты, пророк, чем солдаты, — вставил Мефрес.

Пентуэр поклонился в сторону говорившего и продолжал:

— В этой новой фигуре, представляющей нынешнюю армию фараона, вы видите, достойнейшие, наряду с красным цветом, означающим коренных египтян, еще

три другие полосы: черную, желтую и белую. Они представляют собой наемные войска: эфиопов, азиатов, ливийцев и греков. Всех их около тридцати тысяч, но они стоят Египту столько же, сколько пятьдесят тысяч египтян.

— Надо поскорее избавиться от чужеземных полков, — заявил Мефрес, — они дороги, ни к чему не пригодны и учат наш народ безбожию и неповиновению. Уже сейчас многие египтяне не падают ниц перед жрецами... Мало того, некоторые дошли до того, что грабят храмы и гробницы... Поэтому — долой наемников! — с жаром повторил Мефрес. — Стране они причиняют только вред, а соседи подозревают нас во враждебных замыслах...

— Долой наемников! Разогнать мятежных язычников! — поддержали жрецы.

— Когда пройдут годы и ты, Рамсес, вступишь на престол, — продолжал Мефрес, — ты исполнишь этот святой долг по отношению к государству и богам.

— Выполни это!.. Освободи народ свой от неверных! — зывали жрецы.

Рамсес склонил голову и молчал. Вся кровь прихлынула у него к сердцу: ему казалось, что земля уходит из-под ног.

Разогнать лучшую часть его войска? Ему, который хотел бы удвоить армию, а храбрых наемных полков иметь вчетверо больше.

«Они безжалостны ко мне!» — подумал он.

— Говори же, посланец неба! — обратился к Пентуэру Мефрес.

— Я назову вам, святые мужи, — продолжал Пентуэр, — два бедствия, от которых страдает Египет: сократились доходы фараона и уменьшилась его армия.

— Что там армия!.. — пробурчал верховный жрец, пренебрежительно махнув рукой.

— А теперь, милостью богов и с вашего соизволения, я покажу вам, почему так случилось и почему это будет продолжаться и впредь.

Наследник поднял голову и посмотрел на говорившего. Он давно уже позабыл о человеке, которого истязали в подземелье.

Пентуэр сделал несколько шагов вдоль амфитеатра. За ним последовали и высокие духовные мужи.

— Вы видите эту длинную узкую полосу земли, заканчивающуюся широким треугольником? По обеим сторонам полосы лежат известняки, песчаники и граниты, а за ними тянутся пески. Посредине течет струя, которая в треугольнике разветвляется на несколько рукавов.

— Это Нил! Это Египет! — закричали жрецы.

— Посмотрите, — воскликнул Мефрес, — вот я обнажаю руку: вы видите эти две синие жилы, идущие от локтя к ладони? Разве это не Нил с его каналами, который начинается против Алебастровых гор^[98] и тянется вплоть до Фаюма? Теперь посмотрите на тыльную часть моей кисти: здесь столько жил, на сколько

рукавов разветвляется эта священная река за Мемфисом. А мои пальцы — не напоминают ли они число рукавов Нила, которые впадают в море?

— Великая истина! — восклицали жрецы, осматривая свои руки.

— Так вот я говорю вам, — продолжал с воодушевлением верховный жрец. — Египет — это след руки Осириса. На эту землю великий бог возложил свою руку: в Фивы упирался его божественный локоть, пальцы касались моря, а Нил — это его жилы. Нужно ли удивляться, что мы называем нашу страну благословенной.

— Несомненно, — шептали жрецы, — Египет — это явный отпечаток руки Осириса.

— А разве, — вмешался наследник, — у Осириса семь пальцев на руке? Ведь Нил впадает в море семью рукавами.

Последовало молчание. Его прервал Мефрес, обратившийся к Рамсесу с благодушной иронией.

— Неужели ты думаешь, юноша, — сказал он, — что у Осириса не могло быть семи пальцев, если б он того пожелал?

— Разумеется, — поддакнули жрецы.

— Продолжай, славный Пентуэр, — вмешался Ментесуфис.

— Вы правы, святые мужи, — продолжал Пентуэр, — эта струя со своими разветвлениями представляет собою образ Нила, узкая полоса травы, окруженная камнями и песком, — это Верхний Египет, а треугольник, пересеченный жилками воды, — подобие Нижнего Египта, обширной и самой богатой части государства. Так вот, в начале царствования девятнадцатой династии весь Египет, от Нильских порогов до моря, насчитывал пятьсот тысяч мер земли. И на каждой мере земли жило до шестнадцати человек: мужчин, женщин и детей. Но в течение четырехсот последующих лет почти с каждым поколением у Египта убывала часть плодородной земли.

Оратор подал знак. Десятка полтора молодых жрецов выбежали из строения и стали засыпать песком отдельные участки травы.

— С каждым поколением, — продолжал жрец, — убывала плодородная земля, и узкая ее полоса суживалась еще больше. Сейчас, — тут оратор повысил голос, — наша страна вместо пятисот тысяч мер пользуется только четырьмястами тысячами мер... Другими словами, за время царствования двух династий Египет лишился земли, которая прокармливала около двух миллионов человек!

Среди присутствующих снова поднялся ропот изумления и ужаса.

— А известно ли тебе, раб божий Рамсес, куда девались эти поля, на которых когда-то росла пшеница и ячмень или паслись стада? Ты знаешь, конечно, что их засыпало песком пустыни. Но говорили ли тебе, почему это случилось? Потому что не стало хватать крестьян, которые в прежние времена с помощью ведра и плуга с рассвета до ночи боролись с пустыней. А знаешь ли, почему не стало

хватать этих божьих работников? Куда они девались? Что выгнало их из страны? Причиной были войны за пределами Египта, наши войска побеждали врагов, наши фараоны увековечивали свои славные имена даже на берегах Евфрата, а наши крестьяне, как вьючный скот, несли за ними довольствие, воду и другие тяжести и мерли тысячами в пути. И вот в отмщение за кости, развеянные по восточной пустыне, западные пески пожрали наши земли, и теперь потребуется невероятный труд многих поколений, чтобы снова извлечь из песчаной могилы египетский чернозем.

— Слушайте, слушайте! — восклицал Мефрес. — Некий бог говорит устами этого человека. Да, наши победоносные войны были могилой Египта.

Рамсес не мог собраться с мыслями: ему казалось, что эти горы песку обрушились на его голову.

— Я сказал, — продолжал Пентуэр, — что необходим огромный труд, чтобы откопать Египет и вернуть ему прежнее богатство, которое поглотили войны. Но в силах ли мы это выполнить?

Он сделал еще несколько шагов вдоль амфитеатра, за ним последовали взволнованные слушатели. С тех пор как существовал Египет, никто еще так ясно не изображал бедствия страны, хотя все о них знали.

— В эпоху девятнадцатой династии в Египте было восемь миллионов населения. Если бы тогда каждый человек — женщина, старик и ребенок — бросил на эту площадку по зерну фасоли, эти зерна составили бы вот такую фигуру...

Он указал рукою на то место двора, где в два ряда, друг подле друга, лежало восемь больших квадратов, выложенных из красной фасоли.

— В этой фигуре шестьдесят шагов длины и тридцать ширины, и, как видите, благочестивые отцы, она сложена из одинаковых зерен, чтобы показать, что все тогдашнее население состояло из коренных египтян. А нынче — смотрите!

Он прошел дальше и указал на другую группу квадратов разного цвета.

— А вот эта фигура имеет те же тридцать шагов в ширину, но в длину только сорок пять? Почему же? Да потому, что в ней лишь шесть квадратов, ибо в нынешнем Египте уже не восемь, а только шесть миллионов жителей. Примите также во внимание, что, в то время как предыдущая фигура состояла исключительно из красной фасоли, в этой последней имеются части сплошь из черных, желтых и белых зерен, ибо как в нашей армии, так и в народе теперь много чужеземцев: черные эфиопы, желтые сирийцы и финикияне, белые греки и ливийцы...

Ему не дали договорить. Слушавшие его жрецы стали обнимать его, у Мефреса текли из глаз слезы.

— Не бывало еще подобного пророка! — раздавались возгласы.

— Уму непостижимо, когда он мог произвести эти вычисления! — воскликнул лучший математик храма Хатор.

— Отцы, — заявил Пентуэр, — не переоценивайте моих заслуг! В наших храмах в былые годы всегда таким образом изображали государственное хозяйство. Я только воскресил здесь то, о чем позабыли последующие поколения.

— Но подсчеты? — спросил математик.

— Подсчеты ведутся все время, во всех номах и храмах, — ответил Пентуэр, — а общие итоги хранятся в царском дворце.

— А фигуры? — не унимался математик.

— Фигуры — это те же поля, и наши землемеры чертят их еще в школе.

— Неизвестно, чему больше удивляться в этом человеке: его уму или скромности! — говорил Мефрес. — О, не забыли нас боги, если есть у нас такой...

Тут дозорный на башне храма призвал присутствующих к молитве.

— Вечером я закончу свои объяснения, — сказал Пентуэр, — а сейчас добавлю лишь несколько слов. Вы спросите, почему я воспользовался для этих изображений зернами? Как зерно, брошенное в землю, каждый год приносит урожай своему хозяину, так человек каждый год вносит налоги в казну. Если в каком-нибудь номе посеют на два миллиона меньше зерен фасоли, чем в прежние годы, то урожай ее будет значительно меньше и у хозяев будут плохие доходы. Так и в государстве: если убыло два миллиона населения — должен уменьшиться и приток налогов.

Рамсес, слушавший с большим вниманием, молча удалился.

3

Когда вечером жрецы и наследник вернулись во двор храма, там горело несколько сотен факелов, и так ярко, что было светло, как днем.

По знаку, данному Мефресом, снова появилось шествие музыкантов, танцовщиц и младших жрецов со статуей богини Хатор, которая имела коровью голову. Когда прогнали злых духов, Пентуэр возобновил свою речь:

— Вы видели, святые отцы, что со времен девятнадцатой династии у нас убыло сто тысяч мер земли и два миллиона населения. Этим объясняется, почему государственный доход уменьшился на тридцать две тысячи талантов, о чем все мы знаем. Но это только начало бедствий Египта. Казалось бы, что его святейшеству остается еще девяносто восемь тысяч талантов дохода. Но не думайте, что фараон столько и получает. Для примера я расскажу вам, что досточтимому Херихору удалось раскрыть в Заячьем округе^[99]. Во времена девятнадцатой династии там проживало двадцать тысяч человек, плативших налогов триста пятьдесят талантов в год. Сейчас там живет едва пятнадцать тысяч, которые платят всего двести семьдесят талантов. Между тем фараон вместо двухсот семидесяти получает только семьдесят талантов. «Почему?» — спросил досточтимый Херихор. И вот что обнаружило расследование. При девятнадцатой династии в номе было около ста чиновников, получавших по

тысяче драхм жалованья в год. Сейчас на той же территории, несмотря на убыль населения, находится больше двухсот чиновников, получающих по две тысячи пятьсот драхм в год. Наместнику Херихору неизвестно, как обстоит дело в других округах, но бесспорно одно, что казна фараона вместо девяноста восьми тысяч талантов в год получает только семьдесят четыре...

— Скажи лучше — пятьдесят тысяч, святой отец, — поправил его Рамсес.

— Позже я объясню и это, — ответил жрец. — Во всяком случае, запомни, царевич, что казна фараона теперь выплачивает чиновникам двадцать четыре тысячи талантов, тогда как при девятнадцатой династии платила только десять тысяч.

Глубокое молчание царило среди жрецов: у многих из них были родственники на государственной службе, и к тому же с довольно большим вознаграждением.

Пентуэр, однако, был непреклонен.

— Теперь, — продолжал он, — обрисую тебе, наследник, жизнь чиновников и жизнь народа в былое время и ныне.

— Может быть, не стоит терять на это время?.. Ведь каждый сам может увидеть это... — зашептали жрецы.

— А я хочу узнать сейчас, — твердо сказал Рамсес.

Шепот прекратился.

Пентуэр по ступеням амфитеатра спустился во двор, за ним наследник, верховный жрец Мефрес и остальные. Все они остановились перед длинным занавесом из циновки. По знаку, данному Пентуэром, подбежало десятка два молодых жрецов с пылающими факелами. Второй знак — и часть занавеса упала.

Из уст присутствующих вырвался возглас изумления. Перед ними была ярко освещенная живая картина, в которой участвовало около ста человек.

Картина состояла из трех ярусов: в первом представлены были земледельцы, во втором — чиновники, а на самом верху, на двух львах, головы которых служили подлокотниками, укреплен был золотой трон фараона.

— Так было, — заявил Пентуэр, — при девятнадцатой династии. Посмотрите на земледельцев: плуги их запряжены быками или ослами, лопаты и мотыги у них бронзовые — и, значит, крепкие. Посмотрите, какие это рослые, красивые люди! Сейчас таких можно встретить только среди телохранителей его святейшества — могучие руки и ноги, широкая грудь, улыбающиеся лица. Они искупались и умастили свое тело. Жены их заняты приготовлением пищи и одежды или мытьем домашней посуды. Дети играют или учатся в школе. Тогдашний крестьянин, как видите, ел пшеничный-хлеб, бобы, мясо, рыбу, фрукты, пил пиво и вино. А поглядите, какие прекрасные у них кувшины и чаши! Взгляните на чепцы, передники и накидки мужчин, — все разукрашено многоцветными вышивками. Еще искуснее расшиты сорочки их женщин... И заметьте, как тщательно все они причесаны, какие у них булавки, серьги, кольца и запястья!

Эти украшения делались из бронзы и цветной эмали, а иногда и из золота, хотя бы в виде тонкой проволоки. А теперь поднимите глаза выше, на чиновников. Они ходят в накидках (но и крестьянин надевал такую же по праздникам). Питаются они так же, как и крестьяне, то есть скромно, но сытно. Только утварь у них изящнее крестьянской и в ларцах чаще попадаются золотые кольца. Путешествуют они на ослах или в телегах, запряженных быками.

Пентуэр хлопнул в ладоши, и живая картина пришла в движение: крестьяне стали подавать чиновникам корзины винограда, мешки ячменя, гороха и пшеницы, кувшины вина, пива, молока и меда, большое количество дичи, целые куски белых и цветных тканей. Чиновники, получив эти продукты, часть оставляли себе, но наиболее красивые и драгоценные предметы передавали выше, к подножию трона. Площадка, на которой находился символ власти фараона, была вся загромождена продуктами, сложенными наподобие холма.

— Вы видите, достопочтенные, — сказал Пентуэр, — что в те времена, когда крестьяне жили сытно и зажиточно, казна его святейшества едва вмещала дары подданных. А посмотрите, что происходит сейчас.

Новый сигнал — упала следующая часть занавеса, и открылась вторая картина, в общих чертах повторявшая первую.

— Вот вам нынешние крестьяне, — заговорил снова Пентуэр, и в голосе его чувствовалось волнение. — Сами они — кожа да кости, и можно подумать — больные; они грязны и даже забыли о том, что значит смазывать себя оливковым маслом. Зато спины их исполосованы дубинками. Не видно здесь ни быков, ни ослов: да и к чему они, когда плуг тянут жена и дети. Мотыги и лопаты у них деревянные — они легко портятся, и пользы от них мало. Одежды на крестьянах нет никакой, и только женщины ходят в грубо тканых сорочках, но им и во сне не снятся те вышивки, какими украшали себя их деды и бабки. А посмотрите, что ест наш хлебопашец: иногда ячмень и сушеную рыбу, а обычно, семена лотоса, изредка — пшеничную лепешку, и никогда не видит он ни мяса, ни пива, ни вина. Вы спросите, куда делась его утварь, предметы обихода? Ничего у него нет, кроме кувшина с водой. Да для других вещей не нашлось бы и места в той норе, где он живет... Не посетуйте на меня, если я сейчас обращаю ваше внимание еще на кое-что. Вон там дети лежат неподвижно на земле — это мертвые. Вы не представляете себе, как часто в наше время умирают крестьянские дети от голода и непосильного труда. Но даже они, погибшие столь прискорбным образом, счастливее многих, оставшихся в живых, — тех, которые попадают под дубинку надсмотрщика или, подобно ягнтям, проданы финикиянам.

У Пентуэра от волнения сдавило горло; однако, передохнув, он продолжал, невзирая на молчаливое негодование жрецов.

— А теперь посмотрите на чиновников: какие они упитанные, румяные, как хорошо одеты! У жен их золотые запястья и серьги и такие тонкие одежды, что даже царевны могли бы им позавидовать. У крестьянина нет ни быка, ни осла,

зато чиновники путешествуют на лошадях или в носилках. Пьют они только вино, и притом — хорошее вино.

Он хлопнул в ладоши — и картина снова пришла в движение. Крестьяне стали подавать чиновникам мешки хлеба, корзины фруктов, вино, животных. Все это чиновники, как и раньше, ставили к подножию трона, но в значительно меньшем количестве. В царском ярусе уже не высились горы продуктов, зато ярус чиновников был переполнен.

— Таков нынешний Египет, — сказал Пентуэр, — нищие крестьяне, богатые писцы и казна не столь полная, как прежде. А теперь...

Он дал знак, и свершилось нечто неожиданное. Чьи-то руки стали загребать хлеб, фрукты, ткани с площадки фараона и чиновников. Когда же количество продуктов значительно уменьшилось, те же руки стали хватать и уводить крестьян, их жен и детей.

Зрители с изумлением смотрели на странные действия этих неизвестных похитителей. Вдруг кто-то крикнул:

— Это финикияне! Они обирают нас!

— Да, святые отцы, — сказал Пентуэр, — это руки пролезших к нам финикиян. Они обирают фараона и писцов, а крестьян, если с них нечего больше взять, обращают в рабство.

— Да, это шакалы, будь они прокляты!.. Вон их, негодяев! — кричали жрецы. — Это они больше всего причиняют вреда государству.

Не все, однако, кричали так.

Когда стихло, Пентуэр велел нести факелы в другую сторону двора и повел туда своих слушателей. Там было устроено нечто вроде выставки.

— Соблаговолите взглянуть, святые отцы, — сказал он. — Во времена девятнадцатой династии эти вещи ввозили к нам чужеземцы: из страны Пунт мы получали благовония, из Сирии — золото, железное оружие и военные колесницы. И это было все. В то время Египет сам многое вырабатывал. Окиньте взором эти огромные кувшины: какое разнообразие формы и окраски, или на мебель — на этот стул; выложенный десятью тысячами кусочков золота, перламутра и деревом разного цвета. Посмотрите на одежды: какое шитье, какие ткани, сколько оттенков! А бронзовые мечи, булавки, запястья, серьги! А земледельческие орудия и инструменты! Все это вырабатывалось у нас во времена девятнадцатой династии.

Он перешел к другим предметам.

— А сейчас, смотрите: кувшины малы и почти без всяких украшений, мебель простая, ткани грубые и однообразные. Ни одно из нынешних изделий не может сравниться ни по размерам, ни по прочности или красоте с прежними. Почему?

Пентуэр сделал еще несколько шагов. Факелы ярко освещали его. Он продолжал:

— Вот многочисленные товары, которые привозят нам финикияне из разных стран света: несколько десятков сортов благовоний, разноцветное стекло, мебель, посуда, ткани, колесницы, украшения... Все это приходит к нам из Азии и нами покупается. Теперь вы понимаете, достойнейшие, каким образом финикиянам удастся вырывать хлеб, плоды и скот из рук писцов и Фараона? Вот благодаря этим самым чужеземным изделиям, сгубившим наших ремесленников, как саранча траву.

Жрец перевел дух и продолжал:

— Среди товаров, которые доставляют финикияне царю, номархам и писцам, на первом месте стоит золото. Торговля золотом дает нагляднейший пример того разорения, которое приносят Египту азиаты. Кто берет у них один золотой талант, обязан через три года вернуть два таланта. Чаще же всего финикияне, под предлогом облегчения должнику уплаты долга, за каждый талант берут у него в аренду на три года две меры земли с населением в тридцать два человека. Взгляните сюда, досточтимейшие, — продолжал он, указывая на более ярко освещенную часть двора, — этот квадрат земли в сто восемьдесят шагов длиной и столько же шириной означает две меры. А вот эта кучка мужчин, женщин и детей состоит из восьми семейств. И все это вместе — люди и земля — поступает на три года в чудовищное рабство. За это время их владелец — фараон или номарх — не извлекает из них никакой прибыли и по истечении срока получает обратно истощенную землю, а людей — в лучшем случае человек двадцать, потому что остальные умирают в тяжких страданиях!..

Среди присутствующих раздался ропот негодования.

— Я сказал, что финикиянин за один золотой талант, отданный взаймы, берет две меры земли с населением в тридцать два человека в аренду на три года. Посмотрите, какой участок земли и как много людей. А теперь взгляните сюда. Вот этот кусок золота, меньше куриного яйца, это талант. Представляете ли вы себе, святые отцы, всю подлость финикиян, ведущих подобную торговлю? Этот жалкий кусок золота не обладает никакими ценными качествами: просто желтый тяжелый металл, который не ржавеет, — вот и все. Человек не оденется в золото и не утолит им ни голода, ни жажды. Если бы у меня была глыба золота величиной с пирамиду, я все равно был бы таким же нищим, как ливиец, кочующий по западной пустыне, где нет ни фиников, ни воды. И за кусок такого бесполезного металла финикиянин берет участок земли, который может прокормить и одеть тридцать два человека, а вдобавок берет и самих этих людей! В продолжение трех лет он пользуется трудом людей, которые умеют обрабатывать и засеивать землю, собирать зерно, изготавливать муку и пиво, ткать одежды, строить дома и выделывать мебель. В то же время фараон или номарх лишен на три года услуг этих людей. Они не платят ему податей, не носят тяжестей за армией, а работают на жадного финикиянина. Вам известно, досточтимые, что сейчас не проходит года, чтобы в том или другом номе не вспыхнул бунт крестьян, истощенных голодом, изнемогающих от работы, терпящих побои. Часть этих людей погибает, другие попадают в каменоломни,

население страны все убывает, и убывает только потому, что финикийнин дал кому-то кусок золота! Можно ли представить себе большее бедствие? И в подобных условиях не будет ли Египет год за годом лишаться земли и людей? Удачные войны разорили нашу страну, и финикийская торговля золотом добывает ее.

На лицах жрецов видно было удовлетворение; им приятнее было слушать замечания насчет коварства финикийян, чем насчет роскоши, какую позволяют себе писцы.

Пентуэр сделал паузу, а потом обратился к наследнику.

— И вот уже в течение нескольких месяцев, — сказал он, — ты, слуга божий Рамсес, с тревогой спрашиваешь, почему уменьшились доходы его святейшества царя. Мудрость богов доказала тебе, что не только истощается казна, но убывает и армия; и оба эти источника могущества фараонов будут иссякать и далее. И окончится это полным разорением государства, если небеса не пошлют Египту повелителя, который остановит поток бедствий, уже несколько сот лет заливающий нашу страну. Когда у нас было много земли и населения, казна фараонов была полна. Надо, следовательно, вырвать у пустыни захваченные ею плодородные земли, а с народа снять тяготы, ослабляющие его и сокращающие количество населения.

Жрецы заволновались, опасаясь, что Пентуэр опять заговорит о писцах и чиновниках.

— Ты видел, царевич, своими собственными глазами, и все видели, что пока народ был сыт, здоров и доволен, царская казна была полна. Когда же народ стал беднее, когда женам и детям земледельца пришлось запрячься в плуг, когда пшеницу и мясо стали заменять им семена лотоса, обеднела и казна. И если ты хочешь довести государство до того могущества, каким оно обладало до войн девятнадцатой династии, если желаешь, чтобы фараон, его чиновники и армия имели всего в изобилии, обеспечить стране долговечный мир, а народу благосостояние. Пусть снова взрослые едят мясо и одеваются в вышитые одежды, дети же играют или учатся в школе, а не стонут под бременем невзгод и не умирают от непосильной работы. Помни также, что Египет носит на груди своей ядовитую змею.

Присутствующие слушали с любопытством и страхом.

— Змея, что высасывает кровь из народа, отнимает поместья у номархов и уменьшает могущество фараона, — это финикийяне.

— Вон их! — закричали присутствующие. — Не платить им долги, не пускать их купцов, не принимать кораблей!

Их успокоил великий жрец Мефрес, обратившийся к Пентуэру со слезами на глазах.

— Я не сомневаюсь, — сказал он, — что устами твоими говорит с нами богиня Хатор, и не только потому, что человек не может быть столь мудрым и всеведущим, как ты, но еще и потому, что я увидел над головой твоей сияние в виде двух рогов. Благодарю тебя за великие слова, которыми ты рассеял наше неведение. Благословляю тебя и молю богов, чтобы они сделали тебя моим преемником!

Долго не смолкавшие возгласы одобрения поддержали пожелания высшего сановника храма. Жрецы были тем более довольны, что Пентуэр не затронул вторично вопроса о писцах. Мудрец проявил сдержанность: он указал на глубокую внутреннюю язву государства, но не разбередил ее и этим снискал всеобщее одобрение.

Рамсес не благодарил Пентуэра, а лишь прижал его голову к своей груди. Никто, однако, не сомневался, что проповедь великого пророка потрясла душу наследника и заронила в нее семя, из которого, быть может, вырастут слава и счастье Египта.

На следующий день Пентуэр, ни с кем не простившись, с восходом солнца покинул храм и уехал в Мемфис. Рамсес несколько дней хранил молчание; сидя у себя в келье или гуляя по темным коридорам храма, он размышлял; в нем происходила глубокая внутренняя работа.

В сущности, Пентуэр не сказал ничего нового: все жаловались на убыль земли и населения в Египте, на нищету крестьян, на злоупотребления писцов и чиновников и на грабительство финикийян. Но проповедь пророка привела в систему отрывочные доселе представления царевича, придала им осязательные формы и лучше осветила некоторые факты.

Слова Пентуэра о финикийцах повергли его в ужас. Рамсес до сих пор не понимал, как велик вред, который наносит этот народ его стране. Ужас его был тем сильнее, что он ведь и сам отдал своих крестьян в аренду Дагону и был очевидцем того, как ростовщик выколачивает из них подати.

Но мысль о личной его связи с финикийскими ростовщиками вызвала неожиданное следствие: Рамсесу не хотелось думать о финикийцах. Как только в душе его вспыхивало возмущение против этих людей, оно тотчас же заглушалось чувством стыда: ведь он был в некотором роде их пособником.

Зато наследник прекрасно понял, как губительно отражается на государстве убыль населения и земли, и на этом вопросе во время одиноких размышлений сосредоточились все его мысли.

«Если б у нас были, — рассуждал он про себя, — те два миллиона людей, которые потерял Египет, можно было бы с их помощью не только отвоевать у пустыни плодородные земли, но даже увеличить их площадь. А тогда, несмотря на финикийян, наши крестьяне жили бы лучше и доходы государства возросли бы. Но откуда взять людей?»

Случай подсказал ему ответ. Однажды вечером, прогуливаясь в саду храма, Рамсес встретил группу рабов, захваченных Нитагором на восточной границе и присланных в дар богине Хатор. Они отличались прекрасным телосложением, работали больше, нежели египтяне, и, так как их хорошо кормили, были даже довольны своей участью.

При виде их, словно молния, озарила наследника новая мысль, и он чуть не обезумел от волнения. Египту нужны люди, много людей, сотни тысяч, даже миллионы, два миллиона. Так вот они — эти люди! Стоит только вторгнуться в Азию, захватывая все по пути и отправляя в Египет. И до тех пор не прекращать войны, пока у каждого египетского крестьянина не будет своего раба.

Так зародился в уме его план, простой и грандиозный, осуществление которого должно было дать государству людей, крестьянам — помощников в работе, а казне фараона — неисчерпаемый источник дохода.

Рамсес был в восторге. Однако на следующий день в душе его снова проснулось сомнение.

Пентуэр особенно энергично подчеркивал, а еще раньше говорил об этом Херихор, что источником бедствий Египта были победоносные войны. И отсюда должно было следовать, что новые войны не помогут процветанию страны.

«И Пентуэр и Херихор — великие мудрецы, — размышлял наследник. — Если они считают войну вредной и если так же думает великий жрец Мефрес и другие жрецы, то, может быть, в самом деле война — опасное предприятие. Это мнение, должно быть, верно, если его поддерживают столько мудрых и святых людей».

Наследник был глубоко огорчен. Он придумал простой способ вывести Египет из упадка, а между тем жрецы утверждают, что именно война может привести страну к окончательной гибели...

Вскоре, однако, произошел случай, несколько поколебавший веру наследника в правдивость жрецов или, вернее, пробудивший в нем прежнее к ним недоверие.

Как-то он шел с одним лекарем в библиотеку. Путь туда вел через узкий темный коридор. Наследник поморщился и не захотел переступить через порог.

— Я не пойду этой дорогой, — сказал он.

— Почему? — спросил его удивленный спутник.

— Разве ты не помнишь, святой отец, что в конце коридора есть подземелье, в котором жестоко замучили какого-то предателя.

— А! — вспомнил лекарь. — Это подземелье, куда мы перед проповедью Пентуэра лили расплавленную смолу.

— И убили человека!

Лекарь улыбнулся. Это был добродушный и жизнерадостный толстяк. Видя возмущение Рамсеса, он немного замялся и сказал:

— Да, конечно, нельзя выдавать священные тайны. Перед всяким большим торжеством мы напоминаем об этом будущим жрецам.

Тон его речи показался Рамсесу столь странным, что он попросил лекаря высказаться яснее.

— Я не могу выдать тайну, — ответил тот, — но, если ты, государь, пообещаешь сохранить ее, я расскажу тебе одну историю.

Рамсес согласился, и тот начал рассказывать:

— Один египетский жрец, обходя храмы языческой страны Арам[100], встретил человека, хорошо упитанного и, по-видимому, довольного своей судьбою, который был очень бедно одет. «Объясни мне, — сказал жрец веселому бедняку, — почему, хотя ты, по-видимому, и беден, у тебя такой вид, точно ты кормишься не хуже жреца, ведающего хозяйством храма?» Человек, оглянувшись, не подслушивает ли кто, ответил: «Потому что у меня очень жалобный голос и я состою при этом храме грешником, который терпит муки. Когда народ собирается на богослужение, я залезаю в подземелье и начинаю стонать и вопить, сколько хватит сил. За это меня весь год сытно кормят, а за каждый день мученичества дают кувшин пива». Так делается в языческой стране Арам, — закончил жрец, приложив к губам палец. — Помните же, ваше высочество, что вы мне обещали, и думайте о нашей расплавленной смоле, как вам угодно.

Этот рассказ взволновал Рамсеса. Правда, он с чувством облегчения узнал, что человек в храме не был замучен до смерти, но в нем проснулись давние подозрения.

Что жрецы обманывают простой народ, в этом Рамсес не сомневался. Еще когда он учился в жреческой школе, он видел процессии священного быка Аписа. Народ верил, что это Апис ведет жрецов, между тем каждый ученик знал, что божественное животное идет туда, куда его гонят жрецы.

Как знать, не была ли вся проповедь Пентуэра такой же «процессией Аписа», предназначенной специально для него. Ведь так легко рассыпать по земле разноцветную фасоль и не так трудно поставить живые картины. Он видел представления гораздо более грандиозные — хотя бы борьбу Сета с Осирисом, в которой участвовали несколько сот человек. А разве и это не было обманом, придуманным жрецами? Зрелище выдавалось за борьбу богов, а между тем то были переодетые люди. Осирис погибал в борьбе, хотя жрец, изображавший Осириса, был здоров, как носорог. Каких только не показывали там чудес: вода бурлила, гремел гром, сверкали молнии, земля содрогалась и извергала огонь... и все это был обман. Почему же представление Пентуэра должно быть правдой? Теперь у наследника были доказательства того, что его обманывают. Ведь оказалась же мошенничеством история с человеком, которого обливали смолой, но это не самое важное. Самым важным, и в чем Рамсес неоднократно убеждался, было то, что Херихор не хочет войны, и Мефрес тоже не хочет войны, а Пентуэр — помощник одного из них и любимец другого.

В душе наследника происходила борьба. То ему казалось, что он все понимает, то все снова окутывалось туманом. То он был полон надежд, то ни во что не верил. С часу на час, изо дня в день он то возносился, то падал духом, как поднимаются и спадают воды Нила.

Постепенно, однако, Рамсес приходил в равновесие, и к тому времени, когда надо было покинуть храм, у него уже сложилось твердое мнение.

Во-первых, ему стало ясно, что Египет нуждается в земле и людях. Во-вторых, что самый простой способ добыть людей — это война с Азией. Однако Пентуэр доказывал ему, что война может только увеличить бедствия страны. И вот возникал вопрос, говорит ли он правду или лжет.

Мысль о том, что жрец говорил правду, приводила наследника в отчаяние, так как он не находил другого способа поднять благосостояние страны. Без войны население Египта будет из года в год уменьшаться, а казна фараона увеличивать свои долги. И все это кончится какой-нибудь ужасной катастрофой, которая может оказаться роковой для будущего правителя.

А если Пентуэр лгал? Но зачем? Очевидно, ему внушали это Херихор, Мефрес и другие жрецы. Но почему они противятся войне, какая им от этого польза? Ведь каждая война приносит жрецам и фараону огромные богатства.

Могли ли все-таки жрецы обманывать его в таком важном деле? Правда, они часто прибегают ко лжи, но не в столь серьезных случаях и не тогда, когда вопрос идет о будущем и самом существовании государства. Нельзя говорить, что они лгут всегда. Ведь они служат богам и стоят на страже великих тайн. В их храмах обитают духи, в чем Рамсес и сам убедился в первую же ночь своего пребывания здесь. Но если боги запрещают непосвященным приближаться к своим алтарям и так ревностно охраняют храмы, то почему они не охраняют Египет — эту величайшую для них святыню?

Когда несколько дней спустя Рамсес после торжественного богослужения, напутствуемый благословениями жрецов, покидал храм Хатор, его мучили два вопроса.

Может ли действительно война с Азией повредить Египту?

Могут ли жрецы в этом вопросе обманывать его, наследника престола?

4

Верхом, сопровождаемый несколькими офицерами, ехал наследник в Бубаст, знаменитую столицу нома Хабу.

Прошел месяц паони и начался эпифи (апрель — май). Солнце стояло высоко, предвещая тяжелую для Египта знойную пору. Несколько раз уже налетал страшный ветер пустыни. Люди и животные падали от жары, а на траву и деревья ложилась серая пыль, которая убивает растения.

Кончился сбор роз, и теперь их перерабатывали на масло, в полях убрали хлеба и клевер. Колодезные журавли непрерывно черпали илистую воду, чтобы оросить пашни и подготовить их к новому посеву. Начинался сбор фиг и винограда.

Воды Нила шли на убыль, каналы обмелели и распространяли зловоние. Над всей страной носилась тончайшая пыль, а с неба струились потоки жгучих солнечных лучей.

Несмотря на это, наследник был доволен. Ему наскучила жизнь кающегося; он тосковал по пирушкам, женщинам, шумной веселой жизни.

Местность здесь была плоская и изрезанная каналами, но довольно живописная. В номе Хабу жили не коренные египтяне, а потомки храбрых гиксосов, некогда покоривших Египет и управлявших им в течение ряда веков.

Чистокровные египтяне презирали этих потомков изгнанных победителей. Рамсес, однако, смотрел на них с удовольствием. Это были рослые, сильные люди с гордой осанкой и мужественным лицом. Они не падали ниц перед наследником и офицерами, как египтяне, и смотрели на знатных молодых людей без страха, но и без неприязни. На спине у них не видно было рубцов от палочных ударов: писцы побаивались их, зная, что гиксос отвечает ударом на удар, а иногда даже убивает своего притеснителя. Кроме того, гиксосы пользовались покровительством фараона, так как их население поставляло лучших солдат.

По мере приближения к городу, храмы и дворцы которого видны были из-за облака пыли, словно сквозь дымку, местность становилась все оживленнее. По широкому тракту и соседним каналам перевозили скот, пшеницу, плоды, вино, цветы, хлеб и множество других предметов, необходимых в быту. Поток людей и товаров, стремившийся по направлению к городу, густой и шумный, как под Мемфисом в дни больших праздников, был в этих местах обычным явлением. Вокруг Бубаста круглый год царил базарная суeta, утихавшая только ночью.

Причина этого была простая: город славился древним храмом Ашторет, привлекавшим толпы паломников со всей западной Азии. Без преувеличения можно сказать, что под Бубастом ежедневно располагалось в палатках и под открытым небом до тридцати тысяч чужеземцев: шасу или арабов, финикиян, иудеев, филистимлян[101], хеттов, ассирийцев и других. Египетское правительство благосклонно относилось к паломникам, приносившим ему значительный доход, жрецы терпели их, а население соседних номов вело с ними оживленную торговлю.

Еще за час пути до города стали попадаться мазанки и палатки приезжих, разбитые на голой земле. По мере приближения к Бубасту число их все возрастало и все чаще попадались на дороге их обитатели. Одни готовили пищу под открытым небом, другие толпились вокруг лавок, где продавались прибывавшие непрерывно товары, третьи целыми процессиями направлялись к храму. То там, то здесь показывали свое искусство укротители зверей, заклинатели змей, атлеты, танцовщицы и фокусники, собирая вокруг себя толпы народа. Над всей этой толпой царил зной и неумолкающий гул.

У городских ворот Рамсеса встретили его придворные, а также номарх нома Хабу с чиновниками. Однако встреча была настолько холодна, что удивленный наместник шепнул Тутмосу:

— Что это вы смотрите на меня, точно я приехал обличать и наказывать?

— Потому что у тебя, государь, — ответил его любимец, — вид человека, который пребывал все время с богами.

Он был прав. Аскетическая ли жизнь или общество ученых жрецов, а может быть, и длительные размышления изменили Рамсеса. Он похудел, кожа его потемнела, выражение лица стало серьезным, а осанка — степенной. За несколько недель он постарел на целые годы.

На одной из главных улиц города толпилось столько народу, что полицейским пришлось прокладывать дорогу наследнику и его свите. Толпа не приветствовала его и даже как будто не замечала; люди собирались вокруг небольшого дворца, кого-то ожидая.

— Что здесь происходит? — спросил Рамсес у номарха, неприятно задетый равнодушием населения.

— Здесь проживает Хирам, — ответил номарх, — тирский князь. Человек милосердный, он каждый день раздает щедрую милостыню, и потому сюда сбегаются нищие.

Наследник повернулся на лошади и, посмотрев, сказал:

— Я вижу здесь работников фараона. Они тоже приходят к финикийскому богачу за милостыней?

Номарх промолчал. К счастью, они подъезжали к дворцу, и Рамсес забыл о Хираме.

Несколько дней продолжались пиршества в честь наследника. Но на этих пиршествах не хватало веселья и не раз случались неприятные происшествия.

Как-то одна из женщин наследника, танцуя перед ним, расплакалась. Рамсес обнял ее и спросил, что с ней.

Сперва она не хотела отвечать, но, ободренная лаской господина, сказала, заливаясь слезами:

— Повелитель, я и мои подруги — мы все родом из знатных семей, мы принадлежим тебе, и нам должны оказывать уважение...

— Разумеется, — ответил царевич.

— А между тем твой казначей ограничивает наши расходы. Он хочет даже лишить нас служанок, без которых мы не можем ни умыться, ни причесаться.

Рамсес призвал казначея и строго пригрозил ему, повелев исполнять все требования высокородных девиц.

Казначей пал ниц перед наместником и обещал дать им все, что они потребуют.

Спустя несколько дней вспыхнули беспорядки среди дворцовых рабов, которые жаловались, что их лишают вина.

Наследник приказал выдать им вино. Но на следующий день во время военного парада к нему явилась делегация от полков с всепокорнейшей жалобой на то, что им уменьшили порции мяса и хлеба.

Наследник и на этот раз распорядился, чтобы были выполнены требования просителей. Однако вскоре его разбудили утром громкие крики у самых ворот дворца. Рамсес спросил, в чем дело. Воин, стоявший в карауле, объяснил, что собрались царские работники и требуют не выплаченное им жалованье.

Призвали казначея, и Рамсес гневно на него обрушился.

— Что у вас тут творится? — кричал он. — С тех пор как я приехал, нет дня, чтобы мне не жаловались на обиды. Если так будет продолжаться, я назначу следствие и положу конец вашему воровству!

Казначей, дрожа, пал ниц и простонал:

— Убей меня, господин, но что я могу сделать, когда твоя казна, твои амбары и скотные дворы пусты?

Несмотря на весь свой гнев, наместник понял, что казначей, может быть, и не виноват. Он велел ему удалиться и призвал Тутмоса.

— Послушай, — обратился он к своему любимцу, — тут творятся дела, которых я не понимаю и к которым не привык: мои воины и царские работники не получают жалованья, моих женщин ограничивают в расходах. Когда же я спросил казначея, что это значит, он ответил, что у нас нет ничего ни в казне, ни на скотных дворах.

— Он сказал правду.

— Как так? — вспыхнул Рамсес. — На мое путешествие царь отпустил двести талантов товарами и золотом. Неужели все это растрчено?

— Да, — ответил Тутмос.

— Каким образом? На что? — возмутился наместник. — Ведь на всем пути нас принимали у себя номархи?

— Но мы им за это платили.

— Значит, это плуты и воры, если они делают вид, будто принимают нас, как гостей, а потом обируют!

— Не сердись, — сказал Тутмос, — я тебе все объясню.

— Садись.

Тутмос сел и начал:

— Ты знаешь, что я уже месяц получаю стол из твоей кухни, пью вино из твоих кувшинов и ношу твое платье?

— Ты имеешь на это право.

— Но раньше я никогда этого не делал. Я жил, одевался и развлекался на свой счет, чтобы не обременять твоей казны. Правда, ты частенько платил мои долги, но это была лишь часть моих расходов.

— Не стоит вспоминать о долгах.

— В подобном же положении, — продолжал Тутмос, — находится больше десятка знатных молодых людей твоего двора. Они живут на твой счет, потому что у них ничего нет.

— Когда-нибудь я их щедро одарю, — перебил наследник.

— Так вот, — пояснял далее Тутмос, — мы черпаем из твоей казны, потому что нас заставляет нужда, и то же самое делают номархи. Если бы они могли, то устраивали бы для тебя пиршества и приемы на свой счет. Но, когда пировать не на что, приходится от этого отказываться. Неужели же ты и сейчас назовешь их ворами?

Рамсес, задумавшись, ходил по комнате.

— Да, я слишком поспешно осудил их, — ответил он. — Гнев затуманил мне глаза. Но все-таки я не хочу, чтобы мои придворные, воины и работники были в обиде. А так как все мои запасы исчерпаны, то надо сделать заем. Ста талантов, я думаю, хватит. Как ты полагаешь?

— Я думаю, что нам никто не даст займы ста талантов, — тихо ответил Тутмос.

Наместник надменно посмотрел на него.

— Это так отвечают сыну фараона? — спросил он.

— Можешь прогнать меня, — сказал печальным голосом Тутмос, — но я сказал правду. Сейчас нам никто не даст займы, потому что некому это сделать.

— А на что же Дагон? — удивился наследник. — Разве его нет при моем дворе? Уж не умер ли он?

— Дагон в Бубасте, но он целые дни вместе с другими финикийскими купцами проводит в храме Ашторет, в покаянии и молитвах.

— С чего это на него нашло такое благочестие? Разве оттого, что я был в храме, мой ростовщик тоже считает необходимым беседовать с богами?

Тутмос заерзал на табурете.

— Финикияне, — заявил он, — встревожены, даже удручены известиями...

— О чем?

— Кто-то распустил сплетню, будто, когда ты вступишь на престол, финикияне будут изгнаны, а имущество их конфисковано в пользу казны.

— Ну, до этого у них еще много времени, — сказал с усмешкой наследник.

У Тутмоса был такой вид, будто он что-то хочет сказать, но не решается.

— Ходят слухи, — проговорил он наконец, понизив голос, — что здоровье его святейшества, — да живет он вечно! — сильно пошатнулось...

— Это неправда! — перебил встревоженный царевич. — Я знал бы об этом.

— А между тем жрецы тайно молятся об исцелении фараона, — шептал Тутмос. — Я знаю достоверно.

Рамсес был поражен.

— Как, — воскликнул он, — мой отец тяжело болен, жрецы совершают молебствия, а я до сих пор ничего не знаю?

— Говорят, что болезнь царя может продлиться целый год.

Рамсес махнул рукой.

— Э, ты слушаешь сказки и волнуешь меня. Расскажи мне лучше про финикиян, это интереснее.

— Я слышал только то, что и все: будто ты, пребывая в храме, убедился в коварстве финикиян и дал клятву изгнать их.

— В храме? — повторил наследник. — Кто же может знать, в чем я убедился и какое решение принял в храме?

Тутмос пожал плечами и промолчал.

— Неужели и там предательство? — прошептал наследник. — Позови ко мне Дагона, — сказал он вслух, — я должен найти источник этих сплетен и положить им конец.

— И хорошо сделаешь, государь, — ответил Тутмос, — ибо весь Египет встревожен. Уже сейчас не у кого занимать деньги, а если эти слухи укрепятся, вся торговля станет. Наша аристократия обнищала, и не видно выхода из этого положения. Да и твой двор, господин, испытывает во всем недостаток. Еще месяц — и то же может случиться с царским двором...

— Молчи, — перебил его Рамсес, — и немедленно позови ко мне Дагона.

Тутмос поспешил уйти. Но ростовщик явился к наместнику лишь вечером. На нем был белый хитон с черной каймой.

— С ума вы посходили? — вскричал наследник, увидев его в таком наряде. — Я тебя сейчас развеселю! Мне нужно немедленно сто талантов. Ступай и не показывайся мне на глаза, пока не устроишь это дело!..

Но ростовщик закрыл лицо руками и зарыдал.

— Что это значит? — спросил наследник с раздражением.

— Господин, — ответил Дагон, опускаясь на колени, — возьми все мое имущество, продай меня и мою семью, все возьми, даже жизнь... Но сто талантов! Откуда мне взять сейчас такие деньги? Их нет ни в Египте, ни в Финикии...

Наследник расхохотался:

— Сет опутал тебя, Дагон! Неужели и ты мог поверить, что я хочу изгнать вас?

Ростовщик вторично припал к его ногам:

— Где же мне знать? Я простой купец и твой раб. И достаточно одного лунного месяца, чтобы все пошло прахом — и жизнь моя и богатство.

— Да объясни ты мне, что это значит? — спросил, потеряв терпение, наследник.

— Я не знаю, что сказать тебе. А если бы даже и знал, то великая печать наложена на уста мои... Сейчас я только молюсь и проливаю слезы.

«Разве финикияне тоже молятся?» — подумал Рамсес.

— Если я не в силах оказать тебе никакой услуги, — продолжал Дагон, — то дам, по крайней мере, добрый совет: здесь, в Бубасте, проживает знаменитый тирский князь Хирам, человек старый, умный и очень богатый. Призови его и попроси у него сто талантов. Может быть, он окажет тебе услугу...

Ничего не добившись от Дагона, Рамсес отпустил его, пообещав отправить послов к Хираму.

5

На следующий день утром Тутмос с многолюдной свитой офицеров и придворных посетил тирского князя и пригласил его к наместнику.

В полдень Хирам явился во дворец в простых носилках, несомых восемью нищими египтянами, которые получали от него милостыню. Он был окружен знатнейшими финикийскими купцами и толпой народа, каждый день собиравшейся перед его домом.

Рамсес был несколько удивлен, увидев старца внушительной осанки, в глазах которого светился ум. Хирам был одет в белый плащ, золотой обруч украшал его голову. Он с достоинством поклонился наместнику и, простерши руку над его головой, произнес краткое благословение. Присутствующие были глубоко тронуты.

Когда наместник указал ему на кресло и велел придворным удалиться, Хирам сказал:

— Вчера, господин, твой слуга Дагон передал мне, что тебе нужно сто талантов. Я немедленно отправил своих гонцов в Сабни-Хетем, Сетроэ[102], Буто и другие города, где стоят финикийские корабли, с требованием выгрузить все товары, и думаю, что через несколько дней ты получишь эту небольшую сумму.

— Небольшую! — перебил Рамсес с усмешкой. — Ты счастлив, князь, если сто талантов можешь назвать небольшой суммой.

Хирам покачал головой.

— Твой дед, вечно живущий Рамсес-са-Птах[103], — сказал он после минутного молчания, — удостаивал меня своей дружбы; знаю также святейшего отца твоего — да живет он вечно!.. — и даже попытаюсь лицезреть его, если буду допущен...

— А что заставляет тебя сомневаться в этом? — прервал его царевич.

— Есть люди, которые одних допускают к особе его святейшества, других не допускают, — ответил гость, — но не стоит говорить о них. Ты, царевич, в этом не виноват, а потому осмелюсь, на правах старого друга твоего отца и деда, задать тебе один вопрос.

— Я слушаю.

— Что это значит, что наследник престола, наместник фараона, вынужден занимать сто талантов, когда его государству должны больше ста тысяч талантов?

— Кто должен? — воскликнул Рамсес.

— Как кто? А дань от азиатских народов? Финикия должна вам пять тысяч, и, я ручаюсь, она их вернет, если не произойдет ничего неожиданного. Но, кроме нее, израильтяне должны три тысячи, филистимляне и моавитяне[104] по две тысячи, хетты тридцать тысяч... Я не помню всех статей, но знаю, что в общем это составляет от ста трех до ста пяти тысяч талантов.

Рамсес кусал губы. Его подвижное лицо выражало бессильный гнев. Он опустил глаза и молчал.

— Так это правда? — вздохнул вдруг Хирам, вглядываясь в наместника. — Так это правда? Бедная Финикия! Бедный Египет!

— Что ты говоришь, достойнейший? — спросил наследник, хмуря брови. — Я не понимаю твоих причитаний.

— Видно, ты знаешь, царевич, о чем я говорю, раз не отвечаешь на мой вопрос.

Хирам встал, как будто собираясь уходить.

— Тем не менее я не возьму обратно своего обещания. Ты получишь, господин мой, сто талантов.

Он низко поклонился, но наместник заставил его сесть.

— Ты что-то скрываешь от меня, князь, — произнес он тоном, в котором чувствовалась обида. — Я хочу, чтобы ты объяснил мне, какая беда грозит Финикии или Египту.

— Неужели наследник фараона не знает этого? — спросил Хирам нерешительным тоном.

— Я ничего не знаю. Я провел больше месяца в храме.

— Как раз там и можно было все узнать.

— Ты скажешь мне! — вскричал наместник, стукнув по столу. — Я никому не позволю шутить со мной.

— Я расскажу тебе, если ты, царевич, дашь мне клятвенное обещание молчать. Хотя я не могу поверить, чтобы наследника престола не поставили в известность...

— Ты не доверяешь мне? — изумился Рамсес.

— В таком деле я потребовал бы обещания даже у фараона, — ответил Хирам решительно.

— Ладно — клянусь моим мечом и знаменами наших полков, что не расскажу никому того, что ты откроешь мне.

— Достаточно, — сказал Хирам.

— Так я слушаю.

— Известно ли тебе, царевич, что происходит сейчас в Финикии?

— Даже и этого не знаю, — перебил раздраженный наместник.

— Наши корабли, — зашептал Хирам, — плывут со всех концов света на родину, чтобы по первому сигналу перевезти все население и его имущество куда-нибудь за море, на запад...

— Почему? — удивился наместник.

— Потому что Ассирия хочет завладеть нами.

Рамсес расхохотался.

— Ты с ума сошел, почтеннейший старец! — воскликнул он. — Ассирия возьмет под свою власть Финикию! А что мы на это скажем? Мы, Египет?

— Египет уже дал согласие.

Вся кровь бросилась царевичу в голову.

— У тебя от жары мысли путаются, старик, — сказал он уже спокойно. — Ты забываешь, что такое согласие не может быть дано без ведома фараона и... моего.

— За этим дело не станет, а пока что заключили договор жрецы.

— Какие жрецы? С кем?

— С халдейским верховным жрецом Бероэсом, уполномоченным царя Ассара, — ответил Хирам. — Кто выступает от Египта — не могу сказать наверное, но кажется, что досточтимый Херихор, святой отец Мефрес и пророк Пентуэр.

Наследник побледнел.

— Имей в виду, финикиянин, — сказал он, — что ты обвиняешь высших сановников государства в измене.

— Ты ошибаешься, царевич, это вовсе не измена, старейший верховный жрец Египта и министр фараона имеют право вести переговоры с соседними державами. К тому же откуда ты знаешь, что все это делается без ведома фараона.

Рамсес вынужден был признать в душе, что такой договор был бы не изменой государству, а лишь пренебрежением к наследнику престола. Так вот как относятся жрецы к нему, который через год может стать фараоном! Так вот почему Пентуэр порицал войну, а Мефрес поддерживал его!

— Когда же был заключен договор? Где?

— По-видимому, ночью в храме Сета близ Мемфиса, — ответил Хирам. — А когда — я точно не знаю, но мне кажется, что в тот день, когда ты уезжал из Мемфиса.

«Ах, негодяи, — подумал Рамсес. — Так-то они считаются с моим положением наместника! Значит, они обманывали меня даже тогда, когда изображали мне состояние государства! Какой-то добрый бог внушал мне сомнения еще в храме Хатор!»

После минутной внутренней борьбы он сказал вслух:

— Быть не может, и я не поверю твоему рассказу, пока ты не представишь мне доказательства.

— Доказательство будет, — ответил Хирам. — Со дня на день должен приехать в Бубаст великий ассирийский владыка Саргон, друг царя Ассара. Он приезжает под предлогом паломничества в храм богини Ашторет. Саргон принесет дары вашему высочеству и его святейшеству, а затем вы заключите договор, вернее — скрепите печатью то, что порешили жрецы, на гибель финикиянам, а может быть, и на вашу собственную беду.

— Никогда! — воскликнул наследник. — А какое же вознаграждение получит за это Египет?

— Вот речь, достойная царя: чем вознаградят Египет? Для государства всякий договор хорош, если оно получает от него выгоду. И именно то меня и удивляет, — продолжал Хирам, — что Египет собирается заключить невыгодную сделку, ибо Ассирия захватит, кроме Финикии, чуть ли не всю Азию, а вам, словно из милости, оставит израильтян, филистимлян и Синайский полуостров. Само собой разумеется, что в таком случае пропадет вся дань, полагающаяся Египту, и фараон никогда не получит этих ста пяти тысяч талантов.

Наследник покачал головой.

— Ты не знаешь египетских жрецов, — ответил он. — Никто из них никогда не принял бы такого договора.

— Почему? Финикийская поговорка гласит: «Лучше ячмень в амбаре, чем золото в пустыне». Может случиться, что Египет, почувствовав себя слишком слабым, предпочтет даром получить Синай и Палестину, чем воевать с Ассирией. Но вот что меня удивляет... Ведь сейчас легче победить Ассирию, чем Египет! У нее

какие-то затруднения на северо-востоке, войск мало, да и те неважные. Если бы Египет напал на Ассирию, он сокрушил бы ее, захватил бы несметные сокровища Ниневии и Вавилона и раз навсегда утвердил свою власть в Азии.

— Ну вот, видишь, значит, такого договора не может быть, — сказал Рамсес.

— Он был бы понятен для меня лишь в том случае... если бы жрецы... задумали свергнуть власть фараона в Египте. К этому, впрочем, они стремятся еще со времен твоего деда.

— Ты сам не знаешь, что говоришь, — перебил его наместник, однако на сердце у него стало тревожно.

— Может быть, я и ошибаюсь, — ответил Хирам, пристально глядя ему в глаза. — Но послушай...

Он придвинул свое кресло к царевичу и заговорил шепотом:

— Если бы фараон объявил войну Ассирии и выиграл ее, у него оказалась бы большая, преданная ему армия, сто тысяч недоплаченной дани, около двухсот тысяч талантов с Ниневии и Вавилона, наконец, около ста тысяч талантов ежегодно с завоеванных стран. Такое огромное богатство позволило бы ему выкупить поместья, заложенные у жрецов, и навсегда положить конец их вмешательству в дела власти.

У Рамсеса загорелись глаза. Хирам продолжал:

— А сейчас армия зависит от Херихора, то есть от жрецов, и, за исключением наемников, фараону не на кого рассчитывать. К тому же казна фараона пуста, и большая часть его поместий принадлежит храмам. Фараону, хотя бы для содержания двора, приходится каждый год делать новые долги. А так как финикийцы у вас уже больше не будет, то вам придется занимать у жрецов. Таким образом, через десять лет фараон — да живет он вечно! — лишится последних своих поместий. А что потом?

На лбу у Рамсеса выступил пот.

— Так вот, видишь, достойный государь, — продолжал Хирам, — жрецы лишь в одном случае могли бы и даже вынуждены были бы принять позорный договор с Ассирией — если бы они хотели унижить и уничтожить власть фараона. Иначе остается предположить, что Египет слаб и нуждается в мире во что бы то ни стало...

Рамсес вскочил.

— Замолчи! — вскричал он. — Я предпочту измену вернейших слуг такому унижению страны! Как можно, чтобы Египет отдал Азию Ассирии. Ведь через год он сам попадет под ярмо, так как, подписывая такой договор, он признает свое бессилие.

Царевич начал взволнованно ходить взад и вперед. Хирам смотрел на него не то с состраданием, не то с сочувствием.

Вдруг Рамсес остановился и сказал:

— Все это ложь! Какой-то ловкий бездельник обманул тебя, Хирам, а ты ему поверил. Если бы существовал такой договор, он хранился бы в величайшей тайне. А ведь, по-твоему, выходит, что один из четырех жрецов, которых ты назвал, предал не только фараона, но и самих заговорщиков.

— Но ведь мог быть кто-то пятый, кто подслушал их, — заметил Хирам.

— И продал тебе секрет?

— Меня удивляет, — заметил Хирам, — что ты еще не познал могущества золота.

— Но у наших жрецов больше золота, чем у тебя, хоть ты и богач из богачей.

— Но и я не отказываюсь от лишней драхмы. Зачем же другим швыряться талантами?

— Они — слуги богов, — возражал, горячась, наследник. — Они побоялись бы божьей кары.

Финикиянин усмехнулся.

— Я видал, — ответил он, — много храмов разных народов, а в храмах множество идолов, больших и маленьких, деревянных, каменных и даже золотых. Но богов я не встречал нигде.

— Богохульник! — воскликнул Рамсес. — Я сам видел божество, чувствовал на себе его руку и слышал голос.

— Где это было?

— В храме Хатор, в преддверии храма, в моей келье.

— Днем? — спросил Хирам.

— Ночью, — ответил Рамсес и задумался.

— Ночью ты слышал голоса богов и чувствовал их руку? — повторил финикиянин, напирая на каждое слово. — Ночью многое может привидеться. Как же это происходило?

— Кто-то прикасался к моей голове, плечам, ногам, и клянусь...

— Те... — перебил Хирам с улыбкой, — не следует клясться понапрасну.

Он пристально посмотрел на Рамсеса своими пронцательными, умными глазами и, видя, что в душе юноши пробуждаются сомнения, сказал:

— Вот что я тебе скажу, государь, ты неопытен и окружен сетью интриг, а я был другом твоего деда и отца. Поэтому я окажу тебе одну услугу. Загляни когда-нибудь ночью в храм Ашторет, но... обещаю тебе сохранить тайну... Приходи один, и ты увидишь, какие там боги говорят с нами и прикасаются к нам.

— Приду, — ответил Рамсес, подумав.

— Предупреди меня, государь, в какой-нибудь день утром. Я тебе скажу вечерний пароль храма, и тебя пропустят. Только не выдай ни меня, ни себя, — прибавил с добродушной улыбкой финикийнин. — Боги иногда еще прощают разоблачение своих тайн, люди же — никогда.

Он поклонился и, воздев глаза и руки, стал шептать благословения.

— Лицемер! — воскликнул Рамсес. — Ты молишься богам, в которых не веришь?

Хирам окончил благословение и сказал:

— Да, я не верю в богов египетских, ассирийских, даже финикийских, но верю в единого, который не обитает в храмах и имя которого неведомо.

— Наши жрецы тоже верят в единого, — заметил Рамсес.

— И халдейские тоже, а все-таки и те и другие сговорились против нас... Нет правды на свете, дорогой царевич.

После ухода Хирама наследник заперся в самой отдаленной комнате под предлогом чтения священных папирусов.

Под влиянием только что слышанного в его пылком воображении почти мгновенно созрел новый план.

Прежде всего он понял, что между финикийцами и жрецами ведется тайная борьба не на жизнь, а на смерть. За что? Конечно, за влияние и богатство. Правду сказал Хирам, что если в Египте не станет финикийца, то все поместья фараона, номархов и всей аристократии перейдут во владение храмов.

Рамсес никогда не любил жрецов и давно уже знал и видел, что большая часть Египта принадлежит им, что их города — самые богатые, поля — лучше возделаны, народ у них живет в довольстве. Понимал он также, что половина богатств, принадлежавших храмам, освободила бы фараона от беспрестанных забот и усилила бы его власть. Царевич знал это и не раз с горечью высказывал. Но когда при содействии Херихора он стал наместником и получил командование корпусом Менфи, он примирился с жрецами и подавлял свою неприязнь к ним. Сейчас все снова поднялось в нем. Значит, жрецы не только не рассказали ему о своих переговорах с Ассирией, но даже не предупредили его о посольстве какого-то Саргона...

Возможно, впрочем, что этот вопрос представляет величайшую тайну храмов и государств. Но почему они скрывали от него сумму дани, не выплаченной разными азиатскими народами? Сто тысяч талантов! Да ведь это деньги, которые могли бы сразу поправить состояние финансов фараона! Почему они скрывают то, что знает даже тирский князь, один из членов Совета этого города?

Какой позор для него, наследника престола и наместника, что чужие люди открывают ему глаза!

Но было нечто худшее: Пентуэр и Мефрес всячески доказывали ему, что Египет должен избегать войны.

Уже в храме Хатор это показалось ему подозрительным: ведь война могла доставить государству сотни тысяч рабов и поднять общее благосостояние страны. Сейчас же она казалась ему тем более необходимой, что Египет должен был собрать невыплаченную дань и наложить новую.

Рамсес, подперев голову руками, считал:

«Нам предстоит собрать сто тысяч талантов дани... Хирам полагает, что ограбление Вавилона и Ниневии принесет около двухсот тысяч... итого триста тысяч единовременно. Такой суммой можно покрыть расходы самой длительной войны, а в виде прибыли останется несколько сот тысяч рабов и сто тысяч ежегодной дани со вновь завоеванных стран. А после этого, — заключил наследник, — мы рассчитались бы с жрецами!»

Рамсеса лихорадило. Однако у него мелькнула мысль:

«А если Египту окажется не по силам победоносная война с Ассирией?»

Но при этом сомнении вся кровь в нем вскипела.

«Как? Египет не сможет раздавить Ассирию, когда во главе армии встанет он, Рамсес, потомок Рамсеса Великого, который в одиночку бросался на хеттские военные колесницы и сокрушал их!»

Рамсес мог представить себе все, кроме того, что он может быть побежден, не в силах будет вырвать победу у великих властелинов.

Он чувствовал беспредельную отвагу и был бы удивлен, если бы враг не обратился в бегство при одном виде его скачущих коней. Ведь в военной колеснице рядом с фараоном — сами боги, чтобы заслонить его щитом, а врагов поразить небесными громами. «Но что этот Хирам говорил мне про богов? — подумал царевич. — И что он собирается показать мне в храме Ашторет? Посмотрим!»

6

Хирам сдержал обещание. Каждый день ко дворцу наместника в Бубасте подходили толпы невольников и длинные вереницы ослов, нагруженных пшеницей, ячменем, сушеным мясом, тканями и вином. Золото и драгоценные камни приносили финикийские купцы под наблюдением служащих Хирама.

Таким образом, наместник в течение пяти дней получил обещанные ему сто талантов. Хирам взял себе небольшие проценты — один талант с четырех в год — и не требовал залога, а ограничивался распиской наместника, засвидетельствованной в суде.

Потребности двора были щедро обеспечены: три наложницы наместника получили новые наряды, благовония и по несколько невольниц с кожей разного цвета, прислуга — обильную пищу и вино, царские работники — недоплаченное жалованье, солдаты — увеличенные порции.

Двор был в восторге, тем более что Тутмосу и другим благородным юношам, по приказу Хирама, были даны финикиянами довольно крупные суммы займы. Номарх же провинции Хабу и его высшие чиновники получили щедрые подарки.

Несмотря на все усиливавшуюся жару, пиршество сменялось пиршеством, увеселение увеселением. Наместник, видя всеобщую радость, был и сам доволен. Беспокоило его только одно: поведение Мефреса и других жрецов. Он думал, что эти высокие сановники будут укорять его за большой заем у Хирама, сделанный вопреки их наставлениям в храме Хатор. Между тем святые отцы молчали и даже не показывались при дворе.

— Что это значит, — сказал он однажды Тутмосу, — что жрецы не делают нам никаких упреков? Ведь такой роскошной жизни, как сейчас, мы еще никогда себе не позволяли. Музыка играет с утра до ночи, а мы пьем с восхода солнца и засыпаем в объятиях женщин или с кувшинами у изголовья...

— За что им упрекать нас? — ответил с негодованием Тутмос. — Ведь мы находимся в городе Ашторет, для которой самое приятное богослужение — это веселье, а самое желанное жертвоприношение — любовь! Впрочем, жрецы понимают, что после столь длительных лишений и поста ты вправе повеселиться.

— Они говорили тебе об этом? — спросил царевич с тревогой.

— Не раз. Не далее как вчера святой Мефрес сказал мне, смеясь, что такого молодого человека, как ты, больше влечет веселье, чем богослужения или заботы по управлению государством.

Рамсес задумался. Значит, жрецы считают его легкомысленным мальчишкой, несмотря на то, что он благодаря Сарре не сегодня-завтра станет отцом? Но тем лучше! Для них будет сюрпризом, когда он заговорит с ними по-своему.

Правда, царевич и сам укорял себя в том, что, с тех пор как покинул храм Хатор, еще ни одного дня не посвятил делам нома Хабу. Жрецы могут подумать, что он и в самом деле удовлетворен объяснениями Пентуэра или что ему уже надоело заниматься государственными делами.

— Тем лучше!.. — повторял он. — Тем лучше!..

Замечая постоянные интриги среди окружавших его людей или подозревая их в таких интригах, Рамсес рано научился скрывать свои мысли. Он был уверен, что жрецы не догадываются, о чем он разговаривал с Хирамом и какие планы зародились в его голове. Ослепленные своей властью, они были довольны тем, что он забавляется, и рассчитывали, что это поможет им удержать бразды правления в своих руках.

«Боги настолько затуманили их разум, — думал Рамсес, — что им и невдомек, почему Хирам так расщедрился. Или этому хитроумному тирийцу удалось усыпить их подозрительность? Тем лучше!.. Тем лучше!..»

Рамсес испытывал странное удовольствие, думая, что жрецы обманулись, оценивая его способности. Он решил и дальше поддерживать их заблуждение и веселился напропалую.

Действительно, жрецы, и прежде всего Мефрес, ошиблись насчет Рамсеса и Хирама. Хитрый тириец делал вид, будто очень горд своими отношениями с наследником престола, а тот с не меньшим успехом разыгрывал роль веселящегося юнца.

Мефрес не сомневался, что наследник серьезно думает об изгнании финикийян из Египта и что и сам Рамсес и его придворные берут у них займы деньги, рассчитывая никогда их не отдавать.

Тем временем храм Ашторет, его обширные сады и дворы кишели богомольцами. Каждый день, если не каждый час, несмотря на чудовищную жару, из далекой Азии прибывали к великой богине новые толпы паломников. Странные это были богомольцы: усталые, потные, покрытые пылью, они шли с музыкой, приплясывая и горланя распутные песни. Целый день они пили вино, а ночь проходила у них в самом разнузданном разврате в честь богини Ашторет. Их можно было не только узнать, но даже почуять издали: они несли в руках огромные букеты свежих цветов, а в узелках — издохших в течение года кошек, которых отдавали бальзамировать или набивать из них чучела парасхитам, проживающим в окрестностях Бубаста, а затем уносили домой как священную реликвию.

В начале месяца месоре (май — июнь) князь Хирам уведомил Рамсеса, что вечером он может прийти в финикийский храм Ашторет. Когда стемнело, наместник пристегнул сбоку короткий меч, накинул на себя плащ с капюшоном и, не замеченный никем из прислуги, тайком направился в дом Хирама.

Старый вельможа ожидал его.

— Ну, — спросил он с улыбкой, — ваше высочество не боится войти в финикийский храм, где на алтаре восседает жестокость, а служит ей распутство?

— Боюсь? — переспросил Рамсес, посмотрев на него чуть не с презрением. — Ашторет не Баал, а я не младенец, которого можно бросить в раскаленное чрево вашего бога.

— И ты веришь этому, государь?

Рамсес пожал плечами.

— О ваших жертвоприношениях рассказывал мне вполне надежный очевидец, — ответил он. — Однажды в бурю у вас погибло больше десяти кораблей. Тирские жрецы тотчас же устроили жертвоприношение, на которое собрались толпы народа. Перед храмом Баала на возвышении восседал исполинский бронзовый идол с головой быка. Брюхо у него было раскалено докрасна. И вот, по приказу ваших жрецов, глупые матери-финикийки стали приносить самых красивых младенцев к подножию жестокого бога...

— Одних мальчиков, — вставил Хирам.

— Да, одних мальчиков, — повторил Рамсес. — Жрецы окропляли каждого младенца благовониями, украшали цветами, после чего идол хватал бронзовыми руками и пожирал орущего благим матом малютку. И каждый раз изо рта бога вылетало пламя...

Хирам тихонько смеялся.

— И ты веришь этому?

— Повторяю тебе, что мне это рассказывал человек, который никогда не лжет.

— Он рассказал тебе то, что действительно видел, — ответил Хирам. — Но не удивило ли его, что ни одна мать не плакала?

— Действительно, его удивило тогда равнодушие женщин, готовых проливать слезы по всякому пустяку. Но это доказывает только жестокость, свойственную вашему народу.

Старый финикийянин покачал головой.

— Давно это было? — спросил он.

— Несколько лет назад.

— Что ж, — проговорил с расстановкой Хирам, — если ты соблаговолишь посетить когда-нибудь Тир, я покажу тебе это торжество.

— Я не хочу смотреть на это.

— А потом мы пойдем на другой двор храма, и ты увидишь прекрасную школу, а в ней веселых и здоровых детей, тех самых, которых сожгли за несколько лет до того.

— Как? — воскликнул Рамсес. — Разве они не погибли?

— Они живут и растут, чтобы стать смелыми моряками. Когда ты, государь, наследуешь фараону, — да живет он вечно! — может быть, кто-нибудь из них поведет твои корабли.

— Значит, вы обманываете народ? — расхохотался наследник.

— Мы никого не обманываем, — ответил серьезно тириец. — Каждый сам себя обманывает, не требуя разъяснения непонятого ему обряда. У нас существует обычай, по которому бедные матери, желая обеспечить своих сыновей, приносят их в жертву государству. Эти дети действительно поглощаются статуей Баала, внутри которой находится раскаленная печь. Но обряд этот означает не то, что детей действительно сжигают, а лишь то, что они стали полной собственностью храма и погибли для своих матерей, как если бы попали в огонь. На самом деле они попадают не в печь, а к мамкам и нянькам, которые воспитывают их в течение нескольких лет. В дальнейшем их берет к себе школа жрецов Баала и обучает. Наиболее способные из воспитанников становятся жрецами или чиновниками, менее одаренные идут во флот и нередко добиваются большого

богатства. Теперь, я думаю, ты не будешь удивляться, что тирские матери не оплакивают своих младенцев, и поймешь, почему в наших законах даже не предусмотрены наказания для родителей, убивающих своих детей, как это случается в Египте.

— Негодяи всюду найдутся, — заметил Рамсес.

— Но у нас нет детоубийц, ибо детей, которых не могут прокормить наши матери, берут на свое попечение государство и храмы.

Рамсес задумался. Вдруг он обнял Хирама и воскликнул с волнением:

— Вы гораздо лучше тех, кто рассказывает о вас такие страшные сказки. Я очень рад.

— И в нас есть немало дурного, — ответил Хирам, — но все мы будем верными твоими слугами, господин, когда ты нас позовешь...

— Так лир — спросил царевич, испытующе глядя ему в глаза.

Старик положил руку на сердце.

— Клянусь тебе, наследник египетского престола и будущий фараон, что, если когда-нибудь ты начнешь борьбу с нашим общим врагом, все финикияне, как один человек, поспешат к тебе на помощь. А вот это возьми себе на память о нашем сегодняшнем разговоре.

Он вынул из-под платья золотой медальон, испещренный таинственными знаками, и, шепча молитву, повесил его на шею Рамсеса.

— С этим амулетом, — сказал Хирам, — ты можешь объехать весь мир, и где только ни встретишь финикиянина, он поможет тебе советом, золотом, даже мечом. Но пора идти...

Прошло уже несколько часов после заката солнца, ночь была светлая, лунная. Нестерпимый дневной зной сменился прохладой. Воздух очистился от серой пыли, которая слепила глаза и не давала дышать. В светло-синем небе кое-где светились звезды, расплываясь в потоках лунного света.

Движение на улицах прекратилось, но кровли всех домов были усеяны веселящимися людьми. Город казался одним огромным залом, наполненным музыкой, песнями, смехом и звоном бокалов.

Царевич и финикиянин шли быстрыми шагами за город, держась менее освещенной стороны улицы. Несмотря на это, люди, пировавшие на плоских крышах, иногда замечали их, а заметив, приглашали к себе или бросали на них сверху цветы.

— Эй, вы там, ночные бродяги! — кричали они. — Если только вы не воры, которых ночь манит на промысел, идите к нам. У нас славное вино и веселые женщины!

Путники не отвечали на эти радушные приглашения, спеша своей дорогой. Наконец, они достигли той части города, где домов было меньше, но зато больше садов и где деревья благодаря влажным морским ветрам были выше и ветвистее, чем в южных провинциях Египта.

— Уже недалеко, — заметил Хирам.

Рамсес поднял глаза и увидел над густой зеленью деревьев квадратную башню бирюзового цвета и на ней другую, поменьше — белую. Это был храм Ашторет. Вскоре они вошли в глубь сада, откуда можно было охватить взглядом все здание.

Оно состояло из нескольких ярусов. Первый ярус представлял собой квадратную террасу длиной и шириной в четыреста шагов. Терраса покоилась на черном, вышиною в несколько метров, каменном основании. У восточной стороны находился выступ, куда справа и слева вели широкие лестницы. Вдоль других сторон стояли башенки — по десяти с каждой. В простенках между ними было по пять окон.

Почти посредине первой террасы возвышалась вторая, тоже квадратная, со сторонами в двести шагов каждая. Сюда вела только одна лестница, а по углам возносились башни. Этот второй ярус был окрашен в пурпурный цвет.

На плоской крыше второго яруса была расположена еще одна квадратная терраса высотой в несколько метров золотистого цвета, а на ней, одна на другой, две башни: бирюзовая и белая.

Казалось, будто на землю поставили огромный черный куб, на него другой — пурпурный, поменьше, на этот — золотой, выше — бирюзовый, а еще выше — серебряный. К каждому из этих кубов вели лестницы, либо двойные — с боку, либо одиночные — с фасада, всегда с восточной стороны.

У лестницы и дверей стояли вперемежку большие египетские сфинксы и крылатые ассирийские быки с человеческими головами.

Наместник, любуясь, смотрел на это здание; на фоне пышной растительности, ярко освещенное луной, оно казалось очень красивым. Храм был построен в халдейском стиле и резко отличался от египетских храмов системой ярусов и вертикальными стенами. У египтян стены больших зданий были обычно наклонные, как бы сходящиеся кверху.

В саду в разных местах виднелись домики и павильоны, всюду горели огни, раздавалось пение и музыка. Между деревьями мелькали иногда тени влюбленных парочек.

К прибывшим подошел старый жрец. Он обменялся несколькими словами с Хирамом и, низко поклонившись наследнику, сказал:

— Благоволи, господин, следовать за мною.

— И да хранят тебя боги, государь, — добавил Хирам, покидая их.

Рамсес пошел за жрецом. Несколько в стороне от храма, в самой гуще сада, стояла каменная скамья, а шагах в ста от нее — небольшой павильон, откуда слышалось пение.

— Там молятся? — спросил царевич.

— Нет, — ответил жрец с явной неприязнью, — это собрались поклонники Камы, нашей жрицы, хранящей огонь перед алтарем Ашторет.

— Кого же она сегодня примет?

— Никого, никогда! — ответил провожатый, видимо задетый вопросом. — Если жрица огня не сдержит обета чистоты, она должна умереть.

— Жестокий закон, — заметил наследник.

— Соблаговоли, господин, подождать на этой скамье, — холодно ответил финикийский жрец. — Когда же ты услышишь три удара в бронзовую доску, войди в храм, поднимись на террасу, а оттуда в пурпурный чертог.

— Один?

— Да.

Царевич сел на скамью под сенью оливкового дерева, прислушиваясь к женскому смеху, доносившемуся из павильона.

«Кама... красивое имя!.. Должно быть, молода и, вероятно, красива. А эти дураки-финикийяне угрожают ей смертью, если... Может быть, они хотят таким образом обеспечить своей стране хотя бы десять — пятнадцать девственниц?»

Он усмехнулся про себя, но ему было грустно. Почему-то ему жаль было этой неизвестной женщины, для которой любовь была порогом могилы.

«Представляю себе Тутмоса на месте жрицы Камы: бедняга должен был бы умереть, не успев зажечь перед богиней ни одного светильника», — подумал наследник. В это мгновение у павильона послышались звуки флейты, игравшей какую-то грустную мелодию, которой вторили голоса женщин.

— А-а-а! А-а-а!.. — пели они, словно укачивая ребенка.

Отзвучала флейта, умолкли женщины, и вдруг раздался красивый мужской голос, певший по-гречески:

— «Лишь на крыльце блеснет твоя одежда, — как меркнут звезды, смолкают соловьи, и в сердце моем воцаряется тишина, как на земле, когда бледный рассвет приветствует ее перед восходом солнца...»

— А-а-а! Аа-а! Аа-а!.. — тихо пели женщины под аккомпанемент флейты.

— «Когда с молитвою идешь во храм, фиалки окружают тебя благоухающим облаком, бабочки порхают вокруг твоих уст, пальмы склоняют головы перед твоей красотой...»

— Аа-а! Аа-а! Аа-а!..

— «Когда не вижу тебя — смотрю на небо, чтобы вспомнить сладостное спокойствие твоего лица. Напрасный труд: небо не обладает твоей кротостью, а зной его — холод перед пламенем, испепелившим мое сердце...»

— Аа-а! Аа-а!..

— «Однажды я остановился среди роз, которые под взглядом твоих очей одеваются в белизну, пурпур и золото. Каждый их лепесток напомнил мне час, каждый цветок — месяц, проведенный у твоих ног. И капли росы — это мои слезы, которые пьет жестокий ветер пустыни.

Дай знак — и я схвачу и унесу тебя на мою милую родину. Море защитит нас от преследователей, миртовые рощи скроют от взоров людских нашу любовь, и милостивые к влюбленным боги будут охранять наше счастье».

— Аа-а! Аа-а!..

Рамсес закрыл глаза и грезил. Сквозь опущенные ресницы он уже не видел сада, а только море лунного света, по которому плыли черные тени и разливалась песнь неизвестного человека, обращенная к неизвестной женщине.

Мгновеньями это пение так захватывало его, так глубоко проникало в душу, что наследник невольно задавал себе вопрос: не он ли поет, и даже не сам ли он эта песнь любви?

В эту минуту его сан, власть, важные государственные вопросы — все казалось ему ничтожным в сравнении с лунной ночью и криком влюбленного сердца.

Если бы ему пришлось выбирать между властью фараона и тем настроением, которое охватило его теперь, он предпочел бы это мечтательное забытие, которое поглотило весь мир, его самого и даже время и оставило только грусть, летящую в вечность на крыльях песни.

Вдруг он очнулся. Песня смолкла. В павильоне погасли огни, и на фоне его белых стен резко чернели пустые окна. Можно было подумать, что тут никто никогда не жил. Даже сад опустел и затих, даже легкий ветер перестал шелестеть листьями.

Раз!.. Два!.. Три!.. Из храма донеслись три мощных отзвука меди.

«Ага!.. Пора идти!» — подумал царевич, не зная хорошенько, куда надо идти и зачем.

Он направился к храму, серебристая башня которого возвышалась над деревьями, как бы призывая его к себе.

Он шел опьяненный, исполненный странных желаний. Ему было тесно среди деревьев, хотелось поскорее взобраться на вершину этой башни и, глубоко вздохнув, охватить взором беспредельный простор. Но, вспомнив, что сейчас месяц месоре и что со времени маневров в пустыне прошел уже год, он почувствовал желание вновь побывать там. С какой радостью вскочил бы он в свою легкую колесницу, запряженную парой лошадей, и умчался бы куда-то вперед, где не так душно и деревья не заслоняют горизонта...

Он очутился у подножья храма и поднялся на террасу. Было тихо и пусто, будто все вымерло. Лишь где-то вдали журчали струи фонтана. Он сбросил на ступеньки свой бурнус и меч, еще раз посмотрел на сад, как бы прощаясь с луной, и вошел в храм. Над ним возвышались еще три яруса.

Бронзовые двери были открыты, по обеим сторонам входа стояли крылатые фигуры быков с человеческими головами, лица их выражали гордое спокойствие.

«Это ассирийские цари», — подумал Рамсес, глядя на их бороды, заплетенные в мелкие косички.

Внутренность храма была темна, как в самую темную ночь. Этот мрак подчеркивали белые полосы лунного света, падавшего сквозь узкие окна.

В глубине перед статуей богини Ашторет горели два светильника. Благодаря какому-то странному освещению сверху вся статуя была прекрасно видна. Рамсес смотрел на нее. Это была исполинских размеров женщина с крыльями страуса. С плеч ее спускалась длинная, в складках, одежда, на голове была остроконечная шапочка, в правой руке она держала пару голубей. Ее красивое лицо и опущенные глаза выражали такую нежность и невинность, что Рамсес поразился. Ведь это была покровительница мести и самого разнузданного разврата.

Финикия открыла ему еще одну из своих тайн.

«Станный народ, — подумал он, — их кровожадные боги не пожирают людей, а их разврату покровительствуют девственные жрицы и богиня с детским лицом».

Вдруг он почувствовал, как по ногам его быстро скользнуло что-то, точно змея. Рамсес отпрянул и остановился в полосе лунного света. И почти в то же мгновение услышал шепот:

— Рамсес! Рамсес!

Нельзя было различить, мужской ли это голос или женский и откуда он исходит.

— Рамсес! Рамсес! — слышался шепот как будто с полу.

Царевич ступил в неосвещенное место и, прислушиваясь, наклонился. Вдруг как будто две нежные руки легли на его голову.

Он вскочил, чтобы схватить их, но почувствовал пустоту.

— Рамсес! Рамсес! — донесся шепот сверху.

Он поднял голову и почувствовал на губах цветок лотоса, а когда протянул к нему руки, кто-то коснулся его плеча.

— Рамсес! Рамсес! — слышалось теперь со стороны алтаря.

Царевич повернулся и остолбенел: в полосе света в нескольких шагах от него, стоял прекрасный юноша, как две капли воды похожий на него. То же лицо, глаза, юношеский пушок на губе и щеках, та же осанка, движения, одежда...

Рамсесу показалось, что он стоит перед огромным зеркалом, какого не было даже у фараона, но вскоре он убедился, что его двойник — не отражение, а живой человек. В то же мгновение он почувствовал поцелуй на шее. Он быстро повернулся, но уже никого не было, двойник исчез.

— Кто здесь? Я хочу знать! — воскликнул Рамсес в гневе.

— Это я — Кама... — ответил нежный голос.

И в полосе лунного света показалась нагая женщина с золотой повязкой вокруг бедер.

Рамсес подбежал к ней и схватил ее за руку. Она не вырывалась.

— Ты — Кама?.. Нет, ты ведь... Это тебя присылал когда-то ко мне Дагон? Только тогда ты называла себя Лаской...

— Я и есть Ласка, — ответила она наивно.

— Это ты прикасалась ко мне руками?

— Я.

— Каким образом?

— Вот так, — ответила она, закидывая ему руки на шею и целуя его.

Рамсес схватил ее в объятия, но она вырвалась с силой, какой трудно было ожидать от такой маленькой женщины.

— Так ты — жрица Кама? Так это тебя воспевал сегодня этот грек? — спросил царевич, страстно сжимая ее руки. — Кто он?

Кама презрительно пожала плечами.

— Он служит при храме, — сказала она.

У Рамсеса горели глаза, вздрагивали ноздри, в голове шумело. Несколько месяцев назад эта женщина не произвела на него никакого впечатления, а сейчас он готов был на любое безумство.

Он завидовал греку и в то же время чувствовал нестерпимую грусть при мысли, что если бы она стала его возлюбленной, то должна была бы умереть.

— Как ты прекрасна, — сказал он. — Где ты живешь?.. Ах да, знаю — в том павильоне... — Можно ли к тебе прийти?.. Если ты принимаешь у себя певцов, то должна принять и меня. Правда ли, что ты жрица, охраняющая священный огонь?

— Да.

— И ваши законы так жестоки, что не разрешают тебе любить? Это ведь только угроза... Для меня ты сделаешь исключение.

— Меня бы прокляла вся Финикия, и боги отомстили бы, — ответила она, смеясь.

Рамсес снова привлек ее к себе, но она опять вырвалась.

— Берегись, царевич, — сказала она вызывающе, — Финикия могущественна, ее боги...

— Какое мне дело до богов твоих или Финикии? Если хоть один волос упадет с твоей головы, я растопчу Финикию, как злую гадину.

— Кама! Кама! — послышался голос со стороны статуи.

Она испугалась.

— Вот видишь, меня зовут... Может быть, даже слышали твои кощунственные слова.

— Лишь бы они не услышали моего гнева!..

— Гнев богов страшнее...

Она вырвалась и скрылась во тьме храма, Рамсес бросился за ней, но вдруг отпрянул. Весь храм между ним и алтарем залило багровым пламенем, в котором метались какие-то чудовищные фигуры: огромные летучие мыши, гады с человеческими лицами, тени.

Пламя двигалось прямо на него во всю ширину здания, и Рамсес, ошеломленный невиданным зрелищем, отпрянул назад. Вдруг на него пахнуло свежим воздухом. Он оглянулся: он был уже вне храма. В тот же момент бронзовые двери с шумом захлопнулись за ним. Он протер глаза, посмотрел вокруг. Луна клонилась уже к закату. Рамсес нашел у колонны свой меч и бурнус, поднял их и спустился по лестнице, как пьяный.

Когда он поздно ночью вернулся во дворец, Тутмос, увидя его побледневшее лицо и мутный взгляд, спросил с испугом:

— Где это ты был, эрпатор? Да хранят тебя боги! Весь двор встревожен и не спит.

— Я осматривал город. Такая прекрасная ночь...

— Знаешь, Сарра родила тебе сына, — торопливо сообщил Тутмос, как будто боясь, чтобы его не опередили.

— В самом деле?.. Я хочу, чтобы никто из свиты не беспокоился обо мне, когда я уйду из дворца.

— Один?

— Если б я не мог ходить один куда мне вздумается, я был бы самым несчастным рабом в этом государстве, — резко ответил наместник.

Он отдал меч и бурнус Тутмосу и один вошел в спальню.

Еще вчера известие о рождении сына преисполнило бы его радостью. Сейчас же он встретил его равнодушно. Он был полон воспоминаний о сегодняшнем вечере, самом странном, какой только пришлось ему испытать в жизни.

Лунный свет еще сиял перед его глазами. В ушах звучала песня грека. О, этот храм богини Ашторет!

Он не мог заснуть до утра.

7

На следующий день Рамсес встал поздно, сам искупался и, одевшись, велел позвать Тутмоса.

Расфранченный, умащенный благовониями, щеголь тотчас же явился. Он пристально взглянул на наследника, чтобы понять, в каком тот настроении, и сделать соответствующее лицо. Но на лице Рамсеса он прочел только усталость.

— Так ты уверен, — спросил он у Тутмоса, — что у меня родился сын?

— Я получил это известие от святого Мефреса.

— Ото! С каких это пор пророки интересуются моими семейными делами?

— С тех пор как они у тебя в милости, государь.

— Вот как? — сказал наследник и задумался.

Он вспомнил вчерашнюю сцену в храме Ашторет и мысленно сравнивал ее с подобными же в храме Хатор.

«Меня окликали, — рассуждал он про себя, — и тут и там. Но там, в храме, келья была очень тесная, стены толстые, а здесь тот, кто звал меня, мог скрываться за колоннами и говорить шепотом. Это и была Кама. Кроме того, здесь было темно, а в моей келье светло».

Вдруг он обратился к Тутмосу:

— Когда это случилось?

— Когда родился твой благородный сын? Должно быть, дней десять назад... Мать и ребенок здоровы и выглядят прекрасно. При родах присутствовал сам Менес, лекарь твоей досточтимой матери и достойного Херихора...

— Так, так... — произнес царевич, а сам продолжал думать:

«Кто-то прикасался ко мне... и тогда и в этот раз... Так есть ли разница? Кажется, есть. Хотя бы та, что там я не ожидал никаких чудес, а здесь готовился к ним... Но они показали мне моего двойника, чего там не догадались сделать... И умны же эти жрецы! Хотел бы я знать, кто так удачно подделался под меня — статуя или живой человек? Да, это умные люди! Однако не знаю, кто из них большие обманщики — наши жрецы или финикийские...»

— Слушай, Тутмос, — сказал он громко, — слушай, Тутмос... Нужно, чтобы они приехали. Я должен видеть своего сына... Наконец-то никто не будет иметь права считать себя более достойным уважения, чем я.

— Что, сейчас приехать Сарре с сыном?

— Пусть приезжают как можно скорей, если только это позволяет состояние их здоровья. В пределах дворца есть много подходящих построек. Необходимо

выбрать им для жилья тихий прохладный уголок среди зелени, так как скоро начнется жара... Пусть приезжают, я покажу всем своего сына!..

И он снова впал в задумчивость, что даже начало беспокоить Тутмоса.

«Да, они умны! Я знал, что жрецы обманывают народ самым бессовестным образом, — думал Рамсес. — Бедный святой Апис! Сколько его колотят во время процессий, пока крестьяне лежат перед ним на животе... Но что они решатся обманывать и меня, этому я бы не поверил... Голоса богов, невидимые руки, человек, которого обливали смолой, — все это были только присказки, а потом начались сказки Пентуэра про убыль земли и населения, про чиновников и финикийн. И все для того, чтобы отбить у меня охоту воевать».

— Тутмос, — сказал вдруг царевич.

— Падаю пред тобой ниц...

— Надо постепенно стянуть сюда полки из приморских городов. Я хочу произвести смотр войскам и наградить их за верность.

— А мы, знатные, разве не верны тебе? — спросил, смутившись, Тутмос.

— Знать и военные — это одно и то же.

— А номархи, чиновники?

— Знаешь, Тутмос, даже чиновники — и те верны мне, — ответил Рамсес. — Мало того, даже финикийне. Хотя у нас немало предателей.

— Ради всего святого, тише, — прошептал Тутмос и испуганно заглянул в соседнюю комнату.

— Ото! — засмеялся наследник. — Что это ты стал так осторожен? Значит, и для тебя не тайна, что у нас есть предатели?

— Я знаю, царевич, о ком ты говоришь, — ответил Тутмос, — ты всегда был предубежден против...

— Против кого?

— Против кого? Я догадывался... но мне казалось, что после примирения с Херихором и твоего пребывания в храме...

— Ну и что же, что я побывал в храме? Там, как и везде, я убедился, что лучшие земли, самые трудолюбивые крестьяне и ценнейшие сокровища принадлежат не фараону.

— Тише, тише, — прошептал Тутмос.

— Но ведь я всегда молчу, всегда приветлив, так позволь же мне хоть тебе высказать то, что у меня на душе. Впрочем, я имею право заявить даже в верховной коллегии, что в Египте, который нераздельно принадлежит моему отцу, я, его наследник и наместник, вынужден был занять сто талантов у какого-то тирского князька. Разве это не позор!

— Но почему ты именно сегодня говоришь об этом? — шепнул Тутмос, стараясь как можно скорее кончить этот опасный разговор.

— Почему? — повторил Рамсес и замолчал, опять погрузившись в раздумье.

«Пусть бы еще жрецы, — думал он, — обманывали меня: я пока всего лишь наследник фараона и не во все тайны могу быть посвящен. Но кто мне докажет, что они не поступали так же с моим досточтимым отцом? Тридцать с лишним лет он безгранично доверял им, преклонялся перед чудесами, приносил щедрые жертвы богам... для того, чтобы его богатства и власть перешли в руки честолюбивых плутов! И никто не открыл ему на это глаза! Ведь фараон не может, как я, ходить ночью в финикийские храмы, и к нему самому никто не имеет доступа.

Кто может убедить меня, что жрецы не стремятся свергнуть власть фараона, как сказал Хирам... Ведь отец предупреждал меня, что финикияне говорят правду, когда им это нужно. А они, несомненно, заинтересованы в том, чтобы не быть изгнанными из Египта и не попасть под власть ассирийцев. Ассирия — это стая бешеных львов. Где они пройдут — там остаются только развалины и трупы, как после пожара».

Вдруг Рамсес поднял голову и прислушался. Издали до него донесся звук флейт и рогов.

— Что это значит? — спросил он у Тутмоса.

— У нас большая новость, — ответил, улыбаясь, придворный. — Азиаты встречают знатного паломника из далекого Вавилона.

— Из Вавилона?.. Кто он?..

— Его зовут Саргон...

— Саргон?.. Ха-ха-ха!.. — расхохотался наследник. — Кто он такой?

Как будто важный сановник при дворе царя Ассара. Он привел с собой десять слонов, табуны прекраснейших скакунов пустыни, толпы невольников и слуг.

— А зачем он приехал сюда?

— Поклониться чудесной богине Ашторет, которую чтит вся Азия.

— Ха-ха-ха! — смеялся царевич, вспомнив, что Хирам предупреждал его о приезде ассирийского посла. — Саргон... Ха-ха-ха!.. Саргон, родственник царя Ассара, стал таким набожным, что отправляется в долгое и утомительное путешествие, чтобы поклониться богине Ашторет в Бубасте. Да ведь в Ниневии он нашел бы более могущественных богов и более ученых жрецов! Ха-ха-ха!

Тутмос с изумлением смотрел на наследника.

— Что с тобой, Рамсес?

— Вот так чудо! — ответил наследник. — О таком не прочтешь ни в одном храме. Ты только подумай, Тутмос... в тот самый момент, когда ты думаешь, как поймать

вора, который тебя все время обкрадывает, этот вор снова запускает руку в твой сундук, у тебя на глазах, при тысяче свидетелей. Ха-ха-ха! Саргон — благочестивый паломник!

— Ничего не понимаю, — растерянно бормотал Тутмос.

— Да и нечего тебе понимать, — ответил наместник. — Запомни только, что Саргон приехал сюда для совершения благочестивых обрядов в честь богини Ашторет.

— Боюсь, что все эти разговоры, — сказал еле слышно Тутмос, — небезопасны.

— А потому не рассказывай о них никому.

— Что я не расскажу, в этом можешь быть уверен, но как бы ты сам не выдал себя, царевич! Ведь ты вспыхиваешь, как молния.

Рамсес положил ему на плечо руку.

— Не беспокойся, — сказал царевич, глядя ему в глаза, — только бы вы сохранили мне верность, вы — знать и армия, и тогда вы станете свидетелями изумительных событий и... кончатся для вас трудные времена!..

— Знай, что мы все пойдем на смерть по одному твоему слову, — ответил Тутмос, прикладывая руку к груди.

Лицо его выражало необычайную серьезность, и наследник понял, не в первый, впрочем, раз, что в этом избалованном щеголе скрывается храбрый муж, на ум и меч которого можно положиться.

С тех пор наследник больше не вел с Тутмосом таких странных разговоров, но верный друг и слуга понял, что с приездом Саргона связаны какие-то важные государственные дела, самовольно разрешаемые жрецами.

Впрочем, вся египетская знать — номархи, чиновники и полководцы — с некоторых пор шептались о том, что надвигаются серьезные события. Финикияне, взяв с них клятву сохранить тайну, рассказывали им о каких-то договорах с Ассирией, в результате которых Финикия погибнет, а Египет покроет себя позором и в один прекрасный день станет данником Ассирии.

Среди аристократии поднялось страшное волнение, но никто не подавал и виду. Напротив, и при дворе наследника, и у номархов Нижнего Египта веселье не прекращалось. Можно было подумать, что с наступлением жары всех обуяло безумие. Не проходило дня без игрищ, пиршеств и триумфальных шествий, не было ночи без иллюминаций и ликующих криков. Не только в Бубасте, но и в других городах появилась мода на уличные шествия с факелами, музыкой и с кувшинами, полными вина. Люди врывались в дома и приглашали сонных обитателей на пирушки. А так как египтяне были очень падки на развлечения, то развлекались все.

Пока Рамсес пребывал в храме Хатор, финикияне, объятые каким-то паническим страхом, проводили дни в молитве и остерегались давать кому бы то ни было

взаймы. Но после разговора Хирама с наследником благочестие и осторожность покинули финикийян, и они стали щедрее, чем когда-либо.

Такого обилия золота и товаров в Нижнем Египте, а главное, таких малых процентов по ссудам не помнили даже старики. Этот разгул, царивший в высших классах египетского общества, не укрылся от внимания суровой касты жрецов. Однако они не догадывались, что за этим кроется, и святой Ментесуфис, регулярно доносивший Херихору о местных делах, продолжал сообщать ему, что наследник, которому наскучила благочестивая жизнь в храме Хатор, веселится до потери сознания, а с ним веселится и вся знать.

Достойный министр даже не отвечал на эти доклады. Это доказывало, что кутежи царевича он считает делом естественным и, пожалуй, даже полезным.

При таком отношении окружающих Рамсес пользовался большой свободой. Почти каждый вечер, когда придворные напивались, он скрывался украдкой из дворца.

Закутавшись в темный офицерский бурнус, он пробегал через пустынные улицы и попадал за город в сады храма Ашторет.

Там, дойдя до скамьи против павильона Камы и укрывшись за деревьями, Рамсес смотрел на пылающие факелы, слушал песни поклонников жрицы и мечтал о ней.

Луна была на ущербе; она всходила с каждым вечером все позже, ночи были темные, но Рамсес по-прежнему видел ясный свет той первой ночи и слышал страстное пение грека.

Иногда он вставал со скамьи, чтобы пойти к Каме, но его удерживал стыд. Он чувствовал, что наследнику престола не подобает появляться в доме жрицы, куда имеет доступ каждый паломник, сделавший более или менее щедрое пожертвование для храма, а главное, боялся, чтобы вид Камы, окруженной пьяными поклонниками, не стер в его памяти чудесного видения той лунной ночи.

В тот раз, когда Дагон прислал Каму, чтобы отвратить гнев наместника, она показалась Рамсесу милой девушкой, из-за которой, однако, не стоит терять голову. Но когда впервые в жизни он, военачальник и наместник, сидел у дома женщины, когда ночь навевала на него истому и он слушал пылкое признание другого мужчины, в нем проснулось какое-то неведомое чувство, в котором сливались страсть, печаль и ревность.

Если бы он мог свободно обладать Камой, она очень скоро надоела бы ему, а быть может, и совсем его не привлекла. Но смерть, сторожившая ее на пороге спальни, этот влюбленный певец, наконец, его собственная унижительная для человека, занимающего столь высокое положение, роль — все это было ему ново, а потому заманчиво. И вот почти каждый вечер в течение этих десяти дней он с закрытым лицом приходил в сад храма Ашторет.

Однажды вечером, выпив во время пирушки много вина, Рамсес, по обыкновению, украдкой вышел из дворца. Он твердо решил, что сегодня войдет в дом Камы, а ее поклонники пусть распевают за окном.

Он быстро шел по городу, но, дойдя до садов, принадлежащих храму, снова почувствовал стыд и замедлил шаг.

«Слыханное ли дело, — размышлял он, — чтобы наследник фараона бегал за женщинами, как бедный писец, которому негде взять займы десять драхм. Все приходили ко мне, — должна прийти и эта».

Он хотел уже вернуться.

«Но ведь она не может сделать этого, — мелькнула у него мысль. — Ее убьют».

Он остановился в нерешительности.

«Но кто убьет ее?.. Хирам, который ни во что не верит, или Дагон, для которого нет ничего святого?.. Да, но здесь много других финикийцев, сотни тысяч паломников — фанатиков и дикарей. В глазах этих глупцов Кама, посещая меня, совершила бы святотатство...»

И он снова пошел по направлению к дому жрицы, не думая даже, что ему угрожает опасность, ему, который, не извлекая меча, одним взглядом может повергнуть весь мир к своим стопам. Он, Рамсес, и опасность!..

Выйдя из-за деревьев, наследник увидел, что в доме жрицы царит оживление и освещен он ярче, чем всегда. В покоях и на террасах было много гостей, а вокруг павильона толпился народ.

«Что это за люди?» — удивился наследник.

Сборище было необычное. Неподалеку от дома стоял огромный слон с раззолоченным паланкином на спине, завешенным пурпурными занавесками. Рядом со слоном ржало и било копытами землю больше десятка лошадей с толстыми шеями и ногами: хвосты у них были внизу перевязаны, а головы украшены какими-то металлическими шлемами.

Среди беспокойных полудиких животных суеилось несколько десятков людей, каких Рамсес еще не видывал. У них были взлохмаченные волосы, огромные бороды, остроконечные шапки с наушниками. На одних была длинная, до щиколоток, одежда из толстого сукна, на других — короткие куртки и шаровары, у некоторых — сапоги с голенищами, но все они были вооружены мечами, луками и копьями.

При виде этих чужеземцев, сильных, неуклюжих, непристойно громко хохочущих, воняющих бараньим салом, переговаривающихся между собой на незнакомом гортанном языке, Рамсес вскипел. Как лев, даже если он не голоден, завидев врага, сразу готовится к прыжку, так и наследник почувствовал к ним страшную ненависть, хотя они ничего плохого ему не сделали. Его раздражал их язык, их одежда, исходивший от них запах и даже их лошади. Кровь вскипела в нем, и он

схватился за меч, чтобы броситься и изрубить этих пришельцев и их коней. Но вдруг опомнился.

«Это Сет околдовал меня», — подумал он.

Мимо прошел нагой человек в чепце и повязке вокруг бедер. Наследник почувствовал, что он ему приятен и даже дорог в эту минуту, потому что это был египтянин. Рамсес достал золотое кольцо стоимостью в несколько драхм и отдал его рабу.

— Послушай, — спросил он, — что это за люди?

— Ассирийцы, — прошептал египтянин, и ненависть сверкнула в его глазах.

— Ассирийцы? Что же они тут делают?

— Их господин, Саргон, ухаживает за святой жрицей Камой, а они его охраняют... Нет на них проказы!..

— Ну, ступай!

Нагой человек низко поклонился Рамсесу и побежал, очевидно, на кухню.

«Так это ассирийцы!.. — думал Рамсес, присматриваясь к странным фигурам и вслушиваясь в непонятный ему язык. — Они уже на берегах Нила, чтобы побрататься с нами или обмануть нас, и их вельможа, Саргон, ухаживает за Камой!»

Он повернул домой. Его мечтательное настроение исчезло под влиянием этого нового, нахлынувшего на него чувства. Он, человек благородный и мягкий, впервые столкнувшись с извечными врагами Египта, почувствовал смертельную ненависть к ним.

Когда, покинув храм богини Хатор, наследник после разговора с Хирамом начал думать о войне с Азией, это были только размышления. Египет нуждался в людях, а фараон — в деньгах, а так как война была самым легким способом добыть их и удовлетворяла его стремление к славе, то он носился с планами войны.

Но в данный момент его не интересовали ни сокровища, ни рабы, ни слава, — в душе его заговорил всемогущий голос ненависти. Фараоны так долго воевали с ассирийцами, обе стороны пролили столько крови, ненависть пустила такие глубокие корни, что при одном виде ассирийских солдат наследник хватался за меч. Казалось, дух погибших воинов, все их страдания и подвиги вселились в душу царского отпрыска и взывали о мщении.

Вернувшись во дворец, он приказал позвать Тутмоса.

Тот был пьян, а наследник полон ярости.

— Знаешь, кого я сейчас видел? — обратился Рамсес к своему любимцу.

— Может быть, кого-нибудь из жрецов... — прошептал Тутмос.

— Ассирийцев! О боги! Что я почувствовал! Какой это подлый народ! Они похожи на зверей. С ног до головы в бараньих шкурах, и от них несет прогорклым салом... А какие бороды, волосы! И какая ужасная речь!..

Рамсес взволнованно ходил по комнате.

— Я думал, что презираю жадных писцов, лицемерных номархов, что ненавижу хитрых и честолюбивых жрецов... Я питал отвращение к евреям и опасался финикиян... Но только теперь, увидя ассирийцев, я узнал, что такое ненависть. Теперь я понимаю, почему собака набрасывается на кошку, перебегающую ей дорогу.

— К евреям и финикиянам ты, государь, уже привык, а ассирийцев видишь в первый раз.

— Что финикияне! — говорил Рамсес точно сам с собою. — Финикиянин, филистимлянин, шасу[105], ливиец, даже эфиоп — это как будто члены нашей семьи. Когда они не платят дани, мы сердимся на них, а заплатят — прощаем... Ассирийцы же совсем чужие нам, это враги. Я не успокоюсь, пока не увижу поля, усеянного их трупами, пока не доведу счет их отрубленным рукам до ста тысяч...

Тутмос никогда не видел Рамсеса в таком состоянии.

8

Несколько дней спустя наместник послал своего любимца к Капе с приглашением. Она явилась немедленно в плотно занавешенных носилках. Рамсес принял ее наедине.

— Я был, — сказал он, — однажды вечером у твоего дома.

— О Ашторет! — воскликнула жрица. — Чему я обязана столь высокой милостью! И отчего ты, достойный господин, не соизволил позвать свою рабыню?

— Там были какие-то скоты. Кажется, ассирийцы.

— Значит, вчера вечером ты, господин, беспокоил себя? Я никогда не смела бы подумать, что наш повелитель в нескольких шагах от меня под открытым небом.

Наместник покраснел. Как удивилась бы она, узнав, что он столько вечеров провел под ее окном!

А может быть, она и знала, если судить по ее улыбке и опущенным глазам...

— Итак, Капа, ты принимаешь у себя ассирийцев? — продолжал Рамсес.

— Это знатный вельможа, родственник царя, Саргон; он пожертвовал нашей богине пять талантов! — воскликнула Капа.

— А теперь ты готова ради него на жертвы? — спросил наследник с насмешкой. — И потому, что он так щедр, финикийские боги не покарают тебя смертью?

— Что ты говоришь, господин? — ответила она, всплескивая руками. — Разве ты не знаешь, что ни один азиат, встретив меня хотя бы в пустыне, не прикоснется ко мне, даже если бы я сама отдалась ему. Они боятся богов...

— Зачем же приходит к тебе этот вонючий... нет, этот благочестивый азиат?

— Он хочет уговорить меня, чтобы я поехала в храм вавилонской Ашторет.

— И ты поедешь?

— Поеду, если ты господин мой, повелишь... — ответила Кама, закрывая лицо прозрачным покрывалом.

Наследник молча взял ее за руку. Губы его вздрагивали.

— Не прикасайся ко мне, господин, — шептала она взволнованно. — Ты мой повелитель, ты оплот мой и всех финикиян в этой стране. Но будь милосерд...

Наместник отпустил ее руку и стал ходить по комнате.

— Жарко сегодня, не правда ли? — сказал он. — Говорят, есть страны, где в месяце мехир падает с неба на землю холодный белый пух, который на огне превращается в воду. О Кама, попроси своих богов, чтобы они ниспослали мне немного этого пуху! Хотя — что я говорю! — если бы они покрыли им весь Египет, он не охладил бы моего сердца...

— Потому что ты — божественный Амон, солнце в образе человеческом, — ответила Кама. — Тьма рассеивается там, куда ты обращаешь свой лик, и под лучами твоих очей вырастают цветы...

Рамсес снова подошел к ней.

— Но будь милосерд! — прошептала она. — Ведь ты — добрый бог и не можешь обидеть свою жрицу.

Он опять отошел и сделал движение, как будто желая сбросить с себя какую-то тяжесть. Кама смотрела на него из-под опущенных век и едва заметно улыбалась.

Когда молчание слишком затянулось, она спросила:

— Ты велел позвать меня, повелитель. Я здесь и жду, чтобы ты объявил мне свою волю.

— Ах да, — очнулся наследник, — скажи мне, жрица, кто был тот юноша, так похожий на меня, которого я видел в вашем храме?

Кама приложила палец к губам.

— Священная тайна, — прошептала она.

— Одно — тайна, другое — запрещено. Позволь мне хотя бы узнать, кто он: человек или дух?

— Дух.

— И этот дух распевал под твоими окнами?

Кама улыбнулась.

— Я не хочу посягать на тайны вашего храма, — сказал наследник.

— Ты поклялся, господин, Хираму, — напомнила жрица.

— Хорошо! Хорошо! — перебил с раздражением наследник. — Поэтому я не буду говорить об этом чуде ни с Хирамом, ни с кем-либо другим... Кроме тебя. Так вот, Кама, скажи этому духу или человеку, который так похож на меня, чтоб он поскорее убрался из Египта и никому не показывался. Ни в каком государстве не может быть двух наследников престола.

И вдруг его поразила одна мысль.

— Интересно знать, — сказал он, пристально глядя на Каму, — для чего твои соплеменники показали мне этого двойника? Они предупреждают меня, что у них есть для меня заместитель? В самом деле, меня удивляет их поступок.

Кама упала к его ногам.

— О господин, — прошептала она. — Ты носишь на груди наш высший талисман и не должен допускать и мысли, что финикияне способны повредить тебе. Но подумай сам: если тебе будет угрожать опасность или ты захочешь обмануть своих врагов, — разве не пригодится такой человек?

Наследник задумался и пожал плечами.

«Да, — подумал он, — если только я буду нуждаться в чьей-либо защите... Но неужели финикияне считают, что я один не справлюсь? Плохого тогда они выбрали себе покровителя!»

— Господин, — прошептала Кама, — разве тебе не известно, что у Рамсеса Великого были двойники — для врагов? И обе эти царские тени погибли, а он продолжал жить.

— Довольно, — остановил ее наследник. — А чтобы народы Азии знали, что я милостив, я жертвую, Кама, пять талантов на игрища в честь Ашторет и драгоценный кубок в ее храм. Сегодня же ты их получишь.

Он кивком головы отпустил жрицу.

Когда она ушла, новые мысли нахлынули на него.

«В самом деле, хитры эти финикияне. Если мой двойник — человек, это может оказаться очень кстати, и я буду творить со временем чудеса, о каких в Египте, пожалуй, никогда и не слыхали. Фараон живет в Мемфисе и одновременно появляется в Фивах и в Танисе[106]... Фараон продвигается с армией к Вавилону, ассирийцы собирают там главные свои силы, а в это время фараон с другой армией захватывает Ниневию... Я думаю, ассирийцы будут немало изумлены такими чудесами...»

И в душе его снова проснулась глухая ненависть к могущественным азиатам. Он уже видел свою триумфальную колесницу, объезжающую поле недавнего

сражения, усеянное трупами ассирийцев, и целые корзины отрубленных рук. Теперь война стала для его души такой же необходимостью, как хлеб, ибо она помогла бы ему не только обогатить Египет, наполнить казну и обрести неувыдаемую славу, но и удовлетворила бы бессознательную дотоле, а сейчас мощно пробудившуюся жажду сокрушения Ассирии.

Пока он не видел этих воинов с всклокоченными бородами, он не думал о них. Сейчас же они мешали ему. Ему было так тесно с ними на земле, что кто-то должен был уйти: они или он.

Какую роль сыграли тут Хирам и Кама, он не отдавал себе отчета. Он чувствовал только, что должен воевать с Ассирией, как перелетная птица чувствует, что в месяце пахон должна улететь на север.

Жажда войны все больше овладевала царевичем. Он меньше разговаривал, реже улыбался, на пирах часто задумывался и все больше проводил времени с войсками и аристократией. Видя милости, которые оказывал наместник тем, кто носит оружие, знатная молодежь и даже люди постарше стали вступать в полки. Это обратило на себя внимание святого Ментесуфиса, и он отправил Херихору письмо следующего содержания:

«Со времени прибытия в Бубаст ассирийцев наследник сильно возбужден и двор его настроен весьма воинственно. Пьют и играют в кости по-прежнему, но все сбросили тонкие одежды и парики и, невзирая на страшную жару, ходят в солдатских чепцах и кафтанах.

Я опасаясь, что это воинственное настроение может не понравится достойному Саргону».

На это Херихор ответил:

«Не беда, если наши изнеженные барчуки во время пребывания у нас ассирийцев проявят любовь к военному делу: те только будут больше уважать нас за это. Достоинейший наместник, очевидно, вразумленный богами, угадал, что полезно побряцать оружием, когда у нас гостят послы столь воинственного народа. Я уверен, что доблестный дух нашей молодежи заставит Саргона призадуматься и сделает его более податливым в переговорах».

Впервые за все существование Египта случилось, что молодой наследник обманул бдительность жрецов. Правда, большую роль сыграли в этом финикияне, открыв ему тайну договора между Ассирией и жрецами, чего жрецы не подозревали.

К тому же отличной маской, скрывавшей стремления наследника перед высшими сановниками жреческой касты, было непостоянство его характера. Все помнили, как легко в прошлом году забыл он маневры в Пи-Баилосе ради тихой усадьбы Сарры и как в последнее время бросался от пирушек к делам и от благочестивой жизни к попойкам. Поэтому, за исключением Тутмоса, никто не поверил бы, что у этого непостоянного юноши есть какой-то план, какая-то цель, к осуществлению которой он будет стремиться с непреодолимым упорством.

На этот раз даже не пришлось долго ждать нового доказательства его непостоянства.

В Бубаст, несмотря на жару, приехала Сарра со всем своим двором и с сыном. Она немного похудела, ребенок был слегка нездоров или утомлен дорогой, но и тот и другая были очень хороши.

Наследник пришел в восторг. Он отвел Сарре павильон в самой красивой части дворцового сада и почти Целые дни проводил у колыбели сына.

Пирушки, маневры, печальные мысли — все было забыто. Молодым аристократам приходилось теперь пить и веселиться одним; они сняли мечи и снова превратились в франтов. Смена костюма была тем более необходима, что царевич водил их в павильон Сарры, чтобы показать им сына — своего сына.

— Посмотри, Тутмос, — говорил он своему любимцу, — какой чудный ребенок. Настоящий лепесток розы. И вот из этого крошки вырастет когда-нибудь настоящий человек! Этот розовый птенчик будет когда-нибудь бегать, говорить, даже учиться мудрости в жреческих школах. Ты полюбуйся, Тутмос, на его ручонки! — говорил Рамсес. — Запомни эти крохотные ручки, чтобы рассказывать о них, когда я дам ему полк и прикажу носить за мной секиру... И это мой сын, мой родной сын!

Неудивительно, что, слушая своего господина, его придворные огорчались, что не могут быть няньками и даже мамками этого ребенка, который, не имея никаких династических прав, был все же первенцем будущего фараона.

Идиллия эта, однако, очень скоро окончилась, так как не входила в интересы финикиян.

Однажды Хирам явился во дворец с целой толпой купцов, рабов и тех египтян, которые кормились его милостыней, и, представ перед наследником, сказал:

— Великодушный господин наш! В доказательство того, что сердце твое полно милости и к нам, азиатам, ты подарил нам пять талантов-на устройство игрищ в честь богини Ашторет. Воля твоя исполнена, мы подготовили игрища и теперь пришли просить тебя, чтобы ты соблаговолил почтить их своим присутствием.

Говоря это, седовласый тирский князь преклонил колена и преподнес ему на золотом подносе золотой ключ от ложи цирка.

Рамсес охотно принял приглашение, а святые жрецы Мефрес и Ментесуфис не возражали против того, чтобы наместник принял участие в торжествах в честь богини Ашторет.

— Во-первых, — говорил достойнейший Мефрес Ментесуфису, — Ашторет — это то же, что наша Исида или халдейская Иштар. Во-вторых, если мы разрешили азиатам выстроить храм на нашей земле, то приличествует хотя бы изредка оказывать внимание их богам.

— Мы даже обязаны оказать эту любезность финикиянам, после того как заключили наш договор с ассирийцами, — добавил, смеясь, достойный Ментесуфис.

Цирк, куда отправился в четыре часа пополудни наместник с номархом и знатными офицерами, был сооружен в саду храма Ашторет. Он представлял собой круглое поле, окруженное оградой в два человеческих роста. Вдоль ограды поднимались амфитеатром ложи и скамейки. Крыши не было. Зато над ложами были натянуты в виде крыльев бабочек разноцветные полотнища, которые прислужники sprыскивали благовонной водой и ритмически раскачивали для охлаждения воздуха.

Когда наместник появился в своей ложе, собравшиеся в цирке азиаты и египтяне огласили воздух громкими кликами. Зрелище началось шествием музыкантов, певцов и танцовщиц.

Рамсес огляделся. По правую руку от него была ложа Хирама и знатнейших финикиян. По левую — ложа финикийских жрецов и жриц, среди которых Кама, занимая одно из первых мест, обращала на себя внимание богатым нарядом и красотой. На ней был прозрачный хитон, украшенный разноцветной вышивкой, золотые запястья на руках и ногах, а на голове повязка с цветком лотоса, искусно сделанным из драгоценных камней.

Кама вместе со своими спутниками низко поклонилась царевичу и, повернувшись к соседней ложе, стала оживленно разговаривать с каким-то чужеземцем величественной осанки, борода и волосы которого были заплетены во множество мелких косичек.

Рамсес, явившийся в цирк прямо от колыбели своего сына, был весел. Увидав, однако, что Кама разговаривает с чужим человеком, он нахмурился.

— Ты не знаешь, — спросил он Тутмоса, — с кем это там любезничает жрица?

— Это и есть знаменитый вавилонский паломник, достойнейший Саргон.

— Да ведь он же старик, — заметил царевич.

— Он, конечно, старше нас двоих, вместе взятых, но красивый мужчина.

— Разве такой варвар может быть красивым? — возмутился наместник. — Я уверен, что от него пахнет бараньим жиром.

Они замолчали: наследник — негодуя, Тутмос — испугавшись, что осмелился похвалить человека, который не нравится его господину.

Между тем на арене одно зрелище сменялось другим: выступали гимнасты, укротители змей, танцовщицы, фокусники и шуты, вызывая шумное одобрение зрителей.

Наместник хмурился. В душе его ожили на время уснувшие страсти: ненависть к ассирийцам и ревность к Каме.

«Как может, — размышлял он, глядя на Каму, — эта женщина кокетничать со стариком, у которого к тому же лицо цвета дубленой кожи, черные бегающие глазки и борода, как у козла?»

Только один раз наследник внимательно посмотрел на сцену.

Вышло несколько нагих халдеев. Старший из них воткнул в землю три дротика, остриями кверху, и движением рук усыпил младшего, остальные взяли усыпленного на руки и положили на острые концы дротиков так, что один поддерживал его голову, другой спину, а третий ноги.

Усыпленный был неподвижен. Старик сделал над ним еще несколько движений руками и выдернул из земли дротик, поддерживавший ноги. Немного спустя он вытащил дротик из-под спины и, наконец, отбросил и тот, на котором покоилась голова.

И вот среди бела дня на глазах у тысяч зрителей усыпленный халдей повис горизонтально в воздухе без всякой опоры на высоте нескольких локтей от земли.

Наконец, старик толчком заставил его опуститься на землю и разбудил.

Зрители были в изумлении; никто не смел ни вскрикнуть, ни захлопать в ладоши, только из некоторых лож полетели на сцену цветы.

Рамсес был тоже удивлен. Он наклонился к ложе Хирама и сказал на ухо старому князю:

— А такое чудо вы могли бы показать в храме Ашторет?

— Я не знаю всех тайн наших жрецов, — ответил Хирам, смутившись, — но знаю, что халдеи очень ловкий народ...

— Однако мы все видели, что этот юноша висел в воздухе.

— Если на нас не навели чары, — недовольно ответил Хирам и нахмурился.

После непродолжительного перерыва, во время которого по ложам вельмож разносили свежие цветы, холодное вино и сладости, началась наиболее интересная часть зрелища — бой быков.

Под звуки труб, барабанов и флейт на арену вывели громадного быка; голова и глаза его были закрыты куском холста. За ним вбежало несколько голых людей, вооруженных копьями, и один с коротким кинжалом.

По знаку, данному наследником, слуги разбежались, а один из копьеносцев сорвал с головы быка холстину. Животное несколько мгновений стояло ошеломленное и вдруг погналось за людьми, дразнившими его уколами копий.

Борьба продолжалась несколько минут. Люди мучили быка, а тот с пеной у рта, обливаясь кровью, поднимался на дыбы и преследовал своих врагов, но не в силах был их догнать.

Наконец он упал под хохот зрителей.

Наследник томился и смотрел не на арену, а на ложу финикийских жрецов. Он видел, что Кама пересела поближе к Саргону и вела с ним оживленный разговор. Ассириец пожирал ее глазами, а она со стыдливой улыбкой то шептала ему что-то, наклоняясь так близко, что ее волосы смешивались с курчавой гривой варвара, то отворачивалась с деланным гневом.

Рамсес почувствовал, как у него защемило сердце. Впервые женщина при нем оказывала предпочтение другому мужчине. К тому же человеку пожилому, ассирийцу!..

В публике раздался глухой шум. На арене человек, вооруженный кинжалом, велел привязать себе левую руку к груди, другие осмотрели свои копья, и слуги ввели второго быка.

Один из копьеносцев сорвал с его глаз холстину. Бык повернулся и повел вокруг глазами, как бы считая противников. Когда те начали его колоть, он попятился к самой ограде, обеспечивая себе тыл. Потом наклонил голову и только исподлобья следил за движениями нападавших.

Сначала, чтобы уколоть его, копьеносцы осторожно подкрадывались сбоку. Видя, однако, что животное стоит неподвижно, они осмелели и стали пробегать перед ним все ближе и ближе.

Бык еще ниже наклонил голову и продолжал стоять как вкопанный. Среди публики раздался смех. Но вдруг веселье ее сменилось криком ужаса. Бык улучил минуту, грузно метнулся вперед и, подхватив на рога зазевавшегося человека, вскинул его вверх.

Тот грохнулся наземь с перебитыми костями, а бык помчался во весь опор на другой конец арены и там стал ждать нападения.

Копьеносцы опять окружили его и начали дразнить. Тем временем на арену выбежали цирковые прислужники, чтобы унести стонавшего раненого. Несмотря на участвовавшие уколы копий, бык стоял, не двигаясь, но как только трое слуг подняли на руки обессилевшего бойца, он с быстротою вихря бросился на них, опрокинул и стал безжалостно топтать ногами.

В публике поднялось смятение: женщины плакали, мужчины бранились и бросали в быка все, что было под рукой.

На арену полетели палки, ножи, даже доски от скамеек.

К рассвирепевшему животному подбежал человек с мечом, но остальные растерялись и не успели ему на помощь, бык опрокинул его и погнался за остальными.

Произошло нечто до сего небывалое в цирке: на арене пять человек лежало, остальные, неловко защищаясь, спасались от разъяренного животного бегством, а публика выла от возмущения и страха.

Вдруг все стихло. Зрители вскочили с мест и наклонились вперед, а Хирам побледнел и раскинул руки. На арену из лож; высшей знати выскочило двое: царевич Рамсес с выхваченным из ножен мечом и Саргон с коротким топориком.

Бык, нагнув голову к самой земле и задрвав кверху хвост, мчался вокруг арены, вздымая облака пыли. Он несся прямо на царевича, но, словно отпрянув перед величием царственного отпрыска, миновал Рамсеса и бросился на Саргона, но... пал на месте. Ловкий, атлетически сложенный ассириец повалил его одним ударом топорика между глаз.

Зрители взвыли от восторга, и на Саргона и его жертву посыпались цветы. Между тем Рамсес стоял с обнаженным мечом, недоумевающий и возмущенный, и смотрел, как жрица Кама вырывает цветы у своих соседей и бросает их ассирийцу.

Саргон равнодушно принимал проявления восторга зрителей. Он небрежно тронул быка ногой, чтобы убедиться, что он мертв, потом сделал несколько шагов навстречу наследнику и, произнеся что-то на своем языке, поклонился с достоинством знатного вельможи.

Кровавый туман поплыл перед глазами Рамсеса. Всего охотнее он вонзил бы меч в грудь этому победителю. Однако он овладел собой, с минуту подумал и, сняв с шеи золотую цепь, подал ее Саргону.

Ассириец еще раз поклонился, поцеловал цепь и надел ее на себя. Рамсес же с багровыми пятнами на щеках направился к выходу и, провожаемый несмолкающими возгласами публики, с чувством глубокого унижения покинул цирк.

9

Был уже месяц тот (конец июня — начало июля). Наплыв приезжих в Бубаст и его окрестности стал из-за жары уменьшаться. Но при дворе Рамсеса все еще продолжали веселиться. Много говорили о случае в цирке.

Придворные восхваляли смелость наместника, недогадливые восторгались силой Саргона, жрецы с серьезным видом шептались между собой, что наследник престола все же не должен был вмешиваться в бой быков, на что есть люди, получающие за это деньги и отнюдь не пользующиеся общественным уважением.

Рамсес либо не слышал этих разговоров, либо не обращал на них внимания.

В его памяти запечатлелось лишь то, что ассириец отнял у него победу над быком, ухаживал за Камой и Кама весьма благосклонно принимала эти ухаживания.

Так как ему не подобало вызывать к себе финикийскую жрицу, то он однажды отправил ей письмо, в котором сообщал, что хочет ее видеть, и спрашивал, когда она его примет. Кама ответила, что будет ожидать его в тот же вечер.

Не успели загореться на небе звезды, как Рамсес тайком (так ему, по крайней мере, казалось) вышел из дворца и отправился к храму Ашторет.

Сад храма был почти пуст, особенно вокруг павильона жрицы. В павильоне было тихо и светило всего несколько огоньков.

Он робко постучал. Жрица открыла ему сама. В темных сенях она стала целовать его руки, шепча, что умерла бы, если б тогда в цирке разъяренное животное причинило ему какой-нибудь вред.

— Но теперь ты вполне спокойна, раз твой любовник спас меня, — ответил он с раздражением.

Когда они вошли в освещенную комнату, на глазах Камы видны были слезы.

— Что с тобой? — спросил царевич.

— Сердце господина моего отвернулось от меня, — сказала она. — И, может быть, не даром.

Рамсес язвительно засмеялся.

— А что? Ты уже его любовница? Или только собираешься стать ею, святая дева?

— Любовницей? Никогда! Но я могу стать женой этого ужасного человека.

Рамсес вскочил с места.

— Что это — сон? — вскричал Рамсес. — Или Сет послал проклятие на мою голову? Ты, жрица, которая охраняет огонь перед алтарем богини Ашторет и должна, под угрозой смерти, оставаться девственницей, ты выходишь замуж? Воистину, лицемерие финикийян превосходит все, что о нем рассказывают!..

— Послушай меня, господин мой, — сказала, утирая слезы, Кама, — и осуди, если я того заслужила. Саргон хочет сделать меня своей женой, своей первой женой. По нашим законам жрица в особо исключительных случаях может выйти замуж, но только за человека царской крови. А Саргон — родственник царя Ассара.

— И ты выйдешь за него замуж?

— Если Высший совет жрецов Тира прикажет мне, я не посмею ослушаться, — ответила она, снова заливаясь слезами.

— А почему его занимает Саргон? — спросил наследник.

— Его занимает и многое другое, — ответила она, вздыхая, — говорят, что ассирийцы собираются захватить Финикию, и Саргон будет ее наместником.

— Ты с ума сошла! — вскричал Рамсес.

— Я говорю то, что мне известно. В нашем храме уже второй раз начинаются молебствия об отвращении беды от Финикии. В первый раз мы совершали их еще до твоего прибытия к нам, господин мой.

— А сейчас почему?

— Потому что на этих днях прибыл в Египет халдейский жрец Издубар с письмами, в которых царь Ассар назначает Саргона своим посланником и уполномочивает его заключить с вами договор о захвате Финикии.

— Но ведь я... — перебил ее наместник.

Он хотел сказать: «ничего не знаю», но запнулся и ответил, смеясь:

— Кама, клянусь тебе честью моего отца, что, пока я жив, Ассирия не захватит Финикии. Довольно с тебя?

— О господин мой! Господин! — воскликнула она, падая к его ногам.

— И теперь ты не выйдешь замуж: за этого дикаря?

— О! — вздрогнула она. — И ты еще спрашиваешь?

— И будешь моей? — прошептал Рамсес.

— Значит, ты желаешь моей смерти? — воскликнула Кама с ужасом. — Что ж... если ты этого хочешь, я готова.

— Я хочу, чтобы ты жила, — продолжал он страстно, — чтобы ты жила и принадлежала мне...

— Это невозможно...

— А Высший совет жрецов Тира?

— Он может только выдать меня замуж.

— Но ведь ты войдешь в мой дом...

— Если я войду туда, не будучи твоей женой, то умру. Но я готова... даже к тому, чтобы не увидеть завтрашнего солнца.

— Успокойся, — ответил наследник серьезным тоном, — кто обрел мою милость, тому никто не может повредить.

Кама снова опустилась перед ним на колени.

— Как же это может быть? — спросила она, складывая ладони.

Рамсес был так возбужден, настолько забыл о своем положении и обязанностях, что готов был пообещать жрице жениться на ней. Удержал его от этого шага не рассудок, а какой-то слепой инстинкт.

— Как это может быть? Как это может быть? — шептала Кама, пожирая его глазами и целуя его ноги.

Он поднял Каму, посадил поодаль от себя и сказал, улыбаясь:

— Ты спрашиваешь, как это может быть?.. Сейчас я тебе объясню. Последним моим учителем был один старый жрец, знавший наизусть множество старинных историй из жизни богов, царей, жрецов, даже низших чиновников и крестьян. Старик этот, славившийся своим благочестием и чудесами, не знаю почему, не любил женщин и даже боялся их. Он вечно твердил об их коварстве и однажды,

чтобы доказать всю силу женской власти над мужской половиной человеческого рода, рассказал мне такую историю:

«Молодой писец, бедняк, у которого не было в мешке ни одного медного дебена, а только ячменная лепешка, в поисках заработка отправился из Фив в Нижний Египет. Ему говорили, что в этой части государства живут самые богатые купцы и господа и, если только ему повезет, он может получить должность, которая обогатит его.

Вот идет он по берегу Нила (заплатить за место на судне ему было нечем) и думает: «Как легкомысленны люди, которые, получив в наследство от родителей один золотой талант, или два, или даже десять, вместо того чтобы приумножить богатство торговлей или отдавая деньги в рост, растрачивают его неизвестно на что. Если бы у меня была драхма... Нет, драхмы мало. Если бы у меня был талант или, еще лучше, несколько полосок земли, я из года в год копил бы деньги и под конец жизни стал бы богат, как самый богатый номарх.

Но что поделаешь, — думал он, вздыхая, — боги, очевидно, покровительствуют только дуракам. А я преисполнен мудрости от парика до босых пят. Если же меня можно обвинить в глупости, то разве только в том отношении, что я не сумел бы растратить свое состояние и даже не знал бы, как приступить к совершению такого безбожного поступка».

Рассуждая так, бедный писец проходил мимо мазанки, перед которой сидел какой-то человек. Был он не молодой и не старый, но взгляд его проникал в самую глубь сердца. Писец, мудрый, как аист, сразу сообразил, что это, наверное, какой-нибудь бог, и, поклонившись, сказал:

— Привет тебе, почтенный владелец этого прекрасного дома. Как жаль, что у меня нет ни вина, ни мяса, чтобы поделиться с тобой в знак моего уважения к тебе и в доказательство того, что все мое имущество принадлежит тебе.

Амону — а это был он в образе человека — понравились приветливые слова молодого писца. Он посмотрел на него и спросил:

— О чем ты думал, когда шел сюда? Я вижу мудрость на твоем челе, а я принадлежу к числу тех, кто, как куропатка зерна пшеницы, собирает слова мудрости.

Писец вздохнул.

— Я думал, — сказал он, — о моей нужде и о тех легкомысленных богачах, которые неизвестно на что и как проматывают свое состояние.

— А ты бы не промотал? — спросил бог, все еще сохранявший образ человека.

— Посмотри на меня, господин, — сказал писец, — на мне рваная дерюга, а сандалии я потерял по дороге. Но папирус и чернильницу я всегда ношу при себе, как собственное сердце. Ибо, вставая и ложась спать, я повторяю: «Лучше нищая мудрость, чем глупое богатство». А раз уж я таков, раз я умею выразить свои мысли письменно и сделать самый сложный расчет, а кроме того, знаю все

растения и всех животных, какие только существуют под небом, мог ли бы я промотать свое состояние?

Бог задумался и сказал:

— Речь твоя струится плавно, как Нил под Мемфисом. Но если ты в самом деле так мудр, то напиши мне слово «Амон» двумя способами.

Писец вынул чернильницу, кисточку и, не заставив долго ждать, написал на двери мазанки слово «Амон» двумя способами, и так четко, что даже бессловесные твари останавливались, чтобы почтить бога.

Бог остался доволен и сказал:

— Если ты так же бойко считаешь, как пишешь, то подведи-ка расчет вот такой торговой сделке. Если за одну куропатку дают четыре куриных яйца, то сколько куриных яиц должны мне дать за семь куропаток?

Писец набрал камешков, разложил их в несколько рядов, и не успело еще закатиться солнце, как он ответил, что за семь куропаток полагается двадцать восемь куриных яиц.

Всемогущий Амон так и расцвел в улыбке, видя перед собой столь выдающегося мудреца, и сказал:

— Я вижу, что ты говорил правду про свою мудрость. Если же ты окажешься столь же стойким в добродетели, то я сделаю так, что ты будешь счастлив до конца жизни, а после смерти сыновья твои поместят твою тень в прекрасную гробницу. А теперь скажи мне, желаешь ли ты, чтобы твое богатство просто сохранилось, или хочешь, чтобы оно приумножалось?

Писец пал к ногам милосердного бога и ответил:

— Будь у меня хотя бы эта лачуга и четыре меры земли, я считал бы себя богатым.

— Хорошо, — сказал бог, — но подумай хорошенько, хватит ли тебе этого?

Он повел его в хижину и показал:

— Вот тут четыре чепца и четыре передника, два покрывала на случай ненастья и две пары сандалий. Тут очаг, тут лавка, на которой можно спать, ступа, чтобы толочь пшеницу, и квашня для теста.

— А это что? — спросил писец, указывая на какую-то статую, покрытую холстом.

— Это единственная вещь, — ответил бог, — до которой ты не должен дотрагиваться, иначе потеряешь все имущество.

— О! — воскликнул писец, — пускай она стоит тут хоть тысячу лет, я и не подумаю прикоснуться к ней! А позвольте спросить вашу милость — что это за усадьба видна там вдали?

И он высунулся в окошко мазанки.

— Ты угадал, — молвил Амон, — там действительно видна усадьба. В ней большой дом, пятьдесят мер земли, десять голов скота и столько же рабов. Если бы ты захотел получить эту усадьбу...

Писец пал к ногам бога.

— Разве есть, — воскликнул он, — такой человек под солнцем, который, имея ячменную лепешку, не предпочел бы пшеничный хлебец?

Услыхав это, Амон произнес заклинание, и в одно мгновение оба они очутились в большом доме.

— Вот тут у тебя, — сказал Амон, — резная кровать, пять столиков и десять стульев. Вот тут вышитые одежды, кувшин и кубки для вина, вот светильник с оливковым маслом и носилки...

— А это что? — спросил писец, указывая на стоявшую в углу статую, покрытую легкой кисеей.

— Этого, — ответил бог, — не трогай, иначе потеряешь все имущество.

— Если бы я прожил на свете десять тысяч лет, то и тогда бы не дотронулся до этой вещи, так как считаю, что после мудрости лучше всего богатство. А что это виднеется вон там вдали? — спросил он немного погодя, указывая на величественный дворец, окруженный садом.

— Это княжеское поместье, — ответил бог. — Там дворец, пятьсот мер земли, сто рабов и несколько сот голов скота. Поместье огромное, но если ты думаешь, что твоя мудрость справится с ним...

Писец снова припал к ногам Амона, обливаясь слезами радости.

— О господин! — воскликнул он. — Где ты видел такого безумца, который вместо кружки пива не пожелал бы бочки вина?

— Слова твои достойны мудреца, делающего самые сложные вычисления, — сказал Амон.

Он произнес несколько слов заклинания, и они перенеслись во дворец.

— Вот здесь у тебя, — молвил добрый бог, — пиршественная зала, а в ней раззолоченные диваны, кресла и столики, выложенные разноцветным деревом. Внизу кухня и кладовая, где ты найдешь мясо, рыбу и печенья. Наконец, подвал, наполненный прекрасными винами. Вот тут спальня с подвижной кровлей, чтобы твои рабы навевали тебе прохладу во время сна. Полюбуйся на ложе из кедрового дерева, покоящееся на четырех львиных лапах, искусно отлитых из бронзы. Вот шкаф, полный одежд, а в сундуках ты найдешь кольца, цепи и запястья.

— А это что? — спросил писец, указывая на статую, покрытую затканым золотыми и пурпурными нитями покрывалом.

— Это как раз то, чего ты должен особенно остерегаться, — ответил бог. — Стоит тебе прикоснуться — и пропало все твое богатство. А таких поместий в Египте не много. Кроме того, тут в шкатулке лежит десять талантов в золоте и драгоценных камнях.

— Владыка! — вскричал писец. — Позволь мне поставить на самом видном месте в этом дворце твое святое изваяние, дабы я мог трижды в день воскурять перед ним благовония.

— Но ты избегай! — сказал еще раз Амон, указывая на статую, покрытую прозрачной тканью.

— Разве что я лишусь разума и стану хуже дикой свиньи, которая не отличает вина от помоев, — ответил писец. — Пусть эта фигура под покрывалом стоит здесь и кается сто тысяч лет, я не прикоснусь к ней, раз такова твоя воля...

— Помни же, а то все потеряешь! — промолвил бог и скрылся.

Счастливый писец стал расхаживать по своему дворцу и выглядывать в окна. Он осмотрел сокровищницу, взвесил в руках золото — тяжело. Посмотрел поближе на драгоценные камни — настоящие. Велел подать себе поесть, тотчас же вбежали рабы, омыли его, побрили, нарядили в тонкие одежды.

Он наелся и напился, как никогда, затем возжег благовония перед статуей Амона и, убрав ее живыми цветами, сел у окна и стал смотреть во двор.

Там ржали лошади, запряженные в резную колесницу. Кучка людей с дротиками и сетями сдерживала своры непослушных собак, рвавшихся на охоту. У амбара писец принимал зерно от крестьян, другой выслушивал отчет надсмотрщика. Вдали виднелись оливковая роща, высокий холм с виноградником, поля пшеницы, среди полей — густо посаженные финиковые пальмы.

«Воистину, — молвил он про себя, — сейчас я богат, как того и заслуживаю. Одно только удивляет меня, как это я мог столько лет прожить в нищете и унижении. Должен сознаться, — продолжал он мысленно, — что я сам не знаю, стоит ли приумножать такое огромное богатство, ибо мне больше и не нужно, и у меня не хватит времени гоняться за наживой».

Однако ему стало скучно в хоромах. Он вышел осмотреть сад, объехал поля, побеседовал со слугами, которые падали перед ним ниц, хотя были разодеты так, что еще вчера он считал бы для себя за честь поцеловать им руку. Скоро ему стало еще тоскливее. Он вернулся во дворец и начал осматривать содержимое амбара и погреба, а также мебель в покоях.

«Все это красиво, — думал он, — но еще красивее была бы мебель из чистого золота и кувшины из драгоценного камня».

Взгляд его невольно упал в тот угол, где стояла статуя, скрытая под богато вышитым покрывалом.

Он заметил, что фигура вздыхает.

«Вздыхай себе, вздыхай», — подумал он, беря в руки кадила, чтобы возжечь благовония перед статуей Амона.

«Благой это бог, — продолжал он размышлять. — Он ценит достоинства мудрецов, даже босых, и воздает им по заслугам. Какое чудное поместье подарил он мне. Правда, я тоже почтил его, написав его имя на двери той мазанки. И как хорошо я ему подсчитал, сколько он может получить куриных яиц за семь куропаток. Правы были мои наставники, когда твердили, что мудрость отверзает даже уста богов».

Он опять посмотрел в угол. Покрытая вуалью фигура снова вздохнула.

«Хотел бы я знать, — подумал писец, — почему это мой друг Амон запретил мне прикасаться к этой статуе. Конечно, за такое поместье он имел право поставить мне свои условия, хотя я с ним так не поступил бы. Если весь дворец принадлежит мне, если я могу пользоваться всем, что здесь есть, то почему мне нельзя к этому даже прикоснуться?.. Амон сказал: нельзя прикасаться, но ведь взглянуть-то можно?»

Он подошел к статуе, осторожно снял покрывало, посмотрел... Что-то очень красивое! Как будто юноша, однако не юноша... Волосы длинные, до колен, черты лица мелкие, и взор, полный очарования.

— Что ты такое? — спросил он.

— Я женщина, — ответила ему она голосом столь нежным, что он проник в его сердце, словно финикийский кинжал.

«Женщина? — подумал писец. — Этому меня не учили в жреческой школе... Женщина!..» — повторил он.

— А что это у тебя здесь?

— Глаза.

— Глаза? Что же ты видишь этими глазами, которые могут растаять от первого луча?

— А у меня глаза не для того, чтобы я ими смотрела, а чтобы ты в них смотрел, — ответила женщина.

«Странные глаза», — сказал про себя писец, пройдясь по комнате.

Он опять остановился перед ней и спросил:

— А это что у тебя?

— Это мой рот.

— О боги! Да ведь ты же умрешь с голоду! Разве таким крошечным ртом можно наестся досыта!

— Мой рот не для того, чтобы есть, — ответила женщина, — а для того, чтобы ты целовал мои губы.

— Целовал? — повторил писец. — Этому меня тоже в жреческой школе не учили. А это что у тебя?

— Это мои ручки.

— Ручки! Хорошо, что ты не сказала «руки». Такими руками ты ничего не сделаешь, даже овцу не подоишь.

— Мои ручки не для работы...

— Как и твои, Кама, — прибавил наследник, играя тонкой рукой жрицы.

— А для чего же они, такие руки? — с удивлением спросил писец, перебирая ее пальцы.

— Чтобы обнимать тебя за шею, — сказала женщина.

— Ты хочешь сказать: «хватать за шею»? — закричал испуганный писец, которого жрецы всегда хватали за шею, когда хотели высечь.

— Нет, не хватать, — сказала женщина, — а так...»

— И обвила руками, — продолжал Рамсес, — его шею, вот так... (И он обвил руками жрицы свою шею.) А потом прижала его к своей груди, вот так... (И прижался к Кама.)

— Что ты делаешь, господин, — прошептала Кама, — ведь это для меня смерть!

— Не пугайся, — ответил он, — я показываю тебе только, что делала та статуя с писцом.

«Вдруг задрожала земля, дворец исчез, исчезли собаки, лошади и рабы, холм, покрытый виноградником, превратился в голую скалу, оливковые деревья — в тернии, а пшеница — в песок...

Писец, очнувшись в объятиях возлюбленной, понял, что он такой же нищий, каким был вчера, когда шел по дороге. Но он не пожалел о своем богатстве. У него была женщина, которая любила его и ласкала...»

— Значит, все исчезло, а она осталась? — наивно воскликнула Кама.

— Милосердный Амон оставил ее ему в утешение, — ответил Рамсес.

— О, Амон милостив только к писцам! Но каков же смысл этого рассказа?

— Угадай. Ты ведь слышала, от чего отказался бедный писец за поцелуй женщины.

— Но от трона он бы не отказался!

— Кто знает! Если бы его очень просили об этом... — страстно прошептал Рамсес.

— О нет! — воскликнула Кама, вырываясь из его объятий. — От трона пусть он не отказывается, иначе что останется от его обещаний Финикии?

Они долго-долго глядели друг другу в глаза. И вдруг Рамсес почувствовал, как у него защемило сердце и растаяла в нем какая-то частица любви к Каме: не страсть — страсть осталась, — а уважение, доверие.

«Удивительные эти финикийки, — подумал наследник, — их можно любить, но верить им нельзя».

Усталость овладела им, и он простился с Камой. Он поглядел вокруг, словно ему трудно было расстаться с этой комнатой, и, уходя, подумал:

«А все-таки ты будешь моей, и финикийские боги не убьют тебя, если им дороги их храмы и жрецы».

Не успел Рамсес покинуть дом Камы, как к ней вбежал молодой грек, поразительно на него похожий. Лицо его было искажено яростью.

— Ликон?.. — в испуге вскрикнула Кама. — Зачем ты здесь?

— Подлая гадина! — закричал грек. — Не прошло и месяца, как ты клялась, что любишь меня и убежишь со мною в Грецию, и уже бросаешься на шею другому любовнику. Уж; не повержены ли боги или нас оставила их справедливость?..

— Сумасшедший ревнивец! Ты еще убьешь меня...

— Конечно, убью тебя, а не твою каменную богиню. Задушу вот этими руками, если станешь любовницей.

— Чьей?

— Как будто я знаю. Наверное, обоих: того старика, ассирийца, и царевича; я разобью его каменный лоб, если он будет здесь шататься. Царевич! Все египетские девушки к его услугам, а ему понадобилась жрица. Жрица для жрецов, а не для чужих...

Но Кама уже пришла в себя.

— А разве ты не чужой? — спросила она надменно.

— Змея! — снова вспыхнул грек. — Я не чужой, потому что служу вашим богам. И сколько раз мое сходство с египетским наследником помогало вам обманывать азиатов и уверять их, что он исповедует вашу веру!

— Тише, тише! — шептала жрица, рукой зажимая ему рот.

Очевидно, это прикосновение было очень приятным, так как грек успокоился.

— Слушай, Кама, на днях в Себеннитскую бухту войдет греческий корабль под управлением моего брата. Постарайся, чтобы верховный жрец отправил тебя в Бутто. Оттуда мы убежим на север, в Грецию, в пустынное место, где еще не ступала нога финикийнина.

— Они доберутся и до него, если я скроюсь туда, — сказала Кама.

— Пусть хоть один волос упадет с твоей головы, — прошипел в бешенстве грек, — и я клянусь, что Дагон... что все здешние финикияне отдадут за него свои головы или издохнут в каменоломнях! Тогда узнают, на что способен грек!

— А я говорю тебе, — ответила жрица, — что пока я не накоплю двадцати талантов, я не двинусь отсюда. А у меня всего восемь.

— Где же ты возьмешь остальные?

— Мне дадут Саргон и наместник.

— Если Саргон, — согласен, но от наследника я не желаю!

— Какой ты глупый. Разве ты не понимаешь, почему этот молокосос мне немного нравится? Он напоминает тебя...

Это замечание совсем успокоило грека.

— Ну, ну, — ворчал он, — я понимаю, что когда перед женщиной выбор: наследник престола или такой певец, как я, то мне нечего бояться. Но я ревнив и горяч и потому прошу тебя держать своего царевича подальше.

И поцеловав Каму, юноша выбежал из павильона и скрылся в темном саду.

— Жалкий шут, — прошептала жрица, погрозив ему вслед, — ты можешь быть только рабом, услаждающим мой слух песнями.

10

Когда на следующее утро Рамсес пришел навестить сына, он застал Сарру в слезах. На вопрос о причине ее горя она сначала ответила, что ничего не случилось, что ей только грустно, но потом с плачем упала к ногам Рамсеса.

— Господин, господин мой! — сказала она. — Я знаю, что ты меня больше не любишь, но береги, по крайней мере, себя.

— Кто сказал, что я разлюбил тебя? — удивился Рамсес.

— Ты взял в дом трех новых девушек знатного рода...

— А-а... вот в чем дело!..

— А теперь подвергаешь себя опасности ради четвертой... коварной финикиянки.

Рамсес смутился. Откуда Сарра могла узнать о Каме и о том, что она коварна?..

— Как пыль проникает в сундуки, так злая молва врывается в самый мирный дом, — сказал Рамсес. — Кто же сказал тебе про финикиянку?

— Разве я знаю? Ворожея и мое сердце.

— Значит, тут замешана и гадалка?

— Да, мне было страшное предсказание. Одна старая жрица видела, — должно быть, в хрустальном шаре, — что все мы погибнем из-за финикийки — по крайней мере, я... и мой сын, — рыдая, призналась Сарра.

— Ты веришь в единого Яхве и вдруг испугалась сказок какой-то старухи, быть может, интриганки? Где же твой великий бог?

— Этот бог — только для меня, а те, другие — твои, — и я тоже должна почитать их.

— Значит, старуха говорила тебе о финикийках? — спросил Рамсес.

— Она ворожила мне давно, еще в Мемфисе. И вот теперь все говорят про какую-то финикийскую жрицу. Я не знаю, может, мне с горя все это чудится. Будто, если бы не ее чары, ты не бросился бы тогда на арену. Ведь бык мог убить тебя! Как подумаю, и сейчас сердце холодеет...

— Все это глупости, Сарра! — весело перебил ее Рамсес. — Кого я приблизил к себе, тот стоит так высоко, что ему ничто не страшно. А тем более какие-то бабьи сказки.

— А несчастье? Нет такой высокой горы, где бы не настигли нас его стрелы!

— Материнские заботы утомили тебя, — сказал царевич, — и жару ты плохо перносишь, оттого и печалишься беспричинно. Успокойся и береги моего сына. Человек, кто бы он ни был — финикийнин или грек, может вредить только себе подобным, а не нам, богам этого мира, — сказал он задумчиво.

— Что ты сказал про грека?.. Какой грек?.. — спросила с беспокойством Сарра.

— Я сказал «грек»? Не помню... Ты ослышалась.

Рамсес поцеловал Сарру и ребенка и простился с ними, но тревога не покидала его.

«Надо раз навсегда запомнить, — думал он, — что в Египте не укроется ни одна тайна: за мной следят жрецы и мои придворные, — эти даже когда они пьяны или притворяются пьяными, а с Камы не сводят своих змеиных глаз финикийяне, и если они до сих пор не спрятали ее от меня, то только потому, что их мало беспокоит ее целомудрие. Сами же они посвятили меня в обманы, которыми занимаются в их храмах. Кама будет моей. Они слишком заинтересованы во мне и не посмеют навлечь на себя мой гнев».

Несколько дней спустя к царевичу явился жрец Ментесуфис, помощник почтенного Херихора по военной коллегии. Глядя на его бледное лицо и опущенные веки, Рамсес понял, что тот знает уже про финикийку и, может быть, в качестве жреца собирается даже читать ему наставления. Но Ментесуфис не коснулся сердечных дел наследника. Поздоровавшись официальным тоном, он сел на указанное место и заявил:

— Из мемфисского дворца владыки вечности мне сообщили, что на днях прибыл в Бубаст великий халдейский жрец Издубар, придворный астролог и советник его милости царя Ассара.

Рамсес чуть было не сказал Ментесуфису, что ему известна цель прибытия Издубара, но вовремя сдержался.

— Знаменитый жрец Издубар, — продолжал Ментесуфис, — привез с собой грамоту о том, что достойный Саргон, родственник и наместник его милости царя Ассара, назначен к нам полномочным послом этого могущественного властителя.

Рамсес чуть не рассмеялся. Важный вид, с каким Ментесуфис приоткрыл секрет, давно ему известный, привел наместника в веселое настроение. Он подумал с глубоким презрением:

«Этому фокуснику даже в голову не приходит, что я знаю все их проделки».

— Достойный Саргон и почтенный Издубар, — продолжал Ментесуфис, — отправятся в Мемфис облобызать стопы фараона. Но раньше ты, государь, как наместник, соблаговоли милостиво принять обоих вельмож и их свиту.

— С большим удовольствием, — ответил наместник, — и при случае спрошу у них, когда Ассирия уплатит нам просроченную дань.

— Ты серьезно намерен это сделать? — спросил жрец, пристально глядя в глаза царевичу.

— Непременно. Наша казна нуждается в золоте.

Ментесуфис вдруг встал и негромко, но торжественно произнес:

— Наместник нашего повелителя и подателя жизни! От имени фараона запрещаю тебе говорить с кем бы то ни было об ассирийской дани, в особенности же с Саргоном, Издубаром или с кем-либо из их свиты.

Наместник побледнел.

— Жрец, — сказал он, тоже вставая, — по какому праву ты мне приказываешь?

Ментесуфис слегка распахнул свое одеяние и снял с шеи цепочку, на которой висел перстень фараона.

Наместник посмотрел на перстень, с благоговением поцеловал его и, вернув жрецу, ответил:

— Исполню повеление царя, моего господина и отца.

Оба снова сели. Царевич спросил:

— Но объясни мне, почему Ассирия не должна платить нам дани, которая сразу вывела бы нашу государственную казну из затруднения?

— Потому что мы недостаточно сильны, чтобы заставить Ассирию платить нам дань, — холодно ответил Ментесуфис. — У нас сто двадцать тысяч солдат, а у

Ассирии их около трехсот тысяч. Я говорю с тобой вполне доверительно, как с высшим сановником государства, и пусть это останется в строгой тайне.

— Понимаю. Но почему военное министерство, в котором ты служишь, сократило нашу доблестную армию на шестьдесят тысяч человек?

— Чтобы увеличить доходы царского двора на двенадцать тысяч талантов, — ответил жрец.

— Вот как? — продолжал наместник. — А с какой целью Саргон едет лобызать стопы фараона?

— Не знаю.

— Не знаешь? Но почему этого не должен знать я, наследник престола?

— Потому что есть государственные тайны, которые открыты лишь немногим высшим сановникам государства.

— И которых может не знать даже мой высокочтимый отец?

— Несомненно, — ответил Ментесуфис, — есть вещи, которые мог бы не знать даже царь, если бы не был посвящен в высший жреческий сан.

— Странное дело, — сказал наследник, подумав. — Египет принадлежит фараону, и тем не менее в государстве могут твориться дела, которые ему неизвестны... Как это понять?

— Египет прежде всего, и притом исключительно и безраздельно, принадлежит Амону, — ответил жрец. — Поэтому необходимо, чтобы высшие тайны были известны только тем, кому Амон открывает свою волю и намерения.

Каждое слово жреца жгло царевича, как огнем.

Ментесуфис хотел было встать, но наместник удержал его.

— Еще одно слово, — сказал он мягко. — Если Египет так слаб, что нельзя даже упоминать об ассирийской дани, если...

Рамсес тяжело перевел дыхание.

— ...Если он так жалок и ничтожен, то где же уверенность, что ассирийцы не нападут на нас?

— От этого можно обезопасить себя договором, — ответил жрец.

Наследник махнул рукой.

— Слабым не помогут договоры, — сказал он. — Никакие серебряные доски, исписанные соглашениями, не защитят границ, которые никем не охраняются.

— А кто же сказал вашему высочеству, что они не охраняются?

— Ты сказал. Сто двадцать тысяч солдат не могут устоять перед тремястами. Если ассирийцы вторгнутся к нам, Египет превратится в пустыню.

Глаза Ментесуфиса загорелись.

— Если они вторгнутся к нам, мы вооружим всю знать, крестьян, даже преступников из каменоломен... — сказал он. — Мы извлечем сокровища из всех храмов... И против Ассирии выступят пятьсот тысяч египетских воинов...

Восхищенный этой вспышкой патриотизма, Рамсес схватил жреца за руку и сказал:

— Так если мы можем создать такую армию, почему нам самим не напасть на Вавилон? Разве великий военачальник Нитагор не молит нас об этом вот уже столько лет? Разве фараона не тревожат настроения ассирийцев? Если мы позволим им собраться с силами, борьба будет труднее. Если же мы начнем первые...

— Ты знаешь, царевич, — перебил его жрец, — что такое война, да еще такая война, которая требует перехода через пустыню? Кто поручится, что, прежде чем мы дойдем до Евфрата, половина нашей армии и носильщиков не погибнет от трудностей пути?

— Одна битва, и мы будем вознаграждены! — воскликнул Рамсес.

— Одна битва? — повторил жрец. — А ты знаешь, царевич, что такое битва?

— Полагаю, что да, — ответил с гордостью наследник, ударив рукой по мечу.

Ментесуфис пожал плечами.

— А я тебе говорю, государь, что ты не знаешь. Ты судишь по маневрам, на которых всегда оказываешься победителем, хотя нередко должен был быть побежденным.

Рамсес нахмурился. Жрец сунул руку за полу одежды и спросил:

— Угадай, что это?

— Что? — спросил с удивлением наследник.

— Скажи быстро и без ошибки, — торопил жрец. — Если ошибешься, погибнут два твоих полка.

— Перстень, — ответил, смеясь, наследник.

Ментесуфис раскрыл ладонь, — в ней был кусок папируса.

— А теперь что у меня в руке? — спросил опять жрец.

— Перстень.

— Нет, не перстень, а амулет богини Хатор, — сказал жрец. — Видишь, государь, — продолжал он, — так и в сражении. Во время сражения судьба каждую минуту загадывает нам загадки. Иногда мы ошибаемся, иногда угадываем. И горе тому, кто чаще ошибается, недоели угадывает! Но стократ горше тому, от кого счастье отвернулось и он только ошибается.

— И все-таки я верю, я чувствую сердцем, — вскричал наследник, бия себя в грудь, — что Ассирия должна быть раздавлена!

— Сам бог Амон да говорит твоими устами! — сказал жрец. — И так и будет, — добавил он, — Ассирия будет уничтожена, возможно, даже твоими стараниями, государь, но не сейчас... не сейчас...

Ментесуфис ушел. Рамсес остался один. Голова его пылала, как в огне.

«А ведь Хирам был прав, когда говорил, что жрецы нас обманывают, — думал Рамсес. — Теперь уж и я убежден, что они заключили с халдейскими жрецами какой-то договор, который мой святейший отец должен будет утвердить. Его заставят!.. Чудовищно!.. Он, повелитель живых и мертвых, должен подписать договор, измышленный интриганами!»

Рамсес задыхался.

«С другой стороны, Ментесуфис выдал себя. Значит, Египет в самом деле может в случае нужды выставить полумиллионную армию! Я даже не мечтал о такой силе! А они думают запугать меня баснями о судьбе, которая будет задавать мне загадки. Если бы у меня было хоть двести тысяч солдат, вымуштрованных так, как греческие и ливийские полки, я разгадал бы все загадки земли и неба».

Достопочтенный же Ментесуфис, возвращаясь в свою келью, рассуждал:

«Горячая он голова, ветреник, волокита, но сильный характер. После такого слабовольного фараона, как нынешний, этот, пожалуй, вернет нам времена Рамсеса Великого. Лет через десять злое влияние звезд прекратится, царевич вступит в зрелый возраст и сокрушит Ассирию. От Ниневии останутся одни развалины, священный Вавилон восстановит свое могущество, единый всевышний бог, бог египетских и халдейских пророков, распространит свою власть от Ливийской пустыни до священной реки Ганг...

Лишь бы только наш молодой наследник не опозорил себя своими ночными прогулками к финикийской жрице... Если его застанут в саду Ашторет, народ подумает, что наследник престола тяготеет к финикийской вере... А Нижнему Египту уже не много надо, чтобы отречься от старых богов! Какая здесь смесь народов!..»

Несколько дней спустя достойнейший Саргон, официально поставив наместника в известность относительно своих полномочий ассирийского посла, заявил о желании приветствовать наследника престола и просил предоставить ему конвой, который сопровождал бы его с должными почестями к стопам его святейшества фараона.

Наместник два дня задерживал ответ, после чего, назначив прием, отложил его еще на два дня.

Ассириец, привыкший к восточной медлительности как в путешествиях, так и в делах, несколько этим не огорчился, но времени попусту не терял. Он с утра до вечера пил, играл в кости с Хирамом и другими азиатскими князьями, а в свободные минуты, так же как и Рамсес, тайком спешил к Каме.

Как человек пожилой и практичный, он при каждом посещении преподносил жрице богатые подарки, свои же чувства к ней выражал следующим образом:

— Что это ты, Кама, сидишь в Бубасте и худеешь? Пока ты молода, тебе нравится служба при храме Ашторет, а постареешь — плохо тебе придется. Сорвут с тебя дорогие одежды, возьмут на твоё место молодую, а тебе, чтобы заработать хотя бы на горсть сушеного ячменя, придется идти в гадалки или в повитухи. А я, — продолжал Саргон, — если б за грехи родителей сотворили меня боги женщиной, предпочел бы уж лучше быть роженицей, нежели повивальной бабкой. Поэтому я, как человек, умудренный жизнью, говорю тебе: бросай ты свой храм и иди ко мне в наложницы. Отдам я за тебя десять золотых талантов, сорок коров и сто мер пшеницы — вот и довольно. Жрецы, конечно, будут сначала кричать, что этого мало и что боги их накажут, но я не прибавлю ни одной драхмы, разве что подброшу парочку овец. А тогда они отслужат торжественное молебствие, и божественная Ашторет за хорошую золотую цепь и бокал освободит тебя от всех обетов.

Кама, слушая эти речи, кусала губы, еле удерживаясь от смеха.

— А поедешь со мной в Ниневию, — продолжал он, — станешь знатной госпожой. Я подарю тебе дворец, лошадей, носилки, служанок и невольников. За один месяц выльешь на себя благовоний больше, чем вам жертвуют за весь год на богиню. А потом, кто знает, может быть, еще царю Ассару приглянешься и он захочет взять тебя в свой гарем! Тогда и ты будешь счастлива, и я получу обратно то, что на тебя истратил.

В день, назначенный Саргону для аудиенции, у двора наследника выстроились египетские войска и собрались толпы падкого до зрелищ народа.

Ассирийцы появились около полудня, в самый жестокий зной. Впереди шли полицейские, вооруженные мечами и дубинками, за ними несколько голых скороходов и трое всадников. Это были два горниста и глашатай. На каждом углу горнисты останавливались и трубили сигнал, после чего глашатай громко возглашал:

— Вот приближается Саргон, полномочный посол и родственник могущественного царя Ассара, господин обширных владений, победитель в битвах, повелитель многих провинций. Люди, воздайте ему должные почести, как другу его святейшества, владыки Египта!..

За горнистами ехало десятка два ассирийских всадников в остроконечных шапках, коротких куртках и плотно облегающих ноги штанах. Голова и грудь мохнатых, но выносливых коней были защищены медной броней, напоминавшей рыбью чешую.

Затем шла пехота в касках и длинных до земли плащах. Один отряд был вооружен тяжеловесными палицами, другой — луками, третий — копьями и щитами. Кроме того, у всех были мечи и латы.

За солдатами следовали лошади, колесницы, носилки Саргона и слуги в красной, белой и зеленой одежде. Потом показалось пять слонов с носилками на спине. На одном из них восседал Саргон, на другом — халдейский жрец Издубар.

Шествие замыкали пешие и конные солдаты и ассирийский оркестр из пронзительных труб, бубнов, медных тарелок и визгливых флейт.

Царевич Рамсес, окруженный жрецами, офицерами и знатью в богатых ярких одеждах, ожидал посла в большой зале для приемов, открытой со всех сторон. Царевич был хорошо настроен, зная, что ассирийцы несут с собой дары, которые египетский народ может принять за дань. Но, услышав во дворе зычный голос глашатая, восхваляющий могущество Саргона, Рамсес нахмурился. Когда же до него донеслись слова о том, что царь Ассар — друг фараона, он вознегодовал. Ноздри его раздулись, как у разъяренного быка, глаза засверкали гневом. Видя это, офицеры и знать тоже нахмурились, стали грозно сверкать глазами, сжимая эфесы мечей. Святой Ментесуфис заметил их недовольство и громко объявил:

— От имени фараона, повелеваю знати и офицерам встретить достойного Саргона с почетом, полагающимся послу великого царя.

Наместник сдвинул брови и нетерпеливо зашагал на возвышении, где стояло его наместническое кресло. Но привыкшие к дисциплине знать и офицеры притихли, зная, что с Ментесуфисом, помощником военного министра, шутки плохи.

Тем временем во дворе рослые, закутанные в тяжелые одежды ассирийские солдаты выстроились в три шеренги против полуголых проворных египетских воинов. Обе стороны смотрели друг на друга, как стая тигров на стаю носорогов. В душе у тех и у других тлела многовековая ненависть. Однако дисциплина брала верх над этим чувством.

Во двор грузно вошли слоны, рявкнули египетские и ассирийские трубы, солдаты подняли вверх оружие, народ пал ниц, ассирийские вельможи, Саргон и Издубар, спустились со своих носилок на землю.

В зале царевич Рамсес сел в стоявшее на возвышении кресло под балдахином. У входа появился глашатай.

— Достойнейший государь! — обратился он к наследнику. — Полномочный посол великого царя Ассара, светлейший Саргон, и его спутник, благочестивый пророк Издубар, желают приветствовать тебя и воздать почести тебе, наместнику и наследнику фараона — да живет он вечно!..

— Проси знатных вельмож войти и порадовать сердце мое своим прибытием, — ответил царевич.

Звеня оружием и доспехами, вошел в зал Саргон в длинной зеленой одежде, густо вышитой золотом. Рядом в белоснежном одеянии шествовал благочестивый Издубар; за ними знатные разодетые ассирийцы несли подарки наместнику.

Саргон подошел к помосту, на котором восседал наместник, и произнес на ассирийском языке речь, тотчас же повторенную переводчиком по-египетски:

— Я, Саргон, полководец, наместник и родственник могущественнейшего царя Ассара, явился, дабы приветствовать тебя, наместник могущественнейшего фараона, и в знак вечной дружбы принести тебе дары...

Наследник оперся ладонями на колени и сидел недвижимо, как статуи его царственных предков.

— Ты, наверно, плохо передал наместнику мое почтительное приветствие? — спросил Саргон у толмача.

Ментесуфис, стоявший у возвышения, наклонился к Рамсесу.

— Государь, — шепнул он, — достойный Саргон ожидает милостивого ответа...

— Так ответь ему, — сказал, весь вспыхнув, царевич, — что я не понимаю, по какому праву он говорит со мной, как равный с равным.

Ментесуфис смутился, что еще больше рассердило Рамсеса. У него дрогнули губы и засверкали глаза. Но халдей Издубар, понимавший по-египетски, поспешил шепнуть Саргону:

— Падем ниц!

— Почему это я должен падать ниц? — спросил с возмущением Саргон.

— Пади, если не хочешь лишиться милости нашего царя, а то и головы...

Сказав это, Издубар распростерся на полу во весь рост — и Саргон рядом с ним.

— Почему я должен лежать на брюхе перед этим молокососом? — ворчал он в негодовании.

— Потому что он наместник фараона, — отвечал Издубар.

— А я разве не наместник моего государя?

— Но он будет царем, а ты им не будешь.

— О чем спорят послы могущественного царя Ассара? — спросил у переводчика царевич Рамсес, удовлетворенный покорностью послов.

— Они обсуждают, должны ли показать царевичу дары, предназначенные для фараона, или только отдать присланные тебе, — ответил находчивый толмач.

— Я желаю видеть дары, предназначенные для моего божественного отца, — сказал наследник, — и разрешаю послам встать.

Саргон поднялся весь красный от злости или натуги и присел на полу, подобрал под себя ноги.

— Я не знал, — произнес он довольно громко, — что мне, родственнику и полномочному послу великого Ассара, придется своей одеждой вытирать пыль с пола египетского наместника!

Ментесуфис, понимавший по-ассирийски, не спрашивая Рамсеса, велел немедленно принести две скамьи, покрытые коврами, и запыхавшийся Саргон и невозмутимый Издубар сели.

Отдышавшись, Саргон велел подать большой стеклянный бокал, стальной меч и подвести к крыльцу двух коней в золоченой сбруе. Когда приказание его было исполнено, он встал и с поклоном обратился к Рамсесу:

— Господин мой, царь Ассар, шлет тебе, царевич, двух добрых коней с пожеланием, чтобы они несли тебя только к победам, шлет кубок, из которого пусть в твое сердце струится лишь радость, и меч, какого не найти нигде, кроме оружейной моего могущественнейшего повелителя.

Он извлек из ножен довольно длинный меч, блестящий, словно серебро, и стал сгибать его в руках. Меч согнулся, как лук, и сразу же выпрямился.

— Поистине чудесное оружие! — воскликнул Рамсес.

— Если разрешишь, наместник, я покажу тебе еще одно его достоинство, — сказал Саргон, забыв свой гнев, так как представился случай похвастать не знающим себе равного в те времена ассирийским оружием.

По его предложению один из египетских офицеров извлек из ножен свой бронзовый меч и поднял его, как для нападения. Саргон взмахнул своим стальным мечом и быстрым ударом рассек меч противника. По залу пронесся шепот изумления. На лице Рамсеса выступил яркий румянец.

«Этот чужеземец, — подумал наследник, — опередил меня на бое быков, хочет жениться на Каме и хвастает передо мной оружием, которое рубит наши мечи, как щепки».

И он почувствовал еще большую ненависть к царю Ассару, к ассирийцам вообще и к Саргону в особенности.

Тем не менее Рамсес постарался овладеть собою и со всей любезностью просил посла показать ему подарки, предназначенные для фараона.

Тотчас же были принесены огромные ящики из благовонного дерева, откуда высшие ассирийские сановники стали извлекать куски узорчатых тканей, кубки, кувшины, стальное оружие, луки из рогов козерога, золоченые латы и щиты, украшенные драгоценными камнями.

Но самым великолепным подарком была модель дворца царя Ассара, отлитая из серебра и золота. Дворец представлял собою здание в четыре яруса, один другого меньше; каждый ярус был обнесен колоннами и имел террасу вместо крыши. Все входы охранялись львами или крылатыми быками с человеческой головой. По обеим сторонам лестницы стояли статуи, изображавшие покоренных владык с дарами, а по обе стороны моста стояли изваяния коней в различных положениях. Саргон отодвинул одну стену модели, и взору присутствующих открылись богато убранные покои, наполненные бесценной мебелью и утварью. Особенное удивление вызвала зала для приемов с фигурками царя на высоком троне,

придворных, солдат и иноземных властителей, воздающих ему почести. Модель была высотой в один, а длиной в два человеческих роста. Говорили, что один этот дар ассирийского царя стоил сто пятьдесят талантов.

Ящики унесли, и наместник пригласил обоих послов и их свиту к парадному обеду, во время которого гости получили богатые подарки. Рамсес был так гостеприимен, что, когда Саргону понравилась одна из его женщин, подарил ее послу, — конечно, испросив ее согласия и разрешения матери. Царевич был любезен и щедр, однако не переставал хмуриться. На вопрос Тутмоса, как ему понравился дворец царя Ассара, Рамсес ответил:

— Для меня он был бы еще прекраснее в развалинах, среди пожарища Ниневии.

За пиршеством ассирийцы были очень воздержанны: несмотря на обилие вина, они пили мало и еще меньше того разговаривали; Саргон ни разу громко не рассмеялся, как это было обычно, и сидел с полузакрытыми глазами, занятый своими мыслями.

Только оба жреца — халдей Издубар и египтянин Ментесуфис — были спокойны, как люди, которым дано знание будущего и власть над ним.

11

После приема у наместника Саргон продолжал жить в Бубасте, ожидая письма фараона из Мемфиса. Тем временем среди офицеров и знати стали снова распространяться странные слухи. Финикияне рассказывали, под большим, конечно, секретом, что жрецы, неизвестно почему, не только простили ассирийцам невыплаченную дань, не только навсегда освободили их от нее, но даже, чтобы облегчить Ассирии войну с северным соседом, заключили на долгие годы мирный договор.

— Фараон, — говорили финикияне, — совсем расхворался, узнав об уступках, которые делаются варварам, а царевич Рамсес страшно огорчен, но и тот и другой вынуждены подчиниться жрецам, так как не уверены в преданности знати и армии.

Это больше всего возмущало египетскую аристократию.

— Как, — шептались между собой увязшие в долгах знатные египтяне, — династия нам уже не доверяет? Видно, жрецы решили во что бы то ни стало довести Египет до позора и разорения. Ведь если Ассирия ведет войну где-то на далеком севере, то как раз теперь и надо на нее напасть и с помощью завоеванной добычи пополнить обнищавшую царскую казну и поднять благосостояние аристократии.

Кое-кто из молодых людей осмеливался обратиться к наследнику с вопросом, что он думает об ассирийских варварах. Наследник молчал, но огонь в его глазах и стиснутые губы достаточно выражали его чувства.

— Ясно, — продолжали шептаться знатные господа, — что династия опутана жрецами, она не доверяет знати, и Египту угрожают великие бедствия...

Это глухое возмущение вскоре вылилось в тайные совещания, чуть ли не заговоры, и хотя в них принимало участие большое количество людей, самоуверенные или ослепленные жрецы не прислушивались к мнению придворных, а Саргон, замечавший эту ненависть, не придавал ей значения.

Он понимал, что Рамсес не любит его, но приписывал это случаю в цирке и особенно ревности. Уверенный в своей неприкосновенности в качестве посла, Саргон много пил, проводил время в пирушках и почти каждый вечер уходил к финикийской жрице, которая все милостивее принимала его ухаживания и подарки.

Таково было настроение высоких кругов, когда однажды ночью во дворец Рамсеса явился Ментесуфис и сказал, что ему необходимо немедленно видеть наследника.

Придворные ответили, что у царевича находится сейчас одна из его женщин и они не смеют его беспокоить. Но так как Ментесуфис продолжал настаивать, Рамсеса вызвали.

Наместник тотчас же вышел, даже не выказывая недовольства.

— Что случилось? — спросил он жреца. — Разве у нас война, что ты утруждаешь себя делами в столь поздний час?

Ментесуфис пристально посмотрел на Рамсеса и, вздохнув с облегчением, спросил:

— Ты никуда не уходил сегодня вечером?

— Ни на шаг.

— И я могу дать в этом слово жреца?

Наследник удивился.

— Мне думается, — ответил он гордо, — что твое слово излишне, раз я даю свое. Но в чем дело?

Они вышли в отдельный покой.

— Знаешь, государь, — сказал взволнованно жрец, — что случилось час назад? Какие-то молодые люди напали на Саргона и избили его палками.

— Кто такие? Где?

— У павильона финикийской жрицы Камы, — продолжал Ментесуфис, внимательно следя за выражением лица наследника.

— Вот смельчаки! — удивился Рамсес. — Напасть на такого силача! Он, должно быть, там не одного изувечил!

— Но покуситься на посла! На посла, охраняемого величием Ассирии и Египта! — вскричал жрец.

— Хо-хо! — рассмеялся царевич. — Так царь Ассар посылает своих послов даже к финикийским танцовщицам!..

Ментесуфис оторопел, но вдруг хлопнул себя по лбу и тоже расхохотался.

— Подумай только, царевич, как я недогадлив и до чего не искушен в политике. Ведь я и не сообразил, что Саргон, шатающийся ночью у дома подозрительной женщины, уже не посол, а частное лицо! Но как бы там ни было, — прибавил он, — вышло нехорошо. Саргон еще, пожалуй, на нас обидится.

— Жрец, жрец! — воскликнул царевич, качая головой. — Ты забываешь то, что гораздо важнее: Египту не подобает не только пугаться, но и вообще придавать какое-либо значение дружбе или неприязни Саргона и даже самого Ассара.

Ментесуфис был так смущен разумными замечаниями царственного юноши, что только кланялся и бормотал:

— Боги одарили тебя, царевич, мудростью верховных жрецов, — да будут благословенны их имена! Я уже хотел отдать приказ, чтобы этих молодчиков разыскали и судили, но лучше послушаюсь твоего совета, ибо ты мудрец из мудрецов. А теперь скажи, что делать с Саргоном и этими буйнами?

— Во-первых, отложить это до утра, — ответил Рамсес. — Ты как жрец должен знать, что сон, который посылают нам боги, приносит часто добрый совет.

— А если я и до завтра ничего не придумаю? — спрашивал жрец.

— Во всяком случае, я навещу Саргона и постараюсь изгладить из его памяти это пустяковое приключение, — ответил наместник.

Жрец почтительно простился с царевичем. Возвращаясь домой, он думал:

«Ручаюсь головой, что царевич к этому не причастен. Он и сам не бил и других не подстрекал. Видно, даже не знал об этом. Кто так хладнокровно и разумно судит о преступлении, тот не может быть его соучастником. А в таком случае надо начать следствие и, если этот лохматый варвар не успокоится, отдать озорников под суд. Вот тебе и договор о дружбе: начался с того, что оскорбили посла!»

На следующий день великолепный Саргон лежал до полудня на войлочной подстилке, что, впрочем, случалось с ним довольно часто, то есть после каждой попойки. Рядом с ним на низком диване сидел благочестивый Издубар и, воздев глаза к потолку, шептал молитву.

— Издубар, — сказал со вздохом вельможа. — Ты уверен, что никто из наших придворных не знает о происшествии со мной?

— Кто может знать, когда никто этого не видел?

— А египтяне? — простонал Саргон.

— Из египтян знают только Ментесуфис и наместник да те негодяи, которые, наверно, долго будут помнить твои кулаки.

— Да, пожалуй... Но мне кажется, что среди них был царевич, и нос у него разбит, если не сломан...

— Нос у наследника цел, его там не было, могу тебя уверить.

— В таком случае, — вздохнул Саргон, — царевичу следовало бы посадить зачинщиков на кол. Ведь особа посла священна... и неприкосновенна...

— А я говорю тебе, — отозвался жрец, — изгони злобу из сердца твоего и не жалуйся, а то, когда начнут судить этих негодяев, весь мир узнает, что посол царя Ассара водится с финикиянами и, что еще хуже, ходит к ним в гости по ночам, один. И, главное, что ты ответишь, когда твой смертельный враг канцлер Лик-Багуш спросит тебя: «Скажи-ка, Саргон, с какими это финикиянами ты встречался и о чем беседовал с ними среди ночи у их храма?..»

Саргон продолжал вздыхать, если можно назвать вздохами звуки, похожие на ворчание льва.

Вдруг в комнату вбежал ассирийский воин. Он преклонил колени, коснулся лбом пола и сказал Саргону:

— Свет очей нашего владыки! У крыльца остановилось множество сановников и вельмож, а с ними наследник фараона. Он хочет войти сюда, очевидно, чтобы оказать тебе почести.

Не успел Саргон отдать распоряжение, как в дверях показался царевич. Он оттолкнул рослого часового и быстрым шагом направился к Саргону, который так растерялся, что продолжал лежать на своей подстилке, не зная, что ему делать: бежать ли нагишом в другую комнату или залезть под войлок.

На пороге остановилось несколько ассирийцев-воинов, изумленных вторжением наследника вопреки всякому этикету. Но Издубар сделал им знак, и они исчезли.

Наследник был один. Свита осталась во дворе.

— Привет тебе, посол великого царя и гость фараона! — произнес Рамсес. — Я пришел узнать, не нуждаешься ли ты в чем-либо. Кроме того, если у тебя есть время и желание, я хочу предложить тебе проехаться по городу верхом на скакуне из конюшен моего отца — со мной, в сопровождении нашей свиты, как и подобает послу могущественного Ассара — да живет он вечно!

Саргон лежал и слушал, ни слова не понимая, но когда Издубар перевел ему речь царевича, он пришел в такой восторг, что стал биться головой об пол, повторяя: «Ассар и Рамсес! Ассар и Рамсес!» Успокоившись, он начал извиняться, что столь знатный гость застал его в таком плачевном виде.

— Не гневайся, господин мой, что я, презренный червь, лежащий у подножия твоего трона, таким странным образом выражаю радость по поводу твоего прибытия. Я рад вдвойне, ибо, во-первых, мне оказана неземная честь, а во-вторых, я в своем недостойном умишке заподозрил, что это ты, господин, был виновником моего вчерашнего злключения. Мне даже казалось, что я чувствовал на спине твою дубинку, которая работала лучше других.

Когда невозмутимый Издубар перевел это слово в слово царевичу, тот с истинно царским высокомерием ответил:

— Ты ошибся, Саргон, и если б ты сам не понял своей ошибки, я приказал бы тут же отсчитать тебе пятьдесят палок. Знай, что такие люди, как я, не нападают ночью, да еще целым скопом на одного человека.

Не успел святой Издубар перевести эти слова, как Саргон подполз к Рамсесу и, припав к его ногам, воскликнул:

— Великий господин, великий царь! Хвала Египту, что у него такой владыка!

— И еще заверяю тебя, — продолжал наследник, — что в этом нападении не участвовал никто из моих придворных. Я сужу по тому, что такой силач, как ты, должен был разбить не один череп, а они все невредимы.

— Верно сказано, — шепнул Саргон Издубару, — и умно.

— Но хотя, — продолжал наследник, — этот недостойный поступок совершен не по моей вине, все же я чувствую себя обязанным смягчить твою обиду на город, который так плохо тебя принял. Вот почему я навел на тебя в твоей опочивальне и почему дом мой будет открыт для тебя, когда только пожелаешь. А кроме того, прошу принять от меня этот маленький подарок.

С этими словами Рамсес протянул ему цепь, украшенную рубинами и сапфирами.

Страшный Саргон даже прослезился, что растрогало наследника, но не вывело из спокойствия Издубара. Жрец знал, что у Саргона, как посла мудрого царя, слезы, гнев и радость являются по первому же зову.

Наследник вскоре простился. Уходя, он подумал, что ассирийцы, хоть и варвары, все же неплохие люди, раз им понятны великодушные поступки. Саргон же был так возбужден, что велел принести вина и пил с полудня до самого вечера.

Уже после заката солнца жрец Издубар вышел из опочивальни посла и тотчас же вернулся через потайную дверь. За ним следовали два человека в темных плащах. Когда они откинули с лица капюшоны, Саргон узнал в одном верховного жреца Мефреса, в другом — пророка Ментесуфиса.

— Мы пришли к тебе, достойный посол, с доброй вестью, — сказал Мефрес.

— Рад был бы ответить вам тем же, — сказал Саргон. — Садитесь, достойные святые мужи. И, хотя глаза у меня красные, говорите со мной так, как если бы я был совсем трезвым, потому что я и пьяный не теряю разума, и даже наоборот. Правду я сказал, Издубар?

— Говорите, — поддержал его халдей.

— Сегодня, — начал Ментесуфис, — я получил письмо от досточтимого министра Херихора. Он пишет нам, что его святейшество фараон — да живет он вечно! — ожидает ваше посольство в своем великолепном дворце под Мемфисом и что его святейшество — да живет он вечно! — благорасположен заключить с вами договор.

Саргон все еще качался на своей войлочной постели, но глаза у него были почти трезвые.

— Я поеду, — сказал он, — к святейшему фараону — да живет он вечно! — и положу от имени моего владыки печать на договоре, но только пусть его напишут на камне клинописью... потому что вашего письма я не разбираю. Буду хоть целый день лежать на животе перед его святейшеством, — да живет он вечно! — а договор подпишу. Но как вы его выполните... ха-ха-ха!.. этого уж я не знаю... — заключил он с грубым смехом.

— Как смеешь ты, слуга великого Ассара, сомневаться в доброй воле и верности нашего владыки?.. — возмутился Ментесуфис.

Саргон мигом протрезвел.

— Я говорю не о святейшем фараоне, а о наследнике... — возразил он.

— Наследник — юноша, исполненный мудрости, и беспрекословно повинуетя воле отца и верховной коллегии жрецов, — сказал Мефрес.

— Ха-ха-ха!.. — снова расхохотался пьяный варвар. — Ваш царевич!.. Пусть у меня руки и ноги отсохнут, если я лгу, но я желал бы, чтобы у нас в Ассирии был такой наследник... Наш ассирийский царевич — это ученый, жрец... Он, пока соберется на войну, сначала пересчитает на небе звезды, а потом курам под хвост посмотрит... А ваш первым делом сосчитал бы, сколько у него войска, да разведал бы, где неприятель лагерем стоит, а потом и свалился бы ему на голову, как орел на барана. Вот это полководец, вот это царь!.. Он не из тех, что слушают советы жрецов. Он будет советоваться со своим мечом, а вам придется только исполнять его приказы... А потому хоть я и подпишу с вами договор, однако скажу своему господину, что за больным царем и мудрыми жрецами стоит юный наследник престола — лев и бык в одном лице. На устах у него мед, а в сердце громы и молнии.

— И это будет ложь! — возразил Ментесуфис. — Потому что наш царевич хоть и строптив и немного гуляка, как все молодые люди, однако умеет уважать и советы мудрецов, и высокие учреждения страны.

Саргон насмешливо покачал головой.

— Эх вы, мудрецы, грамотеи, звездочеты! Я человек неученый, простой военачальник, я без печати и имя свое не сумел бы на камне выдолбить, но, клянусь бородой моего повелителя, не поменялся бы с вами мудростью... Потому что вы живете в мире таблиц и папирусов, и для вас закрыт тот действительный мир, где все мы живем. Я невежда, но у меня собачий нюх. И как собака издалека чует медведя, так я своим красным носом чую настоящего полководца. Вы собираетесь давать царевичу советы? Да он уже сейчас зачаровал вас, словно змея голубя. А меня ему не обмануть, и хотя царевич добр ко мне, как родной отец, я сквозь свою толстую шкуру чувствую, что он меня и моих ассирийцев ненавидит, как тигр слона. Ха-ха!.. Дайте только ему армию, и не пройдет и трех

месяцев, как он очутится под Ниневией, лишь бы в пути солдаты у него не гибли, а рождались.

— Пусть ты даже и прав, — прервал его Ментесуфис, — пусть царевич хочет идти на Ниневию, — он не пойдет.

— А кто его удержит, когда он станет фараоном?

— Мы!

— Вы?.. вы!.. Ха-ха-ха!.. — снова расхохотался Саргон. — Так вы думаете, что этот юнец даже не догадывается о нашем договоре... А я... а я... ха-ха-ха!.. я дам с себя шкуру содрать и посадить себя на кол, что ему уже все известно. Неужели финикияне были бы так спокойны, если бы не знали, что египетский львенок защитит их от ассирийского быка?

Ментесуфис и Мефрес переглянулись украдкой. Их почти испугала пронизательность варвара, который смело высказывал то, чего они совсем не приняли в расчет. И в самом деле, что было бы, если бы наследник угадал их намерения и захотел спутать их планы?

Из минутного затруднения вывел их молчавший до сих пор Издубар.

— Саргон, — сказал он, — ты вмешиваешься не в свое дело. Ты обязан заключить с Египтом договор, согласный с волей нашего государя, а что знает или не знает и что сделает или не сделает египетский наследник — это тебя не касается. Раз вечно живущая верховная коллегия жрецов ручается в этом — договор будет выполнен. А как коллегия этого добьется — дело не наше.

Сухой тон, каким произнес это Издубар, смирил Саргона. Он покачал головой и пробормотал:

— В таком случае, жаль мальчика — он храбрый воин и великодушный государь.

12

После посещения Саргона святые мужи Мефрес и Ментесуфис, тщательно укрывшись бурнусами, в раздумье возвращались домой.

— Как знать, — сказал Ментесуфис, — пожалуй, этот пьяница Саргон прав, говоря так о нашем наследнике...

— Тогда Издубар еще более прав, — холодно ответил Мефрес.

— Не надо, однако, относиться к царевичу с предубеждением. Надо сперва порасспросить его, — продолжал Ментесуфис.

— Так ты и сделай это.

На следующий день оба жреца явились к наследнику и с таинственным видом предложили ему побеседовать с ними.

— А что? Опять случилось что-нибудь с почтеннейшим Саргоном? — спросил Рамсес.

— К сожалению, нас беспокоит не Саргон, — ответил верховный жрец Мефрес. — В народе ходят слухи, что ты, государь, поддерживаешь близкие отношения с неверными финикиянами.

Эти слова сразу же разъяснили царевичу цель посещения пророков, и все в нем закипело. Он понял, что это начало борьбы между ним и жреческой кастой, но, как подобает наследнику, мгновенно овладел собой и изобразил на лице наивное любопытство.

— А финикияне — опасный народ, это исконные враги нашего государства, — прибавил Мефрес.

Наследник улыбнулся.

— Если бы вы, святые отцы, — ответил он, — давали мне деньги взаймы и держали при храмах красивых девушек, я не разлучался бы с вами. А так мне волей-неволей надо дружить с финикиянами.

— Говорят, ты посещаешь по ночам эту финикийскую жрицу.

— Приходится до поры до времени, пока она не образумится и не переедет ко мне во дворец. Не беспокойтесь, однако: при мне мой меч, и если кто-нибудь станет мне поперек дороги...

— Но из-за этой финикиянки ты возненавидел ассирийского посла...

— Вовсе не из-за нее, а потому, что от посла несет бараньим жиром... Впрочем, к чему все эти разговоры? Ведь вам, святые отцы, не поручено наблюдать за моими женщинами. Думаю, что и Саргон обойдется без вас. Так что вам, собственно, нужно?

Мефрес до того смутился, что даже бритая голова его покраснела.

— Ты, конечно, прав, царевич, — ответил он, — что нам нет дела до твоих любовных похждений... Но... есть кое-что похуже: народ удивляется тому, что ты без труда получил взаймы от хитрого Хирама сто талантов, и даже без залога...

У царевича дрогнули губы, однако он сдержался.

— Не моя вина, — спокойно ответил он, — что Хирам больше доверяет моему слову, чем египетские богачи. Он знает, что я скорее откажусь от оружия, которое досталось мне от деда, чем не заплачу ему того, что должен... Как видно, не беспокоится он и о процентах, так как ничего не говорил мне про них. Я не хочу скрывать от вас, святые мужи, что финикияне щедрее и расторопнее египтян. Наш богач, прежде чем дать мне взаймы сто талантов, посмотрел бы на меня исподлобья, долго кряхтел бы, с месяц водил бы меня за нос и в конце концов взял бы огромный залог и большие проценты. А финикияне, которые лучше знают сердца наследников, дают нам деньги без судьи и свидетелей.

Мефрес был так раздражен спокойно-насмешливым тоном Рамсеса, что вдруг замолчал, поджав губы. Выручил его Ментесуфис, задав неожиданный вопрос:

— А что бы ты, царевич, сказал, если бы мы заключили с Ассирией договор, отдающий ей северную Азию вместе с Финикией?

Говоря это, он пристально смотрел в лицо наследника. Но Рамсес не растерялся:

— Я бы сказал, что только предатели могут уговаривать фараона подписать подобный договор.

Оба жреца заволновались. Мефрес поднял руку, Ментесуфис сжал кулаки.

— А если бы этого требовала безопасность государства? — не отступал Ментесуфис.

— Что вам, собственно, от меня нужно? — рассердился царевич. — Вы вмешиваетесь в мои дела, в мои отношения с женщинами, вы окружаете меня шпионами, вы осмеливаетесь читать мне наставления, а теперь еще задаете мне какие-то коварные вопросы? Так вот я вам говорю: даже если бы вы решили меня отравить — я не подписал бы такого договора! К счастью, это зависит не от меня, а от фараона, волю которого мы все должны исполнять.

— А что бы ты сделал, царевич, будучи фараоном?

— То, чего требовали бы честь и интересы государства.

— В этом я не сомневаюсь, — ответил Ментесуфис. — Но что ты считаешь интересами государства? Где нам искать на это указаний?

— А для чего существует верховная коллегия? — воскликнул наследник, теперь уже с притворным гневом. — Вы говорите, что она состоит из одних мудрецов? Так пусть они и берут на себя ответственность за договор, который я считаю позором и гибелью для Египта...

— А откуда ты знаешь, царевич, — спросил Ментесуфис, — что не так именно и поступил твой божественный родитель?

— Зачем же вы спрашиваете об этом меня? Что за допрос? Кто дал вам право заглядывать в тайники моего сердца?

Рамсес разыграл такое возмущение, что жрецы совсем успокоились.

— Ты говоришь, царевич, — ответил жрец, — как подобает настоящему египтянину. Нас тоже огорчил бы подобный договор, но ради безопасности государства приходится иногда на время покориться обстоятельствам.

— Какие же это обстоятельства? — спросил Рамсес. — Разве мы проиграли большое сражение, или у нас нет солдат?

— Гребцами корабля, на котором Египет плывет по реке вечности, являются боги, — ответил торжественным тоном верховный жрец, — а кормчим — всевышний господь всего сущего. Они нередко останавливают судно или поворачивают его в сторону, чтобы обогнуть опасные водовороты, которых мы даже не замечаем. В подобных случаях от нас требуются только терпение и

покорность, за которые рано или поздно нас ждет щедрая награда, превосходящая все, что может придумать смертный.

Наконец жрецы простились с царевичем, полные надежды, что хотя он и весьма недоволен договором, однако не нарушит его и на ближайшее время обеспечит Египту необходимый ему мир.

Когда они ушли, Рамсес позвал к себе Тутмоса.

Оставшись наедине со своим любимцем, наследник дал волю долго сдерживаемому возмущению. Он бросился на диван и, извиваясь, как змея, бил себя кулаками по голове и рыдал.

Перепуганный Тутмос ждал, когда пройдет этот припадок бешенства. Затем он подал царевичу воды с вином, окурил его успокаивающими благовониями, сел рядом и спросил о причине такого отчаяния.

— Садись сюда, — сказал Рамсес, не поднимаясь с дивана. — Сегодня я окончательно убедился в том, что наши жрецы заключили с ассирийцами какой-то позорный договор, — ответил, наконец, наследник, — без войны, даже без всяких с их стороны требований. Ты представляешь себе, сколько мы теряем?

— Дагон говорил мне, что Ассирия хочет захватить Финикию. Но финикиян сейчас это уже меньше беспокоит, так как царь Ассар ведет войну на северо-восточных границах. Там обитают многочисленные и очень воинственные народы, и неизвестно, чем кончится эта война. Во всяком случае, у финикиян будет несколько мирных лет, чтобы подготовиться к защите и найти союзников.

Царевич раздраженно махнул рукой.

— Вот видишь, — сказал он, — даже Финикия вооружается сама и, возможно, вооружит всех своих соседей. Мы же лишаемся не выплаченной нам Азией дани, которая составляет больше ста тысяч талантов. Ты слышал что-нибудь подобное?! Сто тысяч талантов! — повторил Рамсес. — О боги! Да ведь такая сумма сразу пополнила бы казну фараона. А если бы мы еще, выбрав подходящий момент, напали на Ассирию, то в одной Ниневии, в одном дворце Ассара нашли бы настоящие клады... Подумай только, сколько могли бы мы набрать пленников. Полмиллиона... Миллион... Миллион людей атлетической силы, таких диких, что рабство в Египте, самый тяжелый труд на каналах и в каменоломнях показался бы им игрушкой... Через несколько лет плодородие нашей земли повысилось бы, наш обнищавший народ и государство снова обрели бы былое могущество и богатство. А жрецы хотят лишить нас всего этого, дав взамен несколько серебряных досок и глиняных табличек, исчерченных клинообразными знаками, которых никто из нас даже не в состоянии прочесть.

Тутмос встал, внимательно осмотрел соседние комнаты, не подслушивает ли кто, потом опять подсел к Рамсесу и стал говорить шепотом:

— Не отчаивайся, государь. Насколько мне известно, вся аристократия, все номархи, все знатные воины слышали кое-что об этом договоре и возмущены.

Только скажи, и мы разобьем таблицы, на которых начертан этот договор, о голову Саргона, а то и самого Ассара.

— Но ведь это бунт против его святейшества, — тоже шепотом ответил наследник.

Лицо Тутмоса омрачилось.

— Мне не хотелось бы ранить твое сердце, — сказал он, — но... твой богоравный отец тяжело болен...

— Неправда!

— Увы, это так! Только не показывай вида, что ты это знаешь. Царь устал от жизни и жаждет уйти из нее. Но жрецы удерживают его, а тебя не зовут в Мемфис, чтобы без всяких помех подписать договор с Ассирией.

— Изменники! Изменники! — шептал в бешенстве Рамсес.

— Когда ты унаследуешь власть отца, — да живет он вечно! — тебе нетрудно будет расторгнуть договор.

Царевич задумался.

— Его легче подписать, — сказал он, — чем расторгнуть.

— Нетрудно и расторгнуть, — усмехнулся Тутмос. — Мало ли в Азии непокорных племен, которые всегда готовы напасть на нас? И разве божественный Нитагор не стоит на страже, чтобы отразить их и перенести войну на их земли? Неужели ты думаешь, что Египет не найдет людей и средств для войны? Мы все пойдем. Потому что каждый может извлечь из этого выгоду и так или иначе обеспечить свое будущее. Средства же найдутся в храмах. А Лабиринт!^[107]

— Кто их оттуда добудет? — заметил с сомнением царевич.

— Каждый номарх, каждый воин, каждый человек, принадлежащий к знати, сделает это, был бы только приказ фараона, а младшие жрецы покажут нам пути к тайникам, где хранятся сокровища...

— Они не решатся. Кара богов...

Тутмос пренебрежительно махнул рукой.

— Кто мы — мужики или пастухи, чтобы бояться богов, над которыми смеются и евреи, и финикияне, и греки и которых всякий наемный солдат безнаказанно оскорбляет? Это жрецы придумали сказки про богов, в которых они сами не верят. Ты же знаешь, что в храмах признают лишь единого бога, и жрецы, показывая всякие чудеса, втихомолку над ними смеются. Только крестьянин по-прежнему падает ниц перед идолами. Но уже работники сомневаются во всемогуществе Осириса, Гора и Сета, писцы обсчитывают богов, а жрецы пользуются ими как цепью и замком, охраняющими их богатство. Прошли уже те времена, — продолжал Тутмос, — когда Египет верил всему, что исходило из

храмов. А сейчас мы поносим финикийских богов, финикияне — наших, и как будто никакие громы и молнии нас не поражают!

Наместник пристально посмотрел на Тутмоса.

— Откуда у тебя такие мысли? — спросил он. — Ведь не так давно ты бледнел при одном упоминании о жрецах...

— Я был тогда один. Сейчас же, когда я узнал, что вся знать думает так же, — я стал смелее...

— А кто рассказал вам про договор с Ассирией?

— Дагон и другие финикияне, — ответил Тутмос. — Они даже предлагают, когда придет время, поднять против нас азиатские племена, чтобы наши войска имели предлог перейти границу, а когда мы ступим уже на путь к Ниневии, финикияне и их союзники присоединятся к нам. И у тебя будет армия, какой не было даже у Рамсеса Великого.

Царевичу не понравилась эта заботливость финикиян. Однако он только спросил:

— А что будет, если жрецы узнают про ваши разговоры? Наверно, ни один из вас не избежит смерти.

— Ничего они не узнают! — ответил Тутмос беспечно. — Они слишком полагаются на свое могущество, плохо оплачивают шпионов и восстановили против себя весь Египет. Аристократия, воины, писцы, работники, даже низшие жрецы ждут только сигнала, чтобы напасть на храмы, захватить сокровища и повергнуть их к подножию трона. А без своих несметных сокровищ святые мужи утратят всякую власть. Перестанут даже творить чудеса, потому что для этого тоже нужны золотые перстни.

Царевич перевел разговор на другие темы, потом отпустил Тутмоса и задумался.

Его очень радовали бы враждебные чувства знати к жрецам и воинственное настроение высших кругов, если бы это не было внезапной вспышкой, за которой он угадывал происки финикиян. Это заставляло Рамсеса быть осторожным. Он понимал, что в египетских делах лучше полагаться на жрецов, чем на дружбу финикиян.

Ему вспомнились, однако, слова отца, что финикияне способны на откровенность и верность, когда это им выгодно. Без сомнения, финикияне глубоко заинтересованы в том, чтобы не подпасть под владычество Ассирии, и в случае войны можно полагаться на них как на союзников, так как поражение египтян отразится прежде всего на Финикии. С другой стороны, Рамсес не допускал и мысли, чтобы жрецы, даже заключая такой позорный договор с Ассирией, решились на измену. Нет, это не изменники, а просто обленившиеся сановники. Им удобно поддерживать мир, они в мирное время приумножают свои богатства и расширяют свою власть. Они не желают войны, так как война усилит мощь фараона, а их самих заставит нести большие расходы.

И молодой царевич, несмотря на свою неопытность, понял, что ему надо быть осмотрительнее, не торопиться, никого не осуждать, но и никому не доверять чрезмерно. Он решил непременно начать со временем войну с Ассирией, но не потому, что этого желают знать и финикийцы, а потому, что Египту нужны богатства Ассирии и ассирийские рабы.

Но, решив начать войну в будущем, он хотел действовать разумно. А для этого понемногу примирить жреческую касту с мыслью о войне и лишь в случае сопротивления раздавить ее при помощи воинов и знати.

И как раз в тот момент, когда святые Мефрес и Ментесуфис подсмеивались над предсказаниями Саргона, что наследник не подчинится жрецам и заставит их смириться, — у Рамсеса уже был готов план подчинения жрецов, и он знал, какими располагает для этого средствами. Когда же надо начать борьбу и какими способами вести ее, должно было показать будущее.

«Время — лучший советчик», — подумал он.

Он был доволен и спокоен, как человек, после долгих колебаний понявший, что надо делать, и уверенный в своих силах. И чтобы освободиться от последних следов недавнего волнения, он отправился к Сарре.

Играя с сыном, он всегда забывал свои горести и приходил в хорошее настроение.

Войдя в павильон Сарры, Рамсес опять застал ее в слезах.

— Сарра! — воскликнул он. — Если б в груди твоей был заключен весь Нил, ты и его сумела бы выплакать.

— Больше не буду, — ответила она, но слезы еще обильнее потекли из ее глаз.

— Ну, что ты? Наверно, опять какая-нибудь колдунья напугала тебя рассказами о финикийках?

— Я боюсь не финикийок, а финикийн, — ответила Сарра. — О, ты не знаешь, господин, что это за подлые люди...

— Они сжигают детей? — рассмеялся наместник.

— А ты думаешь, нет? — спросила она.

— Басни! Я знаю от Хирама, что это басни.

— Хирам! — вскричала Сарра. — Хирам — злодей. Спроси моего отца, господин, он тебе расскажет, как Хирам заманивает на свои суда молодых девушек в далеких странах и, распустив паруса, увозит их для продажи. У нас была одна белокурая невольница, которую похитил Хирам. Она не находила себе места от тоски по родине и не могла даже рассказать, где находится ее страна. И умерла. Такой же негодяй и Дагон...

— Возможно, но какое нам до этого дело? — спросил царевич.

— Очень большое, — ответила Сарра. — Вот ты, господин, принимаешь сейчас советы финикийн, а между тем израильтяне узнали, что Финикия хочет вызвать

войну между Египтом и Ассирией. Говорят даже, что самые богатые финикийские купцы и ростовщики дали страшную клятву, что добьются этого.

— А зачем им война? — спросил царевич с притворным равнодушием.

— Зачем? — воскликнула Сарра. — Они будут и вам и ассирийцам доставлять оружие, товары и тайные сведения и за все это заставят себе втридорога платить. Будут грабить убитых и раненых и той и другой стороны. Будут скупать у ваших и ассирийских солдат награбленное имущество и пленников. Разве этого мало? Египет и Ассирия будут разорены, зато Финикия настроит новые кладовые и наполнит их награбленной добычей.

— От кого ты узнала такие умные вещи? — улыбнулся царевич.

— Разве я не слышу, как мой отец, наши родные и знакомые шепчутся об этом, боязливо оглядываясь, чтобы кто-нибудь не подслушал? Да, наконец, разве я не знаю финикийян? Перед тобой, господин, они лежат на животе, ты не видишь их лицемерных взглядов, а я не раз всматривалась в их глаза, зеленые от жадности или желтые от злости. О господин, берегись финикийян, как ядовитых змей!

Рамсес смотрел на Сарру и невольно сравнивал ее искреннюю любовь с расчетливостью финикийки, ее неясные порывы с коварной холодностью Камы.

«Верно! — подумал он. — Финикийяне — ядовитые гады. Но если Рамсес Великий пользовался на войне львом, то почему мне не воспользоваться против врагов Египта змеей?»

Но чем очевиднее было для него коварство Камы, тем он сильнее стремился к ней. Иногда душа героя жаждет опасности. Он простился с Саррой, и вдруг ему почему-то вспомнилось, что Саргон подозревал его в ночном нападении.

Внезапная догадка осенила царевича:

«Неужели это мой двойник устроил драку с послом? Кто же его на это подговорил? Финикийяне, что ли? Но если они хотели впутать мое имя в столь грязное дело, то права Сарра, что это негодяи и что мне надо их остерегаться».

В нем снова вспыхнуло возмущение, он хотел решить вопрос немедленно, и так как уже спускались сумерки, то, не заходя домой, он направился к Кама.

Его мало беспокоило, что его могут узнать, а на случай опасности у него был с собой меч.

В павильоне жрицы горел свет, но в сенях никого из прислуги не было.

«До сих пор, — подумал царевич, — Кама отпускала прислугу, когда ждала меня к себе. Сегодня она или предчувствует мой приход, или, может быть, принимает возлюбленного, более счастливого, чем я».

Он поднялся во второй этаж. Остановился у входа в спальню финикийки и быстро отдернул завесу. В комнате были Кама и Хирам; они о чем-то шептались.

— О, я пришел не вовремя! — проговорил, смеясь, наследник. — Что же, и вы, князь, ухаживаете за женщиной, которой под страхом смерти запрещено проявлять благосклонность к мужчинам?

Хирам и жрица вскочили с места.

— Видно, — сказал финикийнин, кланяясь, — какой-то добрый дух предупредил тебя, господин, что разговор идет о тебе.

— Вы готовите мне какой-нибудь сюрприз? — спросил наследник.

— Кто знает, может, и так, — ответила Кама, вызывающе глядя на него.

Но он холодно ответил:

— Как бы, однако, те, кто готовит мне сюрпризы, сами не угодили под секиру или в петлю. Это было бы для них большей неожиданностью, чем для меня их сюрпризы.

У Камы улыбка застыла на губах. Хирам побледнел и сказал почтительно:

— Чем заслужили мы гнев нашего господина и покровителя?

— Я хочу знать правду, — сказал царевич, садясь и грозно глядя на Хирама, — я хочу знать, кто устроил нападение на ассирийского посла и впутал в это дело человека, похожего на меня, как моя правая рука похожа на левую.

— Вот видишь, Кама, — обратился к финикийнке оторопевший Хирам, — я говорил, что чрезмерная близость к тебе этого негодяя может навлечь на нас большое несчастье. Так и случилось... И ждать долго не пришлось.

Кама упала к ногам царевича.

— Я все расскажу, — воскликнула она, — только изгони из сердца своего обиду против финикийян! Меня убей, меня посади в темницу, но не гневайся на них.

— Кто напал на Саргона?

— Грек Ликон, который поет у нас в храме, — ответила, не вставая с колен, финикийнка.

— А! Тот, что пел тогда под твоим окном? Это он так похож на меня?

Хирам склонил голову и приложил руку к сердцу.

— Мы щедро оплачивали этого человека, — сказал он, — за то, что он похож на тебя, господин... Мы думали, что его жалкая личность может пригодиться тебе на случай беды...

— И пригодилась!.. — перебил наследник. — Где он? Я хочу видеть этого прекрасного певца... это живое мое изображение...

Хирам развел руками.

— Убежал, негодяй... Но мы его найдем, — разве что он обратился в муху или земляного червя.

— А меня ты простишь, господин? — прошептала финикийка, положив руки на колени царевича.

— Женщине многое прощается, — ответил наследник.

— И вы не будете мне мстить? — боязливо спросила она Хирама.

— Финикия, — ответил старик неторопливо и внушительно, — простит самое большое преступление тому, кто обретет милость господина нашего Рамсеса — да живет он вечно! А что касается Ликона, — прибавил он, обращаясь к наследнику, — он будет в твоих руках, господин, живой или мертвый.

Сказав это, Хирам низко поклонился и вышел из комнаты, оставив жрицу с царевичем.

Кровь ударила Рамсесу в голову. Он обнял стоявшую перед ним на коленях Каму и шепнул:

— Ты слышала, что сказал достойный Хирам? Финикия простит тебе самое большое преступление! Вот человек, который действительно предан мне. А раз он так сказал, какая у тебя может быть отговорка?

Кама целовала его руки, шепча:

— Ты покорила меня... Я — твоя рабыня... Но сегодня оставь меня. Отнесись с почтением к дому, принадлежащему богине Ашторет.

— Так ты переедешь ко мне во дворец? — спросил царевич.

— О боги! Что ты сказал? С тех пор как солнце всходит и заходит, не случалось еще, чтобы жрица Ашторет... Но что делать? Финикия выказывает тебе, господин, столько преданности и любви, сколько не знал ни один из ее сынов...

— Значит... — прервал он ее, обнимая.

— Только не сегодня и не здесь... — просила она.

13

Узнав от Хирама, что финикийцы дарят ему жрицу, наследник хотел, чтобы она поскорее поселилась в его доме. Желал он этого не потому, что не мог без нее жить, — это привлекало его своей новизной.

Но Кама медлила с переездом, умоляя Рамсеса, чтобы он подождал, пока не уменьшится наплыв паломников, а главное, пока из Бубаста не уедут самые знатные из них. Ибо это может уменьшить доходы храма, а жрице его грозит опасностью.

— Наши мудрецы и сановники, — объясняла она Рамсесу, — простят мне измену, но чернь будет призывать на мою голову месть богов, а ты знаешь, господин, что у богов длинные руки.

— Как бы они их не потеряли, если попытаются залезть под мою кровлю, — ответил наследник.

Он, однако, не настаивал, так как внимание его было занято другим.

Ассирийские послы Саргон и Издубар выехали уже в Мемфис, чтобы подписать там договор. В то же время фараон предложил Рамсесу дать ему отчет о своей поездке.

Царевич приказал писцам подробно описать все происшедшее с момента, когда он покинул Мемфис, то есть осмотр мастерских и полей, беседы с работниками, номархами и чиновниками. Отвезти донесение он поручил Тутмосу.

— Пред лицом фараона, — сказал ему наследник, — ты будешь моим сердцем и устами. Когда досточтимый Херихор спросит тебя, что я думаю о причинах упадка Египта и его казны, ответь министру, чтобы он обратился к своему помощнику Пентуэру, и тот изложит ему мои взгляды таким способом, как он это сделал в храме божественной Хатор. Если же Херихор захочет знать мое мнение о договоре с Ассирией, ответь, что мой долг исполнять повеления нашего господина.

Тутмос кивал головой в знак того, что все понимает.

— Когда же, — продолжал наместник, — ты предстанешь пред лицом моего отца — да живет он вечно! — и будешь уверен, что вас никто не подслушивает, пади к ногам его и скажи: «Господин наш, так говорит сын и слуга твой, недостойный Рамсес, которому ты дал жизнь и власть. Причиной бедствий Египта является убыль плодородной земли, которую захватила пустыня, и убыль населения, которое умирает от непосильного труда и нищеты. Знай, однако, господин наш, что не меньший вред, чем мор и пустыни, приносят казне твои жрецы. Ибо не только храмы их переполнены золотом и драгоценностями, которыми можно было бы расплатиться со всеми долгами, но святым отцам и пророкам принадлежат и все лучшие поместья, самые трудолюбивые крестьяне и работники, и земли у них гораздо больше, чем у бога-фараона. Так говорит тебе сын и слуга твой Рамсес, у которого во все время путешествия глаза были открыты, как у рыбы, и уши чутки, как у осторожного осла».

Рамсес сделал небольшую паузу. Тутмос мысленно повторял его слова.

— Когда же, — продолжал наместник, — фараон спросит мое мнение об ассирийцах, пади ниц и ответь: «Твой слуга Рамсес осмеливается думать, что ассирийцы — рослые и сильные воины и оружие у них прекрасное, но видно, что они плохо обучены. Саргона сопровождали, очевидно, лучшие ассирийские войска: лучники, секироносцы, копьеносцы, но не видно было ни одной шестерки, которая маршировала бы ровно в одной шеренге. При этом мечи у них пристегнуты плохо, копья они носят неровно, секиры держат, словно плотники или мясники свои топоры. Одежда у них тяжелая, грубые сандалии натирают ноги, а щиты, хотя и крепкие, мало принесут им пользы, потому что сами воины неповоротливы».

— Ты прав, — сказал Тутмос, — и я это подметил и то же самое слышал от наших офицеров, которые утверждают, что такая ассирийская армия, какую они тут видели, будет сопротивляться хуже, чем дикие ливийские орды.

— Скажи еще, — продолжал Рамсес, — господину нашему, который дарует нам жизнь, что вся египетская знать и все воины возмущаются при одной мысли, что ассирийцы могут захватить Финикию. Ведь Финикия — это порт Египта, а финикияне — лучшие мореходы в нашем флоте. Да, скажи еще, что я слышал от финикиян (его святейшество, должно быть, знает это лучше меня), будто Ассирия сейчас слаба, ибо ведет войну на севере и востоке, в то время как против нее вся западная Азия. И если мы сейчас нападём на нее, то можем захватить большие богатства и множество рабов, которые помогут нашим крестьянам. В заключение, однако, скажешь, что отец мой мудростью превосходит всех, а потому я буду действовать так, как он мне повелит, только пусть не отдает Финикию в руки Ассара, иначе мы погибнем. Финикия — это бронзовая дверь к нашим сокровищницам, а где найдется человек, который отдаст вору свою дверь? Тутмос уехал в Мемфис в месяце паопи (июль — август).

Нил стал заметно прибывать, и наплыв азиатских паломников к храму Ашторет уменьшился. Местное население высыпало на поля, чтобы поскорее убрать виноград, лен и хлопок. В Бубасте стало тише, и сады, окружавшие храм Ашторет, почти совсем опустели.

В это время наследник, освободившись от государственных дел и развлечений, занялся судьбой Камы.

Действуя через Хирама, царевич пожертвовал храму Ашторет двенадцать золотых талантов, статуэтку богини, искусно изваянную из малахита, пятьдесят коров и сто пятьдесят мер пшеницы. Это был такой щедрый дар, что сам верховный жрец храма явился к наместнику, чтобы пасть перед ним ниц и отблагодарить за милость, которую, говорил он, вовеки не забудут народы, почитающие богиню Ашторет.

Рассчитавшись с храмом, наместник пригласил к себе начальника полиции Бубаста и беседовал с ним не меньше часа. И спустя несколько дней весь город был потрясен необычным событием.

Кама, жрица Ашторет, была похищена, увезена куда-то и исчезла, как песчинка в пустыне!..

Это небывалое событие произошло при следующих обстоятельствах.

Верховный жрец храма послал Каму в соседний город Сабни-Хетем, стоящий над озером Мензале, с жертвоприношениями для небольшого тамошнего храма Ашторет. Жрица отправилась туда в лодке ночью, спасаясь от летнего зноя, а также чтобы избежать любопытства местного населения и всяческих выражений почитания.

Под утро, когда четверо гребцов задремали от усталости, из прибрежных зарослей выплыло несколько челноков, в которых сидели греки и хетты; они окружили лодку Камы и похитили жрицу. Нападение было так неожиданно, что финикийские гребцы не успели оказать сопротивления. Жрице же, по-видимому, заткнули рот, так как она даже не крикнула.

Совершив это святотатство, хетты и греки скрылись в зарослях, намереваясь уйти потом в море. А чтобы обезопасить себя от погони, они опрокинули лодку, принадлежащую храму Ашторет.

В Бубасте поднялся переполох, все население только об этом и говорило. Указывали даже на виновников преступления. Одни подозревали ассирийца Саргона, обещавшего Каме взять ее в жены, если только она согласится покинуть храм и поехать с ним в Ниневию, другие — грека Ликона, служившего в храме Ашторет певцом и давно пылавшего страстью к Каме. Он был достаточно богат, чтобы нанять греческих бродяг, и только такой отъявленный безбожник не побоялся бы похитить жрицу.

Разумеется, в храме Ашторет немедленно был созван совет богатейших и благочестивейших прихожан. Совет решил прежде всего освободить Каму от обязанностей жрицы и снять с нее проклятие, которое угрожало жрице, нарушившей обет целомудрия.

Это было благочестивое и мудрое решение: если кто-то насильно похитил жрицу, то не за что было карать ее.

Несколько дней спустя верующим в храме Ашторет было объявлено под звуки рогов, что Кама умерла, и если кто-нибудь встретит женщину, похожую на нее, то не должен мстить ей или даже упрекать ее. Ведь жрица не по своей воле покинула богиню Ашторет, ее похитили злые люди, которые и будут наказаны.

В тот же день достойный Хирам посетил Рамсеса и преподнес ему в золотой шкатулке пергамент, снабженный множеством жреческих печатей и подписями знатнейших финикийцев.

Это было решение духовного суда Ашторет, освобождавшее Каму от обета и снимавшее с нее проклятие небес, если она отречется от сана жрицы.

С этим документом после заката солнца царевич направился к уединенному павильону в своем саду, открыл потайную дверь и поднялся в небольшую комнату во втором этаже.

При свете украшенного резьбой светильника, в котором горело благовонное масло, он увидел Каму.

— Наконец-то! — воскликнул он, отдавая ей золотую шкатулку. — Вот тебе все, чего ты хотела.

Финикийка была возбуждена, глаза ее горели. Она схватила шкатулку и, осмотрев ее, швырнула на пол.

— Ты думаешь, она золотая? Ручаюсь, что она не золотая, а только покрыта с обеих сторон позолотой!

— Так-то ты меня встречаешь? — сказал удивленный царевич.

— Я знаю своих соотечественников, — ответила она, — они подделывают не только золото, но и рубины, сапфиры...

— Кама! — перебил ее наследник. — Но в этой шкатулке твоя свобода.

— Очень нужна мне эта свобода! Я скучаю, и мне страшно. Сажу тут уже четыре дня, как в тюрьме...

— Тебе чего-нибудь не хватает?

— Мне не хватает света... воздуха... смеха... пения... людей... О мстительная богиня, как тяжело ты меня караешь!

Рамсес слушал, недоумевая. В этой злой, раздраженной женщине он не узнавал жрицу, которую видел в храме, девушку, овеванную страстной песней грека.

— Завтра, — сказал царевич, — ты можешь выйти в сад. А когда мы поедем в Мемфис, в Фивы, ты будешь веселиться, как никогда. Взгляни на меня — разве я не люблю тебя и разве не великая честь для женщины принадлежать мне?

— Да, — ответила она капризно, — но у тебя ведь было до меня четыре...

— Тебя я люблю больше всех!

— Если б ты любил меня больше всех, то сделал бы меня первой, поселил бы во дворце, который занимает эта... еврейка Сарра, и дал бы почетную охрану мне, а не ей. Там, перед статуей Ашторет, я была первой... Те, кто поклонялся богине, падая перед ней на колени, смотрели на меня... А здесь что? Солдаты бьют в барабаны, играют на флейтах, чиновники складывают руки на груди и склоняют головы перед домом еврейки...

— Перед моим первенцем, — перебил ее с раздражением Рамсес. — А он не еврей!

— Еврей! — крикнула Кама.

Рамсес вскочил.

— Ты с ума сошла! — сказал он, вдруг успокоившись. — Разве ты не знаешь, что мой сын не может быть евреем?..

— А я тебе говорю, что он еврей!.. — кричала она, стуча кулаком по столу. — Еврей, как его дед и братья его матери, и зовут его Исаак...

— Что ты сказала, финикиянка?.. Хочешь, чтобы я прогнал тебя?..

— Прогони меня, если я лгу, — продолжала Кама, — но если я сказала правду, прогони ту, еврейку, вместе с ее ублюдком, а дворец отдай мне. Я хочу, я заслуживаю того, чтобы быть первой в твоём доме. Она обманывает тебя... издевается над тобой... а я ради тебя отреклась от моей богини... и она может отомстить мне!..

— Докажи, и дворец будет твоим... Нет, это ложь. Сарра не пошла бы на такое преступление... Мой первородный сын!

— Исаак... Исаак! — кричала Кама. — Пойди к ней, и ты убедишься!

Рамсес, едва сознавая, что делает, бросился к павильону, где жила Сарра.

Не помня себя от гнева, он долго не мог попасть на дорогу, хотя ночь была светлая. Холодный воздух отрезвил его, и он почти спокойно вошел в дом Сарры.

Несмотря на поздний час, там еще не спали. Сарра сама стирала сыну пеленки, между тем как ее прислуга весело проводила время за накрытым столом.

Когда Рамсес, бледный от волнения, появился у входа, Сарра вскрикнула, но тут же опомнилась.

— Привет тебе, господин мой, — сказала она, вытирая мокрые руки и склоняясь к его ногам.

— Сарра! Как зовут твоего сына? — спросил Рамсес.

Женщина в ужасе схватилась за голову.

— Как зовут твоего сына? — повторил он.

— Ты ведь знаешь, господин, что его зовут Сети, — ответила она чуть слышно.

— Посмотри мне в глаза!

— О Яхве!

— Ага! Ты лжешь! Так я тебе скажу: моего сына, сына наследника египетского престола, зовут Исаак! И он — еврей! Подлый еврей!

— Господи! Господи! Пощади! — вскричала она, бросаясь к его ногам.

Рамсес не повышал голоса, но лицо его приняло серый оттенок.

— Говорили мне, — сказал он, — чтобы я не брал в свой дом еврейку... Меня выворачивало наизнанку, когда я видел, как всю усадьбу облепили евреи. Но я старался подавить свою неприязнь к твоим соплеменникам, потому что доверял тебе. А ты вместе со своими евреями украла у меня сына.

— Это жрецы повелели, чтобы он был евреем, — пролепетала Сарра, рыдая у ног Рамсеса.

— Жрецы? Какие?

— Досточтимые Херихор и Мефрес. Они говорили, что так нужно, потому что твой сын должен стать первым израильским царем.

— Жрецы? Мефрес? — повторил царевич. — Израильским царем? Ведь я говорил тебе, что сделаю его начальником моих стрелков или моим писцом. — Я говорил тебе это! А ты, несчастная, решила, что титул царя иудейского заманчивее этих высоких должностей. Мефрес... Херихор! Благодарение богам, что я раскрыл

наконец интриги этих высоких сановников. Теперь я знаю, какую судьбу они готовят моему сыну.

С минуту он что-то обдумывал, кусая губы, и вдруг громко крикнул:

— Эй! Слуги! Солдаты!

Мгновенно комната стала заполняться людьми. Вошли, плача, прислужницы Сарры, писец и управитель ее дома, потом рабы, наконец несколько солдат и офицеров.

— Смерть! — закричала Сарра душераздирающим голосом.

Она бросилась к колыбели, схватила сына и, забившись в угол комнаты, крикнула:

— Меня убейте... но его не дам!

Рамсес усмехнулся.

— Сотник, — обратился он к офицеру, — возьми эту женщину и ребенка и отведи в помещение, где живут мои рабы. Эта еврейка не будет больше госпожой. Она будет служанкой у той, которая займет ее место. А ты, — сказал он домоправителю, — не забудь прислать ее завтра утром омыть ноги своей госпоже, которая сейчас придет сюда. Если она откажется повиноваться, накажи ее палками. Отвести эту женщину к рабам!

Офицер и домоправитель подошли к Сарре, но остановились, не решаясь прикоснуться к ней. Но в этом и не было нужды. Сарра завернула в платок плачущего ребенка и вышла из комнаты, шепча:

— Бог Авраама, Исаака, Иакова, помилуй нас...

Она низко склонилась перед царевичем, из глаз ее лились тихие слезы. И еще из сеней Рамсес слышал ее нежный голос:

— Бог Авраама, Иса...

Когда все стихло, наместник обратился к офицеру и домоправителю:

— Пойдите с факелами к дому, стоящему среди смоковниц...

— Понимаю, — ответил управитель.

— И немедленно приведите сюда женщину, которая там живет...

— Исполню.

— Эта женщина будет отныне вашей госпожой и госпожой еврейки Сарры, которая каждое утро должна омыwać ей ноги, обливать ее водой и держать перед ней зеркало. Это — моя воля и приказание.

— Будет исполнено.

— А завтра утром доложить мне, покорна ли новая служанка.

Отдав эти распоряжения, наместник вернулся к себе во дворец. Всю ночь, однако, он не спал. В душе его разгорелось пламя мести.

Рамсес чувствовал, что, даже не повысив голоса, он сокрушил Сарру, несчастную еврейку, которая осмелилась обмануть его. Он наказал ее, как царь, который одним движением бровей низвергает человека с высоты в пучину рабства. Но Сарра была лишь орудием жрецов, а наследник был чересчур справедлив, чтобы, сломав орудие, простить тех, кто им пользовался.

То, что жрецы были недосыгаемы, лишь увеличивало его ярость. Царевич мог прогнать Сарру с ребенком среди ночи в дом для челяди, но не мог лишить Херихора его власти, а Мефреса — сана верховного жреца. Сарра упала к его ногам, как раздавленный червь, а Херихор и Мефрес, которые отняли у него его первенца, возносились над Египтом и — о, позор! — над ним самим, будущим фараоном, подобно пирамидам. И вот который уже раз за этот год вспомнились ему все обиды, какие претерпел он от жрецов. В школе его били палками так, что спина трещала, или морили голодом так, что, казалось, желудок прирастал к хребту. На прошлогодних маневрах Херихор нарушил весь его план, а потом, свалив вину на него же, лишил командования корпусом. Тот же Херихор навлек на него немилость фараона за то, что он взял в дом Сарру, и лишь тогда вернул ему почетное положение, когда он, смирившись, провел несколько месяцев в добровольном изгнании. Казалось бы, что, получив корпус и став наместником, Рамсес должен был избавиться от опеки жрецов. Но именно теперь они преследуют его с удвоенной энергией. Жрецы сделали его наместником — для чего? Чтобы удалить от фараона и заключить позорный договор с Ассирией. Когда он захотел получить сведения о состоянии государства, они заставили его как кающегося грешника отправиться в храм и там запугивали, морочили ложными чудесами и обманывали, давая совершенно неверные сведения. Потом стали вмешиваться в его личную жизнь, в отношения с женщинами, с финикиянами, следить за его долгами и, наконец, чтобы унижить и сделать смешным в глазах народа, отдали его первенца евреям.

Всякий египтянин, будь то крестьянин, раб или каторжник, имеет право сказать ему: «Я лучше тебя, потому что у меня нет сына еврея».

Чувствуя тяжесть оскорбления, Рамсес в то же время понимал, что не может сейчас отомстить за себя, и решил отложить это на будущее. В жреческой школе он научился владеть собой, при дворе научился сносить обиды и лицемерить, и это будет теперь его щитом и орудием в борьбе со жрецами... Пока он будет держать их в заблуждении, а когда наступит подходящий момент, так по ним ударит, что они уже не поднимутся.

На дворе стало светать. Наследник крепко заснул.

Когда он проснулся, первым человеком, попавшимся ему на глаза, был домоправитель Сарры. Рамсес спросил:

— Как ведет себя еврейка?

— Она омыла ноги своей госпоже, как ты приказал, господин наш, — ответил управитель.

— И была покорна?

— Она была исполнена смирения, но недостаточно проворно служила новой госпоже, и та ударила ее ногой в лицо.

Рамсес отшатнулся.

— А что же Сарра? — вскричал он.

— Упала наземь. Когда же новая госпожа велела ей уйти прочь, она вышла, тихонько плача.

Царевич стал шагать по комнате.

— А как она провела ночь?

— Новая госпожа?

— Нет. Я спрашиваю про Сарру.

— Как ты приказал, Сарра пошла с ребенком в дом для челяди. Там служанки из жалости уступили ей свежую циновку, но Сарра не легла спать, а просидела всю ночь с ребенком на коленях.

— А ребенок? — спросил наследник.

— Ребенок здоров. Сегодня утром, когда Сарра пошла служить новой госпоже, другие женщины выкупали его в теплой воде, а жена пастуха, у которой тоже грудной младенец, накормила его грудью.

— Нехорошо, — сказал Рамсес, — когда корова, вместо того чтобы кормить своего теленка, тащит плуг под ударами кнута. И хотя эта еврейка совершила большой проступок, я не хочу, чтобы страдало ее невинное дитя. Сарра больше не будет мыть ноги госпоже и не будет терпеть от нее побоев. Отведи ей в доме для челяди отдельную комнату, дай кое-какую утварь и прикажи кормить ее, как кормят женщину, которая недавно родила. И пусть она спокойно растит своего ребенка.

— Да живешь ты вечно, владыка наш! — ответил домоправитель и помчался выполнять приказ наместника.

Вся прислуга любила Сарру, тогда как злобную и крикливую Каму за несколько часов все успели возненавидеть.

14

Не много счастья принесла Рамсесу финикийская жрица. Когда он в первый раз пришел навестить ее в павильоне, где перед тем жила Сарра, он ожидал встретить благодарность, но Кама приняла его почти враждебно.

— Что же это, — воскликнула она, — не прошло и дня, как ты вернул негодной еврейке свою милость?

— Но ведь она продолжает жить в доме для челяди, — ответил царевич.

— Однако мой управитель сказал, что она не будет больше омывать мне ноги.

Наследник поморщился.

— Ты, как вижу, все еще недовольна? — сказал он.

— Я не успокоюсь, — вспыхнула она, — пока не проучу ее, пока, служа мне и стоя на коленях у моих ног, она не забудет, что была когда-то первой твоей женщиной и хозяйкой в этом доме. Пока мои слуги не перестанут смотреть на меня со страхом и недоверием, а на нее с жалостью.

Финикиянка все меньше нравилась Рамсесу.

— Кама, — сказал он, — послушай, что я тебе скажу. Если бы мой слуга ударил ногой суку, которая кормит своего щенка, я бы его прогнал... А ты ударила ногой в лицо женщину и мать. В Египте имя матери священо, и добрый египтянин больше всего на свете почитает богов, фараона и Мать.

— О, горе мне!.. — воскликнула Кама, бросаясь на лодке. — Вот возмездие за то, что я отреклась от своей богини. Только неделю назад к ногам моим бросали цветы и воскуряли передо мной благовония, а сейчас...

Царевич молча вышел из комнаты и вернулся лишь через несколько дней. Но опять застал Каму в плохом настроении.

— Умоляю тебя, господин, — завопила она, — прояви немного больше заботы обо мне! Ведь слуги уже меня не слушаются, солдаты смотрят исподлобья, и я боюсь, чтобы на кухне кто-нибудь не подсыпал мне яду в кушанье.

— Я был занят военными учениями, — ответил царевич, — и не мог прийти к тебе.

— Неправда, — сердито ответила Кама, — вчера ты был под моим балконом, а потом пошел в дом для челяди, где живет эта еврейка. Ты хотел, чтобы я это видела.

— Довольно! — оборвал ее наследник. — Я не был ни под твоим балконом, ни у дома для челяди. А если тебе показалось, будто ты видела меня, то это значит, что этот негодный грек, твой возлюбленный, не только не покинул Египта, но даже осмеливается слоняться по моему саду.

Финикиянка слушала в ужасе.

— О Ашторет! — вскричала она. — Спаси... О земля, сокрой меня! Если Ликон вернулся, то мне грозит большое несчастье...

Царевич рассмеялся, но ему надоело слушать ее вопли.

— Не беспокойся, — сказал он, уходя, — и не удивляйся, если на днях твоего Ликона приведут к тебе, как пойманного шакала. Мое терпение иссякло.

Вернувшись во дворец, Рамсес вызвал Хирама и начальника полиции. Он рассказал им, что грек Ликон, похожий на него лицом, бродит вокруг дворца, и приказал поймать его. Хирам поклялся, что раз финикийцы будут действовать заодно с полицией, грек не уйдет от них. Начальник полиции, однако, покачал головой.

— Ты сомневаешься? — спросил его Рамсес.

— Да, господин. В Бубасте живет очень много набожных азиатов, по мнению которых жрица, покинувшая алтарь, заслуживает смерти. И если этот грек взялся убить Каму, они будут помогать ему, скроют его и облегчат ему побег.

— А ты что скажешь, князь? — обратился наследник к Хираму.

— Достойный начальник полиции дал мудрый ответ, — ответил старик.

— Но ведь вы освободили ее от обета! — воскликнул Рамсес, обращаясь к Хираму.

— За финикийцев, — ответил Хирам, — я могу поручиться. Они не тронут Каму и будут преследовать грека. Но что сделать с другими поклонниками богини Ашторет?..

— Я надеюсь, — заметил начальник полиции, — что пока этой женщине ничто не угрожает. И если б у нее хватило смелости, мы могли бы с ее помощью заманить грека и поймать его здесь в каком-нибудь из дворцов.

— Пойди к ней, — сказал наследник, — и изложи придуманный тобою план. И если ты поймаешь негодяя, я дам тебе в награду десять талантов.

Когда наследник простился с ними, Хирам обратился к начальнику полиции:

— Начальник, я знаю, ты изучил оба способа письма и тебе не чужда жреческая премудрость. Когда ты хочешь, ты слышишь сквозь стены и видишь в темноте. Поэтому тебе известны мысли и мужика, черпающего воду из колодца, и ремесленника, торгующего сандалиями, и важного господина, чувствующего себя в не меньшей безопасности под охраной своих слуг, чем ребенок в утробе матери.

— Ты не ошибся, — ответил чиновник, — боги действительно наградили меня даром прозорливости.

— Так вот, — продолжал Хирам, — благодаря своим сверхъестественным способностям ты, наверно, уже догадался, что за поимку этого негодяя, осмеливающегося вводить всех в заблуждение своим внешним сходством с наследником престола, нашим господином, храм Ашторет уплатит тебе двадцать талантов. Кроме того, храм добавит тебе десять талантов, если слух об этом сходстве не распространится по Египту, ибо непристойно, чтобы простой смертный напоминал своим обликом существо божественного происхождения. Пусть же то, что ты слышал о Ликоне и о всех наших розысках безбожника, останется между нами.

— Понимаю, — ответил чиновник, — и может случиться, что такой преступник умрет, прежде чем мы отдадим его под суд.

— Ты меня понял, — сказал Хирам, пожимая ему руку. — Всякое содействие, какого ты потребуешь от финикиян, будет тебе оказано.

Они расстались, как два приятеля, охотящиеся на крупного зверя и знающие, что не важно, чей дротик попадет в цель, лишь бы добыча не ушла из их рук.

Через несколько дней Рамсес опять навестил Каму и нашел ее почти в состоянии помешательства. Она пряталась в самой маленькой комнате своего дворца, голодная, непричесанная, и отдавала прислуге самые противоречивые распоряжения. То приказывала всем собраться, то гнала их прочь от себя. Ночью звала к себе караульных и тотчас же убегала от них на чердак, крича, что ее хотят извести.

Все это убило в душе Рамсеса любовь к ней — осталось только чувство тревоги. И сейчас, когда домоправитель Камы рассказал ему об этих причудах, он схватился за голову и растерянно прошептал:

— Плохо я сделал, отняв эту женщину у ее богини. Только богиня могла терпеливо сносить ее капризы.

Все же он зашел к Каме и нашел ее исхудалой, растрепанной, дрожащей.

— Горе мне! — вскричала она. — Я живу, окруженная врагами. Моя прислужница хочет отравить меня, а парикмахерша — навести на меня порчу. Солдаты ждут только случая вонзить мне в грудь копье или меч, и я боюсь, что в кухне мне готовят колдовские снадобья. Все хотят моей смерти.

— Кама! — остановил ее царевич.

— Не называй меня так, — прошептала она с ужасом, — это принесет мне несчастье.

— Откуда у тебя такие мысли?

— Откуда? Ты думаешь, я не вижу, что днем у стен дворца бродят чужие люди и скрываются, прежде чем я успею позвать прислугу? А ночью, думаешь, я не слышу, как шепчутся за стеной?

— Тебе кажется.

— Проклятые! Проклятые! — крикнула она, заливаясь слезами. — Вы все говорите, что это мне кажется. А вот третьего дня чья-то преступная рука подбросила мне в спальню покрывало, которое я носила полдня, пока не увидела, что это не мое. У меня никогда не было такого.

— Где же это покрывало? — спросил наследник уже с тревогой.

— Я сожгла его, но сперва показала моим служанкам.

— Ну, а если это даже и не твое? С тобой ведь ничего не случилось?

— Пока ничего. Но если бы я продержала эту тряпку еще несколько дней в доме, я бы, наверно, отравилась или заразилась неизлечимой болезнью. Я знаю, на что способны азиаты.

Рамсес, утомленный и раздраженный, поспешил уйти от нее, несмотря на все ее мольбы. Когда же он спросил у прислужницы, та подтвердила, что это было чье-то чужое покрывало, неизвестно кем подброшенное.

Наследник велел удвоить караулы во дворце и вокруг дворца и, расстроенный, возвратился к себе.

«Никогда бы я не поверил, — думал он, — что одна слабая женщина может вызвать такое смятение. Четыре только что пойманные гиены причинят меньше беспокойства, чем эта финикиянка».

Дома он застал Тутмоса, только что приехавшего из Мемфиса и едва успевшего принять ванну и переодеться после путешествия.

— Ну, что ты мне скажешь? — спросил Рамсес своего любимца, заметив по его лицу, что он привез дурные вести. — Видел ли ты его святейшество?

— Я видел лучезарного бога Египта, — ответил Тутмос, скрестив руки на груди и склонив голову. — И вот что он мне сказал: «Тридцать четыре года вез я тяжелую колесницу Египта и так устал, что мне захотелось уйти к моим великим предкам, пребывающим в стране мертвых. Вскоре я покину эту землю, и тогда сын мой Рамсес воссядет на трон и будет править государством так, как ему подскажет мудрость».

— Так сказал мой святейший отец?

— Это его слова, и я повторяю их в точности, — ответил Тутмос. — Несколько раз государь говорил мне, что не оставляет тебе никаких распоряжений на будущее, дабы ты мог управлять Египтом, как сам пожелаешь.

— О святой! Неужели его болезнь действительно так опасна? Почему он не позволяет мне вернуться к нему? — спросил царевич с огорчением.

— Ты должен быть здесь, ибо здесь ты можешь понадобиться.

— А договор с Ассирией? — спросил наследник.

— Он заключен в том смысле, что Ассирия может без помех с нашей стороны вести войну на востоке и севере. Вопрос же о Финикии останется открытым, пока ты не взойдешь на престол.

— О благословенный! О святой владыка! От какого ужасного наследия ты избавил меня!

— Так вот, вопрос о Финикии остается открытым, — продолжал Тутмос, — но вместе с тем фараон, желая доказать Ассирии, что не помешает ей воевать с северными народами, приказал сократить нашу армию на двадцать тысяч наемных солдат.

— Что ты сказал?! — воскликнул с изумлением наследник.

Тутмос огорченно покачал головой.

— К сожалению, это верно, — сказал он. — Уже успели распустить четыре ливийских полка.

— Но ведь это безумие! — закричал наследник, ломая руки. — Зачем мы так ослабляем себя? И куда денутся эти люди?

— Они ушли в Ливийскую пустыню и либо станут нападать на ливийцев, что доставит нам много хлопот, либо соединятся с ними и вместе вторгнутся в наши западные земли.

— Я ничего об этом не знал! Что они наделали! И когда? Никаких слухов до нас не доходило!

— Распущенные наемники ушли в пустыню прямо из Мемфиса, но Херихор запретил говорить об этом кому бы то ни было.

— Так Мефрес и Ментесуфис тоже не знают? — спросил наместник.

— Они знают.

— Они знают, а я ничего не знаю!

Наследник внезапно успокоился, но побледнел, и его юное лицо исказилось ненавистью. Он схватил своего наперсника за руки и, крепко сжимая их, шептал:

— Слушай! Клянусь тебе священными головами моего отца и моей матери... Клянусь памятью Рамсеса Великого... Клянусь всеми богами, какие существуют, что, когда я начну править, жрецы или склонятся перед моей волей, или я раздавлю их!

Тутмос слушал в ужасе.

— Я — или они! — закончил царевич. — В Египте не может быть двух господ!

— И всегда был только один — фараон, — добавил наперсник царевича.

— А ты останешься мне верен?

— Я, вся знать, армия — клянусь тебе.

— Хорошо, — сказал наследник, — пусть распускают наемные полки, пусть подписывают договоры, пусть прячутся от меня, как летучие мыши, и пусть обманывают. Но настанет время... А пока, Тутмос, отдохни с дороги и приходи ко мне вечером на пир. Эти люди так опутали меня, что я могу только развлекаться. Ну что ж, будем развлекаться. Но когда-нибудь я покажу им, кто повелитель Египта: они или я!

С этого дня пиры возобновились. Наследник, словно стыдясь своих войск, не производил с ними учений. Дворец кишел знатью, офицерами, придворными фокусниками и певицами, по ночам происходили пьяные оргии, где звуки арф заглушались пьяными криками пирующих и истерическим смехом женщин.

На одну из таких пирушек Рамсес пригласил Каму, но она отказалась. Наследник обиделся. Заметив это, Тутмос спросил Рамсеса:

— Правда ли, что Сарра лишилась твоей милости?

— Не напоминай мне об этой еврейке, — ответил наследник. — Тебе известно, что она сделала с моим сыном?

— Известно, — ответил Тутмос, — только мне кажется, что она не виновата. Я слышал в Мемфисе, что твоя досточтимейшая мать, царица Никотриса, и достойнейший министр Херихор хотели сделать твоего сына царем израильским.

— Но ведь у израильтян нет царя! Есть только священники и судьи, — возразил наследник.

— У них нет, но они хотят его — им тоже надоела эта власть жрецов.

Наследник презрительно махнул рукой.

— Возничий фараона, — ответил он, — больше значит, чем любой из этих царьков, а тем более израильский, которого не существует.

— Во всяком случае, вина Сарры не так уж велика, — заметил Тутмос.

— Ну так знай же — когда-нибудь я расквитаюсь и с жрецами.

— В данном случае они тоже не очень виноваты. Досточтимый Херихор поступил так, желая возвеличить славу и могущество твоей династии, и действовал он с ведома царицы Никотрисы.

— А Мефрес зачем вмешивается в мою жизнь? Его дело охранять святыни, а не заниматься судьбой моего потомства.

— Мефрес — старик и начинает уже впадать в детство. Весь двор фараона посмеивается сейчас над его причудами, о которых я сам, впрочем, ничего не знаю, хотя почти каждый день встречался и продолжаю встречаться с этим святым мужем.

— Это интересно. Что же он делает?

— Несколько раз в день, — ответил Тутмос, — он совершает торжественные богослужения в самой укромной части храма и велит своим жрецам наблюдать, не поднимают ли его боги на воздух во время молитвы.

Рамсес расхохотался.

— И это происходит здесь, в Бубасте, у всех на глазах, а я ничего не знаю.

— Это жреческая тайна...

— Тайна, о которой в Мемфисе все говорят! Ха-ха-ха! В цирке я видел халдейского фокусника, который поднимался на воздух.

— И я видел, — заметил Тутмос, — но то был фокус, а Мефрес действительно хочет воспарить над землей на крыльях своего благочестия.

— Неслыханное шутовство! — сказал царевич. — А что говорят по этому поводу другие жрецы?

— В наших священных папирусах есть указания, что в былые времена у нас бывали пророки, обладавшие способностью подниматься в воздух. Поэтому попытки Мефреса не удивляют жрецов. А так как в Египте, как тебе известно, подчиненные верят в то, что угодно начальству, то некоторые святые мужи утверждают, будто Мефрес действительно чуть-чуть поднимается над землей, когда молится.

— Ха-ха-ха! И этой великой тайной развлекается весь двор, а мы, как мужики или землекопы, даже не догадываемся о чудесах, которые совершаются перед нами. Как жалок удел наследника египетского престола! — смеялся Рамсес.

После вторичной просьбы Тутмоса, успокоившись, он отдал распоряжение перевести Сарру с ребенком из дома для челяди в павильон, где первые дни жила Кама.

Прислуга наследника с восторгом встретила это распоряжение своего господина; все прислужницы, рабы и даже писцы провожали Сарру до нового ее жилища с музыкой и кликами радости.

Финикиянка, услышав шум, спросила, что случилось. Когда ей рассказали, что Сарре возвращена милость наследника и что из дома рабынь она снова переехала во дворец, жрица пришла в бешенство и велела позвать к себе Рамсеса.

Он явился.

— Так вот ты как поступаешь со мной! — воскликнула Кама, совершенно не владея собой. — Как же так! Ты обещал мне, что я буду первой женщиной в твоём дворце, но не успела луна обежать и половины неба, как ты изменил своему слову, — может быть, ты думаешь, что Ашторет мстит только жрицам и щадит сыновей фараона?

— Скажи своей Ашторет, — спокойно ответил Рамсес, — чтобы она никогда не угрожала царским сыновьям, не то она тоже попадет в дом для челяди.

— Я понимаю! — кричала Кама. — Ты отправишь меня туда, а может быть, даже в тюрьму, а сам будешь проводить ночи у своей еврейки. Вот как платишь ты мне за то, что я ради тебя отреклась от богов и несу на себе их проклятье... за то, что я не имею ни минуты покоя, что я сгубила свою молодость, жизнь и даже душу!..

Царевич признался в душе, что Кама многим пожертвовала ради него. В нем проснулось раскаяние.

— У Сарры я не был и не пойду к ней, — ответил он. — Напрасно ты возмущаешься. Несчастную женщину устроили поудобнее, чтобы она могла спокойно выкормить своего ребенка.

Финикиянка вся затряслась и подняла кверху сжатые кулаки, волосы у нее встали дыбом, а в глазах вспыхнул огонь ненависти.

— Вот как ты отвечаешь мне?.. Еврейка несчастна, потому что ты прогнал ее из дворца, а я должна быть довольна, хотя боги изгнали меня из своего святилища. А моя душа... душа жрицы, утопающей в слезах и полной страха, разве не значит для тебя больше, чем это еврейское отродье, этот ребенок! Чтоб он сгинул! Нет такой беды, которую я не призывала бы на его голову.

— Замолчи! — крикнул Рамсес, зажав ей рот.

Она отпрянула в испуге.

— И я даже не могу пожаловаться на свое горе!.. А если ты так заботишься о своем ребенке, то зачем же ты похитил меня из храма, зачем обещал, что я буду твоей первой женщиной?.. Берегись же, — снова закричала она, — чтобы Египет, узнав о моей судьбе, не назвал тебя вероломным!

Наследник качал головой и усмехался. Наконец он сел и сказал:

— Действительно, мой учитель был прав, когда предостерегал меня от женщин. Вы словно спелый персик перед глазами человека, у которого высох язык от жажды. Но только с виду... Ибо горе глупцу, который раскусит этот красивый плод: вместо освежающей сладости он найдет внутри гнездо ос, которые изранят ему не только рот, но и сердце.

— Еще упреки!.. Даже от этого не можешь избавить меня!.. И я пожертвовала для тебя достоинством жрицы и своим целомудрием!

Наследник продолжал насмешливо качать головой.

— Я никогда не думал, — сказал он наконец, — что оправдается сказка, которую перед сном рассказывают крестьяне. Но сейчас убеждаюсь, что в ней все правда. Послушай-ка ее, Кама, и, может быть, ты опомнишься и не захочешь окончательно потерять мое расположение.

— Стану я слушать еще какие-то сказки. Я уже одну слыхала от тебя... и вот что из этого вышло...

— Но эта, несомненно, пойдет тебе на пользу, если ты только захочешь ее понять.

— А будет в ней что-нибудь о еврейских детях?

— Там есть и о жрицах, только слушай повнимательней! «Дело было давно, здесь же, в Бубасте. Однажды некий князь Сатни увидел на площади перед храмом Птаха очень красивую женщину. Никогда еще он такой красавицы не встречал, а главное, было на ней много золота. Князю женщина эта страшно понравилась, и, когда он узнал, что она дочь верховного жреца в Бубасте, он послал ей со своим конюшим такое предложение: „Я подарю тебе десять золотых перстней, если согласишься провести со мной часочек“.

Конюший отправился к прекрасной Тбубуи[108] и передал ей слова князя Сатни. Она выслушала его благосклонно и, как подобает хорошо воспитанной девице, ответила:

— Я — дочь верховного жреца и невинная девушка, а не какая-нибудь девка. И если князь желает со мной познакомиться, пусть приходит ко мне в дом, где все будет приготовлено и наше знакомство не даст повода к пересудам всем соседним кумушкам.

Тогда князь Сатни пошел к девице Тбубуи и поднялся к ней в верхние покои. Стены их были выложены плитками из ляпис-лазури и бледно-зеленой эмали. Там было множество диванов, покрытых дорогим полотном, и несколько круглых столиков, заставленных золотыми бокалами. Один из бокалов был наполнен вином и подан князю. Тбубуи при этом сказала:

— Выпей, прошу тебя!

— Ведь ты знаешь, что я пришел не для того, чтобы пить вино.

Однако они сели за пиршественный стол. На Тбубуи была длинная одежда из плотной ткани, застегнутая до самой шеи. И когда князь захотел ее поцеловать, она отстранила его и сказала:

— Дом этот будет твоим. Но не забывай, что я добродетельная девушка; если хочешь, чтобы я тебе покорилась, поклянись, что будешь мне верен, и завещаешь мне твое имущество.

— Тогда прикажи позвать сюда писца! — воскликнул князь.

И когда писец явился, Сатни велел ему составить брачное свидетельство и дарственную, по которой все его деньги, движимое имущество и земельные угодья переходили к Тбубуи.

Некоторое время спустя слуги доложили князю, что внизу ждут его дети. Тбубуи тотчас же вышла и вернулась в платье из прозрачного газа. Сатни снова хотел ее обнять, но она отстранила его и сказала:

— Дом этот будет твоим! Но так как я не какая-нибудь негодница, а добродетельная девица, то если ты хочешь, чтобы я принадлежала тебе, пусть дети твои подпишут отказ от твоего имущества, чтобы потом они не судились с моими детьми.

Сатни позвал своих детей наверх и велел им подписать акт отказа от имущества, что они и сделали. Но когда он снова хотел приблизиться к Тбубуи, она не допустила его к себе.

— Этот дом будет твоим, — сказала она. — Но я не какая-нибудь распутница, я — целомудренная девица, и если ты любишь меня, вели убить твоих детей, чтобы они потом не оттягали у моих детей твое имущество...»

— Какая длинная история! — нетерпеливо прервала его Кама.

— Сейчас кончится, — ответил наследник. — И знаешь, Кама, что ответил Сатни?

— Если ты этого требуешь, пусть свершится злодеяние.

Тбубуи не надо было два раза повторять это. Она велела зарубить детей на глазах отца и бросила их рассеченные на части тела в окно собакам и кошкам. И только тогда Сатни вошел в ее покой и возлег на ее лодке из черного дерева, украшенное слоновой костью».[109]

— И хорошо делала Тбубуи, что не верила обещаниям мужчин! — взволнованно воскликнула финикиянка.

— Но Сатни сделал еще лучше: он проснулся... и увидел, что это страшное преступление было сном... И ты, Кама, запомни, что вернейшее средство пробудить мужчину от любовного опьянения — это послать проклятия на голову его сына.

— Будь покоен, господин мой! Я больше никогда не скажу ни слова ни о своих огорчениях, ни о твоём сыне, — печально ответила Кама.

— А я буду с тобой ласков, и ты будешь счастлива, — закончил Рамсес.

15

Грозные слухи о ливийских наемниках стали распространяться и среди населения Бубаста. Рассказывали, что распущенные жрецами солдаты, возвращаясь на родину, сперва просили милостыню, потом занялись воровством и, наконец, стали грабить и жечь египетские деревни и убивать жителей. В течение нескольких дней подверглись нападению и разрушению города Хененсу, Пи-Мат и Каза[110], расположенные к югу от Меридова озера. Погиб и караван купцов и паломников, возвращавшихся из оазиса Уит-Мехе[111]. Вся западная граница находилась в опасности, и даже из Тереметиса[112] стали убегать жители, ибо и в тех местах со стороны моря появились ливийские банды, будто бы посланные грозным вождем Муссавасой, который, как говорили, собирался провозгласить по всей пустыне священную войну против Египта.

Поэтому, если иногда вечером с западной стороны неба слишком долго не сходил багрянец, на жителей Бубаста нападал страх. Горожане собирались на улицах, поднимались на плоские крыши или влезали на деревья и оттуда кричали, что вдали виден пожар, в Менуфе[113] или в Сехеме. Находились даже такие, которые, несмотря на темноту, видели бегущих жителей или ливийские банды, длинными черными шеренгами марширующие по направлению к Бубасту.

Несмотря на тревогу среди населения, правители нома бездействовали, так как центральные власти не присылали им никаких распоряжений.

Рамсес знал о беспокойстве в городе и видел равнодушие сановников Бубаста. Не получая никаких распоряжений из Мемфиса, он приходил в ярость, но поскольку ни Мефрес, ни Ментесуфис не заговаривали с ним об этих тревожных событиях, угрожающих государству, и как будто избегали этого, сам наместник не обращался к ним и не занимался военными приготовлениями.

В конце концов он перестал посещать стоящие под Бубастом войска, а вместо этого собирал во дворце всю знатную молодежь, пировал с ней и веселился, заглушая в душе возмущение против жрецов и тревогу за судьбу государства.

— Вот увидишь, — сказал он однажды Тутмосу, — святые пророки доведут нас до того, что Муссаваса захватит Нижний Египет и нам придется бежать в Фивы, а то, пожалуй, и в Суну^[114], если нас оттуда, в свою очередь, не погонят эфиопы.

— Это верно, — ответил Тутмос, — наши правители ведут себя как изменники.

В первый день месяца атир (август — сентябрь) во дворце наследника происходило веселое пиршество. Оно началось с двух часов пополудни, и не успело еще зайти солнце, как все уже были пьяны.

Дошло до того, что гости, мужчины и женщины, валялись на полу, залитом вином, усыпанном цветами и осколками посуды.

Рамсес был еще не так пьян, как другие. Он не лежал, а сидел в кресле и держал на коленях двух прелестных танцовщиц. Одна поила его вином, другая умащала ему голову сильно пахнущими благовониями.

В этот момент в зале появился адъютант и, перешагнув через несколько бесчувственных тел, подошел к наследнику.

— Владыка, — шепнул он, — святые Мефрес и Ментесуфис желают немедленно говорить с тобой.

Наследник оттолкнул от себя танцовщиц и, весь красный, в залитом вином платье, неуверенным шагом направился к себе наверх.

Увидя его в таком состоянии, Мефрес и Ментесуфис переглянулись.

— Что вам угодно, святые отцы? — спросил наследник, падая в кресло.

— Не знаю, будешь ли ты в состоянии выслушать нас, — ответил в смущении Ментесуфис.

— А! Вы думаете, что я пьян? — воскликнул царевич. — Не бойтесь! Сейчас весь Египет до того обезумел или поглупел, что у пьяных, пожалуй, больше рассудка, чем у трезвых.

Жрецы нахмурились. Ментесуфис все же продолжал:

— Тебе известно, что царь и верховная коллегия решили распустить двадцать тысяч наемных солдат?..

— Предположим, что неизвестно, — перебил царевич. — Вы ведь не соизволили не только спросить моего совета относительно такого мудрого указа, но даже не уведомили меня о том, что четыре полка уже разогнаны и что эти голодные люди нападают на наши города.

— Уж; не осуждаешь ли ты поведение его святейшества фараона? — спросил Ментесуфис.

— Не фараона, а тех изменников, которые, пользуясь болезненным состоянием моего отца и повелителя, хотят продать государство ассирийцам и ливийцам.

Жрецы остолбенели. Подобных слов не говорил еще жрецам ни один египтянин.

— Разрешите нам, царевич, вернуться сюда через несколько часов, когда ты придешь в себя, — сказал Мефрес.

— В этом нет надобности. Я знаю, что творится на нашей западной границе. Вернее — знаю не я, а мои повара, конюхи и поломойки. Но, может быть, теперь, почтенные отцы, вы соизволите посвятить и меня в ваши планы.

— Ливийцы взбунтовались, — ответил Ментесуфис с невозмутимым видом, — и начинают собирать банды с намерением напасть на Египет.

— Понимаю.

— Согласно воле его святейшества и верховной коллегии, тебе, государь, предлагается собрать войска, стоящие в Нижнем Египте, и уничтожить бунтовщиков.

— Где приказ?

Ментесуфис достал из-за пазухи пергамент, снабженный печатями, и подал его наследнику.

— Значит, теперь я являюсь главнокомандующим и верховным властителем в этой области? — спросил наследник.

— Воистину так.

— И имею право созвать вас на военный совет?

— Разумеется, — ответил Мефрес, — хоть сейчас...

— Садитесь! — предложил царевич.

Жрецы повиновались.

— Я спрашиваю вас — это необходимо для моих планов, — почему распущены ливийские полки?

— Будут распущены еще и другие, — подхватил Ментесуфис. — Верховная коллегия хочет освободиться от двадцати тысяч наиболее дорого стоящих солдат, чтобы доставить казне фараона четыре тысячи талантов ежегодно, без которых двор может оказаться в затруднении.

— Что, однако, не грозит ничтожнейшему из египетских жрецов, — заметил наследник.

— Ты забываешь, что жреца не подобает называть ничтожным, — ответил Ментесуфис. — А то, что ни одному из них не угрожает недостаток средств, — это следствие их воздержанной жизни.

— В таком случае это, вероятно, боги выпивают вино, приносимое каждый день в храмы, и это каменные идола наряжают своих женщин в золото и

драгоценности, — с насмешкой заметил царевич. — Но не буду распространяться насчет вашего воздержания. Коллегия жрецов не для того разгоняет двадцать тысяч солдат и открывает ворота Египта разбойникам, чтобы наполнить казну фараона...

— А для чего?..

— Для того, чтобы угодить царю Ассару. А так как фараон отказался отдать ассирийцам Финикию, то вы хотите ослабить государство иным способом — распустить наемных солдат и вызвать войну на нашей западной границе.

— Призываю богов в свидетели, ты поражаешь нас, царевич! — воскликнул Ментесуфис.

— Тени фараонов еще больше поразились бы, услышав, что в том самом Египте, где царская власть связана по рукам и ногам, какой-то халдейский мошенник влияет на судьбу государства.

— Я не верю своим ушам! — воскликнул Ментесуфис. — О каком халдее ты, царевич, говоришь?

Наместник рассмеялся в лицо жрецам.

— Я говорю про Бероэса. Если ты, святой муж, не слышал про него, спроси у досточтимого Мефреса. А если и он забыл, пусть справится у Херихора и Пентуэра. Вот она, великая тайна ваших храмов! Подозрительный чужеземец, который, как вор, прокрался в Египет, навязывает членам верховной коллегии позорнейший договор, договор, какой можно подписать, только проиграв ряд сражений, потеряв все полки и обе столицы. И подумать только, что это сделал один человек, вероятно, шпион Ассара! А наши мудрецы настолько доверялись ему, что, когда фараон запретил им предавать Финикию, они вознаграждают себя тем, что распускают полки и вызывают войну на западной границе. Слыханное ли дело, — продолжал, уже не владея собой, Рамсес, — что в тот самый момент, когда следовало бы увеличить армию до трехсот тысяч человек и бросить ее на Ниневию, эти благочестивые безумцы разгоняют двадцать тысяч солдат и поджигают собственный дом.

Мефрес, весь бледный, молча слушал эти насмешки.

— Я не знаю, государь, — сказал он наконец, — из какого источника ты черпаешь свои сведения. Я хотел бы, чтобы он был столь же чист, как сердца членов верховной коллегии. Предположим, однако, что ты прав и что какой-то халдейский жрец сумел склонить коллегию к подписанию тяжелого договора с Ассирией. Но, если даже и так, откуда ты знаешь, что этот жрец не был посланцем богов, которые его устами предостерегли нас о нависших над Египтом опасностях?

— С каких это пор халдеи пользуются у вас таким доверием?

— Халдейские жрецы — старшие братья египетских, — заметил Ментесуфис.

— Так, может быть, и царь ассирийский — повелитель фараона?

— Не кощунствуй, царевич, — строго остановил его Мефрес. — Ты дерзаешь касаться священнейших тайн, а за это жестоко платились даже люди, стоявшие выше тебя.

— Хорошо, я не буду касаться ваших тайн. Но откуда можно узнать, какой из халдеев — посланец богов, а какой — лазутчик царя Ассара?

— По чудесам, — ответил Мефрес. — Если бы по твоему повелению, царевич, эта комната наполнилась духами, если бы незримые силы вознесли тебя на воздух, мы бы сказали, что ты орудие бессмертных, и слушались бы твоего совета.

Рамсес пожал плечами.

— Я тоже видел духов, они действовали руками молодой девушки, и видел в цирке распростертого в воздухе фокусника.

— Ты только не заметил тонких веревок, которые держали в зубах четверо его помощников, — заметил Ментесуфис.

Царевич опять рассмеялся и, вспомнив, что ему рассказывал Тутмос о молениях Мефреса, ответил насмешливо:

— При царе Хеопсе один верховный жрец захотел во что бы то ни стало летать по воздуху. Сам он молился богам, а своим подчиненным велел смотреть, не поднимает ли его невидимая сила. И представьте, святые мужи, не было дня, чтобы эти пророки не заверяли жреца, что он поднимается на воздух, пусть и невысоко — всего на один палец от пола. Но что с вами, святой отец? — спросил царевич у Мефреса.

Действительно, выслушав историю про самого себя, жрец закачался в кресле и упал бы, если бы его не поддержал Ментесуфис.

Рамсес даже растерялся. Он подал старцу воды, натер ему уксусом лоб и виски и стал обмахивать опахалом.

Вскоре святой Мефрес пришел в себя и, встав с кресла, обратился к Ментесуфису:

— Я думаю, нам можно уйти?

— Я тоже так думаю.

— А я что должен делать? — спросил наследник, почувствовав, что произошло что-то неладное.

— Исполнять обязанности главнокомандующего, — холодно ответил Ментесуфис.

Оба жреца торжественно поклонились ему и вышли.

С наместника уже окончательно соскочил хмель, но на душе у него было тяжело. Он понял, что совершил две большие ошибки: открыл жрецам, что знает их великую тайну, и безжалостно высмеял Мефреса.

Он готов был отдать год жизни, чтобы изгладить из их памяти весь этот пьяный разговор, но было уже поздно.

«Ничего не поделаешь, — думал наместник, — я выдал себя и приобрел смертельных врагов. Этакая досада! Борьба начинается в невыгодный для меня момент. Будем все-таки продолжать. Не один фараон боролся с жрецами и побеждал их, даже не имея сильных союзников».

Однако он настолько чувствовал опасность своего положения, что тут же поклялся священной головой отца никогда больше не пить так много.

Он велел позвать Тутмоса. Наперсник явился немедленно, вполне трезвый.

— У нас война, и я главнокомандующий, — объявил наследник.

Тутмос поклонился до земли.

— И больше никогда не буду напиваться, а знаешь почему?

— Полководец должен остерегаться вина и опьяняющих ароматов, — ответил Тутмос.

— Я забыл об этом и выболтал кое-что жрецам...

— Что? — спросил Тутмос в испуге.

— Что я их ненавижу и смеюсь над их чудесами.

— Не беда; я думаю, что они и не рассчитывают на людскую любовь.

— И что я знаю их политические тайны, — прибавил наследник.

— Вот это плохо! — воскликнул Тутмос.

— Теперь об этом уже поздно говорить, — сказал Рамсес. — Пошли немедленно скороходов, чтобы завтра с утра все военачальники съехались на совет. Прикажи зажечь сигналы тревоги, и пусть все войска Нижнего Египта с завтрашнего дня направятся к западной границе. Пойди к номарху и предложи ему заняться заготовкой продовольствия, одежды и оружия, а также уведомить об этом остальных номархов.

— У нас будут большие затруднения с Нилом, — заметил Тутмос.

— Все лодки и суда задержать в нильских рукавах для переправы войск. Надо также потребовать от номархов, чтобы они занялись подготовкой резервных полков.

Тем временем Мефрес и Ментесуфис возвращались в свои жилища при храме Птаха. Как только они остались одни, верховный жрец воздел руки и воскликнул:

— О бессмертные боги, Осирис, Исида и Гор, спасите Египет от гибели. С тех пор как стоит мир, ни один фараон не поносил так жрецов, как сегодня этот отрок! Что говорю я, фараон, ни один враг Египта, ни один хетт, финикийнин, ливиец не посмел бы так дерзко пренебречь неприкосновенностью жрецов.

— Вино делает человека прозрачным, — глубокомысленно заметил Ментесуфис.

— Но в этом юном сердце гнездится клубок змей. Он оскорбляет жреческую касту, насмехается над чудесами, не верит в богов.

— Больше всего меня удивляет то, — задумчиво проговорил Ментесуфис, — откуда ему известно о наших переговорах с Бероэсом? А что он знает о них, я готов поклясться.

— Чудовищное предательство, — ответил Мефрес, хватаясь за голову.

— Странно... Вас было четверо...

— Вовсе не четверо. Про Бероэса знала старшая жрица Исида, два жреца, которые указали ему путь к храму Сета, и жрец, встретивший его у ворот. Постой! — спохватился Мефрес. — Этот жрец все время сидел в подземелье... А что, если он подслушивал?..

— Во всяком случае, он продал тайну не младенцу, а кому-нибудь поважнее. А это уже опасно.

В келью постучался верховный жрец храма Птаха, святой Сэм.

— Мир вам, — сказал он, входя.

— Да будет благословенно твое сердце.

— Я и пришел узнать, не случилась ли какая беда, вы так громко говорите. Уж не пугает ли вас война с презренным ливийцем? — молвил Сэм.

— Что ты думаешь о царевиче, наследнике престола? — спросил его Ментесуфис.

— Я думаю, — ответил Сэм, — что он радуется войне и очень доволен своей ролью главнокомандующего. Это прирожденный воин. Когда я смотрю на него, мне приходит на память лев Рамсеса. Этот юноша готов один броситься на ливийские орды, и, пожалуй, он их рассеет.

— Этот юноша может уничтожить все наши храмы и стереть Египет с лица земли, — ответил Мефрес.

Сэм поспешно вынул золотой амулет, который носил на груди, и прошептал.

— «Убегите, дурные слова, в пустыню. Удалитесь и не причиняйте вреда праведным!» Зачем ты это говоришь? — прибавил он громче, с укором.

— Достоинейший Мефрес сказал истину, — вмешался Ментесуфис, — у тебя разболелась бы голова и живот, если бы человеческие уста повторили все кощунства, которые мы сегодня услышали от этого юнца.

— Не шути, пророк, — возмутился верховный жрец Сэм, — я скорее поверил бы тому, что вода горит, а ветер тушит огонь, чем тому, что Рамсес позволяет себе кощунствовать.

— Он притворялся, будто говорит спяна, — заметил ехидно Мефрес.

— Пусть так. Я не отрицаю, что царевич легкомысленный юноша и гуляка, но кощунствовать?

— Так думали и мы, — заявил Ментесуфис, — и настолько были в этом уверены, что, когда он вернулся из храма Хатор, мы перестали даже наблюдать за ним.

— Тебе жаль было золота, чтобы платить за это, — заметил Мефрес. — Видишь, какие последствия влечет за собой такая небрежность.

— Но что же случилось? — спросил, теряя терпение, Сэм.

— Что тут долго говорить: царевич, наследник престола, издевается над богами.

— О!

— Осуждает распоряжение фараона...

— Быть не может!

— Членов верховной коллегии называет изменниками...

— Что ты говоришь?

— И узнал от кого-то о приезде Бероэса и даже о его свидании с Мефресом, Херихором и Пентуэром в храме Сета.

Верховный жрец Сэм схватился обеими руками за голову и забегал по келье.

— Невозможно! — повторял он. — Невозможно! Кто-нибудь, вероятно, опутал чарами этого юношу. Может быть, финикийская жрица, которую он похитил из храма?

Это предположение показалось Ментесуфису таким удачным, что он взглянул на Мефреса, но тот, возмущенный, стоял на своем.

— Увидим. Прежде всего надо произвести следствие и узнать, что делал царевич день за днем по возвращении из храма Хатор, — твердил он. — Царевич пользовался слишком большой свободой, слишком много общался с неверными и с врагами Египта. И ты, достойный Сэм, поможешь нам...

Верховный жрец Сэм на следующее же утро велел созвать народ на торжественное богослужение в храме Птаха.

Жрецы расставили глашатаев на перекрестках, на площадях и даже в полях, чтобы они горнами и флейтами созывали народ. Когда собиралось достаточно слушателей, им сообщали, что в храме Птаха в течение трех дней будут происходить торжественные процессии и молебствия о даровании победы египетскому оружию, о поражении ливийцев и о ниспослании на их вождя, Муссавасу, проказы, слепоты и безумия.

Все шло так, как хотели святые отцы. С утра до поздней ночи простой народ толпился у стен храма, аристократия и богатые горожане собирались в преддверии, а жрецы, местные и из соседних номов, совершали жертвоприношения богу Птаху и возносили молитвы в самом святилище.

Три раза в день совершались торжественные шествия, во время которых вокруг храма обносили в золотой ладье скрытую за занавесками статую божества. При

этом люди падали ниц, громко сокрушаясь о своих грехах, а рассеянные в толпе пророки, задавая соответствующие вопросы, помогали им каяться. То же происходило и в преддверии храма. Но так как знатные и богатые не любили каяться во всеуслышанье, то святые пророки отводили грешников в сторону и тихонько увещевали их и давали советы.

В полдень молебствия носили особенно торжественный характер, ибо в этот час солдаты, отправлявшиеся на запад, приходили, чтобы получить благословение верховного жреца и обновить силу своих амулетов, имевших свойство ослаблять вражеские удары.

По временам в храме раздавался гром, а ночью над пилонами сверкали молнии. Это означало, что бог внял чьим-то молитвам или беседует с жрецами.

Когда после окончания торжества трое высоких жрецов, Сэм, Мефрес и Ментесуфис, сошлись для тайной беседы, положение было уже ясно.

Богослужения принесли храму около сорока талантов дохода; около шестидесяти талантов было истрачено на подарки или уплату долгов разных лиц из аристократии и высших военных сфер. Собраны же были следующие сведения:

Среди солдат ходили слухи, что как только царевич Рамсес взойдет на престол, он начнет войну с Ассирией, которая обеспечит тем, кто примет в ней участие, большие выгоды. Самый простой солдат вернется из этого похода с добычей не менее как в тысячу драхм, а может быть, и больше.

В народе шептались, что, когда фараон после победы вернется из Ниневии, он подарит каждому крестьянину раба и на определенное число лет освободит Египет от налогов.

Аристократия же предполагала, что новый фараон прежде всего отнимет у жрецов и вернет знати для покрытия долгов все поместья, перешедшие в собственность храмов. Поговаривали также, что он будет править самодержавно, без участия верховной коллегии жрецов.

Во всех слоях общества существовало убеждение, что царевич Рамсес, желая обеспечить себе помощь финикийян, обратился к покровительству богини Ашторет и ревностно поклоняется ей. Во всяком случае, было достоверно известно, что наследник, посетив однажды ночью храм богини, видел там какие-то чудеса. Наконец, среди богатых азиатов ходили слухи, будто Рамсес преподнес храму щедрые дары, за что получил оттуда жрицу, которая должна была укрепить его в вере.

Все эти сведения собрал Сэм и его жрецы. Святые же отцы Мефрес и Ментесуфис сообщили ему другую новость, дошедшую до них из Мемфиса, о том, что халдейского жреца и ясновидца Бероэса ввел в подземелье жрец Осохор. Недавно, выдавая замуж свою дочь, он одарил ее драгоценностями и купил молодоженам большой дом. А так как у Осохора раньше не было таких больших доходов, то возникало подозрение, что этот жрец подслушал разговор Бероэса с египетскими

сановниками храма и продал затем тайну договора финикиянам, получив от них большие деньги.

Выслушав все это, верховный жрец Сэм сказал:

— Если святой Бероэс в самом деле чудотворец, то сначала спросите у него, не Осохор ли и выдал тайну?

— Чудотворца Бероэса уже спрашивали, — ответил Мефрес, — но святой муж желает умолчать об этом, причем добавил, что если даже кто и подслушал их переговоры и сказал финикиянам, то ни Египет, ни Халдея от этого не пострадают, и, следовательно, когда виновник найдется, надо поступить с ним милостиво.

— Святой! Воистину святой это муж, — прошептал Сэм.

— А каково твое мнение, — обратился Мефрес к Сэму, — о царевиче-наследнике и вызванных им волнениях?

— Скажу то же, что Бероэс: наследник не причинит Египту вреда, и надо быть к нему снисходительными...

— Но ведь этот юноша насмеяется над богами, не верит в чудеса, ходит в чужие храмы, бунтует народ!.. Это дело серьезное... — с горечью твердил Мефрес, который не в силах был простить Рамсесу грубую шутку по поводу его благочестивых упражнений.

Верховный жрец Сэм любил Рамсеса. Он ответил, добродушно улыбаясь:

— Какой крестьянин в Египте не хотел бы иметь раба, чтобы сменить свой тяжелый труд на приятное безделье? И есть ли на свете человек, который не мечтал бы о том, чтобы не платить налогов? Ведь на то, что он платит казне, его жена, он сам и дети могли бы закупить себе нарядов и насладиться всякими удовольствиями.

— Безделье и расточительство развращают человека, — заметил Ментесуфис.

— Какой солдат, — продолжал Сэм, — не желает войны и не мечтает о добыче в тысячу драхм, а то и больше? И еще спрошу вас, отцы, какой фараон, какой номарх, какой знатный человек охотно платит долги и не зарится на богатства храмов?

— Греховные это помыслы, — пробормотал Мефрес.

— И, наконец, какой наследник престола не мечтает об ограничении власти жрецов? Какой фараон в начале царствования не пытался освободиться от влияния верховной коллегии?

— Слова твои исполнены мудрости, — ответил Мефрес, — но к чему они нас приведут?

— К тому, чтобы вы не вздумали обвинять наследника перед верховной коллегией, ибо нет такого суда, который поставил бы царевичу в вину то, что

крестьяне рады бы не платить податей, а солдаты хотят войны. Напротив, вас еще могут упрекнуть в том, что вы не следили за царевичем изо дня в день и не удерживали его от ребяческих выходок, а сейчас возводите на него целую пирамиду обвинений, вдобавок ни на чем не основанных.

В таких случаях не то плохо, что человек склонен к греху, так как это всегда было, но то, что мы не предостерегаем его от греха. Наш святой отец Нил очень скоро занес бы все каналы илом, если бы инженеры не наблюдали за ним день и ночь.

— А что ты скажешь, достойнейший, о той хуле, которую царевич позволил себе в разговоре с нами? Неужели простишь ему мерзкие насмешки над чудесами? — спросил Мефрес. — Этот юнец грубо надругался над моим благочестием.

— Сам себя унижает тот, кто разговаривает с пьяным, — возразил Сэм. — Вы даже не имели права говорить о важных делах государства с нетрезвым человеком. Вы совершили ошибку, сообщив царевичу о назначении его командующим армией, когда он был пьян. Военачальник всегда должен быть трезв.

— Преклоняюсь перед твоей мудростью, — ответил Мефрес, — но все же высказываюсь за подачу жалобы на наследника в верховную коллегия.

— А я против жалобы, — настойчиво возразил Сэм. — Коллегии нужно сообщить о поведении наследника, но не в форме жалобы, а просто донесения.

— И я такого же мнения, — присоединился к нему Ментесуфис.

Увидев, что оба жреца против него, Мефрес отказался от своего требования. Но он не забыл нанесенного ему оскорбления и затаил в сердце злобу. Это был мудрый и набожный, но мстительный старик. Он охотно предпочел бы, чтобы ему отрубили руку, чем оскорбили его жреческий сан.

16

По совету астрологов главнокомандующий со штабом должен был тронуться из Бубаста в седьмой день месяца атир. В этот день («удачнейший из удачных») боги в небесах и люди на земле торжествовали победу Ра над врагами; тот, кто появлялся на свет в этот день, умирал обычно в глубокой старости, окруженный почетом. Этот день считался также благоприятным для беременных женщин и торговцев тканями и неблагоприятным для мышей и лягушек.

Став главнокомандующим, Рамсес с жаром принялся за дело. Он лично встречал каждый проходящий полк, проверял его вооружение, обмундирование и обозы. Приветствуя новобранцев, он призывал их усердно учиться военному искусству на погибель врагам и во славу фараона. Рамсес председательствовал на всех военных советах, присутствовал при допросе каждого шпиона и собственной рукой отмечал на карте передвижение египетских войск и расположение неприятеля. Главнокомандующий так быстро переезжал с места на место, что его ожидали повсюду, но он всегда налетал неожиданно, как ястреб. Утром его видели южнее Бубаста, где он проверял продовольствие; через час он уже был на

северной стороне, где обнаруживал, что в таком-то полку не хватает ста пятидесяти человек, а к вечеру, догнав переднее охранение, присутствовал при переправе войск через нильский рукав и производил осмотр двухсот военных колесниц.

Святой Ментесуфис, помощник Херихора, хорошо знавший военное дело, не мог надивиться на Рамсеса.

— Вам известно, святые братья, — говорил Ментесуфис Сэму и Мефресу, — что я не люблю наследника с тех пор, как обнаружил в нем злобу и коварство, но — да будет Осирис мне свидетелем, — юноша этот — прирожденный полководец. Скажу вам нечто невероятное: мы подтянем свои силы к границе на три-четыре дня раньше, чем можно было ожидать. Ливийцы уже проиграли войну, хотя еще не слышали свиста нашей стрелы!

— Тем более опасен для нас такой фараон, — заметил Мефрес со стариковским упрямством.

К вечеру шестого дня месяца атир царевич Рамсес принял ванну и объявил штабу, что завтра за два часа до восхода солнца они выступают.

— А теперь я хочу выспаться, — закончил он.

Но сделать это было труднее, чем сказать.

По всему городу разгуливали солдаты, а рядом с дворцом стоял лагерем полк, где они ели, пили и распевали песни, ничуть не помышляя об отдыхе.

Рамсес ушел в самую отдаленную комнату, но и там его поминутно беспокоили: прибежал какой-нибудь офицер с маловажным докладом или за приказом, который мог быть дан на месте командиром полка; приводили шпионов, которые не сообщали ничего нового; являлись знатные господа с ничтожными отрядами, предлагая услуги в качестве добровольцев; приходили финикийские купцы, желавшие получить новые поставки для армии, и поставщики с жалобой на вымогательство военачальников.

Не было также недостатка в прорицателях и астрологах, которые предлагали царевичу перед битвой составить гороскоп, в магах, предлагавших надежные амулеты против стрел и снарядов. Все эти люди без доклада врываются в комнату наследника: каждый из них считал, что судьбы войны в его руках и что это дает ему право свободного доступа к главнокомандующему.

Наследник терпеливо выслушивал всех. Но когда вслед за астрологом ворвалась к нему одна из женщин с претензией, что Рамсес, очевидно, больше не любит ее, так как не пришел к ней проститься, а через четверть часа за окном раздавался плач других, — он не выдержал и позвал Тутмоса.

— Посиди здесь в комнате и, если хватит охоты, утешай женщин моего дома. А я спрячусь где-нибудь в саду, иначе я не засну и буду утром похож на мокрую курицу.

— А где мне искать тебя в случае надобности?

— Нигде, — засмеялся наследник, — я сам найдусь, когда заиграют подъем.

Сказав это, царевич накинул на себя длинный плащ с капюшоном и убежал в сад.

Но и в саду бродили солдаты, поварята и другая прислуга, потому что на всей дворцовой территории порядок был нарушен, как обычно бывает перед походом. Заметив это, Рамсес свернул в самую глухую часть парка, нашел там обвитую виноградом беседку и с наслаждением бросился на скамью.

— Здесь-то уж не найдут меня ни жрецы, ни бабы, — пробормотал он.

И в одно мгновение заснул как убитый.

Финикиянка Кама уже несколько дней чувствовала себя нездоровой. К нервному раздражению присоединилось какое-то странное недомогание и боль в суставах. Кроме того, она чувствовала зуд в лице, особенно на лбу, над бровями.

Эти незначительные признаки заболевания до того встревожили ее, что она уже не думала о том, что ее убьют, и целыми днями сидела перед зеркалом, приказав служанкам делать, что им угодно, но только не беспокоить ее. Она не думала теперь ни о Рамсесе, ни о ненавистной Сарре, а пристально разглядывала какие-то пятна на лице, которых чужой глаз даже не заметил бы.

— Пятна... да, пятна... — шептала она про себя в испуге. — Два, три... О Ашторет! Ведь ты не захочешь так покарать свою жрицу. Лучше смерть... Впрочем, что за глупости? Когда я потру лоб пальцами, пятна становятся краснее. Должно быть, меня укусило какое-то насекомое или я умастила лицо несвежим маслом; умоюсь, и до завтра все пройдет...

Но назавтра пятна не исчезли.

Кама позвала служанку.

— Погляди на меня, — сказала она ей, пересев в более темный угол. — Посмотри... — повторила она взволнованно. — Ты видишь на моем лице какие-нибудь пятна?.. Только не подходи близко!..

— Я ничего не вижу, — отвечала невольница.

— Ни под левым глазом... ни над бровями?.. — спрашивала Кама, все больше раздражаясь.

— Соблаговоли, госпожа, повернуть свое божественное лицо к свету, — попросила служанка.

Это предложение привело Каму в бешенство.

— Вон отсюда, негодная, — крикнула она, — и не показывайся мне на глаза!

Когда служанка убежала, ее госпожа бросилась к туалету и, открыв какие-то банки, наругав себя кисточкой лицо.

Под вечер, чувствуя боль в суставах и мучительное беспокойство, Кама велела позвать лекаря. Когда ей доложили о его приходе, она опять поглядела на себя в

зеркало, в припадке безумия бросила его на пол и со слезами стала кричать, что лекарь не нужен.

Шестого атира она весь день ничего не ела и не хотела никого видеть. Когда стемнело и в комнату вошла невольница со светильником, Кама бросилась на ложе и закутала голову покрывалом. Приказав невольнице поскорее уйти, она села в кресло, подальше от светильника, и провела несколько часов в полудремотном оцепенении.

«Нет никаких пятен, — думала она, — а если и есть, то не те... Это не проказа!..»

— О боги!.. — вдруг закричала она, падая ниц. — Не может быть, чтобы я... Спасите меня!.. Я вернусь в святой храм... я искуплю свой грех всей жизнью...

Потом снова успокоилась.

«Нет никаких пятен... Вот уже несколько дней, как я натираю себе кожу, она и покраснела... Откуда это может быть!.. Слыханное ли дело, чтобы жрица, женщина наследника престола, заболела проказой! О боги!.. Этого никогда не было, с тех пор как свет стоит!.. Она поражает только рыбаков, каторжников и нищих евреев. Ах, эта подлая еврейка! Пусть боги покарают ее этой болезнью!»

В эту минуту в окне ее комнаты, которая была на втором этаже, мелькнула чья-то тень. Потом послышался шорох, и в комнату прыгнул... царевич Рамсес...

Кама остолбенела. Но вдруг схватилась за голову, и в глазах ее отразился беспредельный ужас.

— Ликон, — пролепетала она. — Ликон, ты здесь? Ты погибнешь! Тебя ищут...

— Знаю, — ответил грек с презрительным смехом, — за мною гонятся все финикияне и вся полиция фараона. И все же я у тебя, а только что был у твоего господина.

— Ты был у наследника?

— Да, в его собственной опочивальне. И оставил бы в груди Рамсеса кинжал, если бы злые духи не унесли его куда-то... Должно быть, твой любовник пошел к другой женщине...

— Чего тебе надо здесь? Беги! — шептала Кама.

— Только с тобой! На улице ждет колесница, мы домчимся в ней до Нила, а там моя барка.

— Ты с ума сошел. Весь город и все дороги полны солдат...

— Поэтому-то мне и удалось проникнуть во дворец. И нам легко будет уйти незамеченными. Собери все драгоценности. Я сейчас вернусь за тобой...

— Куда же ты идешь?

— Поищу твоего господина, — ответил он. — Я не уйду, не оставив ему памяти по себе...

— Ты с ума сошел!

— Молчи! — воскликнул он, бледнея от ярости. — Ты еще будешь его защищать...
Финикиянка задумалась, сжав кулаки, в глазах ее сверкнул зловещий огонь.

— А если ты не найдешь его? — спросила она.

— Тогда я убью несколько спящих солдат, подожгу дворец... Да... я и сам не знаю, что сделаю... Но память по себе я оставлю... без этого я не уйду!

В больших глазах финикиянки была такая злоба, что Ликон удивился.

— Что с тобой? — спросил он.

— Ничего. Слушай, ты никогда не был так похож на наследника, как сейчас. Самое лучшее, что ты можешь сделать...

Она нагнулась к его уху и стала шептать.

Грек слушал с изумлением.

— Женщина, — сказал он, — злейшие духи говорят твоими устами. Да, пусть на него падет подозрение.

— Это лучше, чем кинжал, — ответила она со смехом, — не правда ли?

— Мне такое никогда не пришло бы в голову! А может быть, лучше обоих?

— Нет, пусть она живет. Это будет моя месть.

— Ну и жестокая же у тебя душа! — прошептал Ликон. — Но мне это нравится. Мы расплатимся с ним по-царски.

Он бросился к окну и исчез. Кама, забыв о себе, чутко прислушивалась.

Не прошло и четверти часа после ухода Ликона, как со стороны чащи смоковниц донесся пронзительный женский крик. Он повторился несколько раз и умолк. Вместо ожидаемой радости Каму охватил ужас. Она упала на колени и безумными глазами вглядывалась в темноту сада.

Внизу слышались чьи-то бегущие шаги, и в окне опять появился Ликон в темном плаще. Он порывисто дышал, и руки у него дрожали.

— Где драгоценности? — спросил он сдавленным голосом.

— Оставь меня, — ответила она.

Грек схватил ее за горло.

— Несчастная, — прошептал он, — ты не понимаешь, что не успеет солнце взойти, как тебя посадят в темницу и через несколько дней задушат.

— Я больна...

— Где драгоценности?

— Под кроватью...

Ликон прыгнул в комнату, схватил светильник, достал из-под кровати тяжелую шкатулку, накинул на Каму плащ и потащил ее за собой.

— Бежим! Где дверь, через которую ходит к тебе... этот... твой господин?

— Оставь меня...

— Вот как! Ты думаешь, что я тебя здесь оставлю? Сейчас ты мне нужна так же, как собака, потерявшая чутье... но ты должна пойти со мной... Пусть твой господин узнает, что есть кто-то получше его. Он похитил у богини жрицу, а я заберу у него возлюбленную...

— Но говорю тебе, что я больна...

Грек выхватил из-за пояса кинжал и приставил ей к горлу. Она вздрогнула и прошептала:

— Иду, иду...

Через потайную дверь они выбежали из павильона. Со стороны дворца до них доносились голоса солдат, сидевших вокруг костров.

Между деревьев мелькали огни факелов, мимо то и дело пробегал кто-нибудь из челяди наследника. В воротах их задержала стража.

— Кто идет?

— Фивы, — ответил Ликон.

Они беспрепятственно вышли на улицу и скрылись в переулках квартала, где жили чужеземцы.

За два часа до рассвета в городе раздались звуки рожков и барабанов.

Тутмос еще крепко спал, когда царевич стащил с него плащ и крикнул с веселым смехом:

— Вставай, недремлющий военачальник! Полки уже тронулись!

Тутмос присел на кровати и стал протирать заспанные глаза.

— А, это ты, государь? — спросил он, зевая. — Ну как выспался?

— Как никогда, — ответил Рамсес.

— А мне бы еще поспать.

Оба приняли ванну, надели кафтаны и полупанцири и сели на коней, которые рвались из рук стремянных.

Вскоре наследник с небольшой свитой покинул город, опережая на дороге медленно шагавшие колонны. Нил сильно разлился, и царевич хотел присутствовать при переправе войск через каналы и броды.

Когда солнце взошло, последняя повозка была уже далеко за городом, и достойный номарх Бубаста заявил своим слугам:

— Теперь я лягу спать, и не одобровать тому, кто меня разбудит до ужина. Даже божественное солнце отдыхает каждый день, а я не ложился с первого атира.

Но не успел он отдать приказание, как пришел полицейский офицер и попросил принять его по особо важному делу.

— Чтоб вас всех земля поглотила! — выругался вельможа. Однако велел офицеру войти и недовольно спросил: — Неужели нельзя было подождать? Ведь Нил еще не убежал...

— Случилось большое несчастье, — сказал полицейский офицер. — Убит сын наследника престола.

— Что? Какой? — вскричал номарх.

— Сын еврейки Сарры.

— Кто убил? Когда?

— Сегодня ночью.

— Кто же это мог сделать?

Офицер развел руками.

— Я спрашиваю, кто убил? — повторил номарх, скорее испуганный, чем возмущенный.

— Господин мой, изволь сам произвести следствие. Уста мои отказываются повторить то, что слышали уши.

Номарх пришел в ужас. Он велел привести слуг Сарры и послал за верховным жрецом Мефресом. Ментесуфис, как представитель военного министра, отправился с царевичем в поход.

Явился удивленный вызовом Мефрес. Номарх рассказал ему об убийстве ребенка и о том, что полицейский офицер не решается повторить показания свидетелей.

— А свидетели есть? — спросил верховный жрец.

— Ожидают твоего приказа, святой отец.

Ввели привратника Сарры.

— Ты знаешь, — спросил номарх, — что ребенок твоей госпожи убит?

Человек грохнулся наземь.

— Я даже видел честные останки младенца, которого ударили о стену, и удерживал нашу госпожу, когда она с криком бросилась в сад.

— Когда это случилось?

— Сегодня после полуночи. Сейчас же после прихода к нашей госпоже царевича, — ответил привратник.

— Как, значит, царевич был ночью у вашей госпожи? — спросил Мефрес. — Странно, — шепнул он номарху.

Вторым свидетелем была кухарка Сарры, третьим прислужница. Обе утверждали, что после полуночи царевич поднялся в комнату их госпожи. Он пробыл там недолго, потом выскочил в сад, а вслед за ним с ужасным криком выбежала Сарра.

— Но ведь царевич всю ночь не выходил из своей спальни во дворце! — сказал номарх.

Полицейский офицер покачал головой и заявил, что в прихожей ожидает несколько человек из дворцовой прислуги.

Их позвали. Из вопросов, заданных Мефресом, выяснилось, что наследник не спал во дворце. Он покинул свою спальню до полуночи и ушел в сад. Вернулся он с первой побудкой.

Когда увели свидетелей и оба сановника остались одни, номарх со стоном бросился на пол и заявил Мефресу, что тяжело болен и готов скорее лишиться жизни, чем вести следствие. Верховный жрец был чрезвычайно бледен и взволнован. Он возразил, однако, что дело необходимо расследовать, и именем фараона приказал номарху отправиться вместе с ним к жилищу Сарры.

До сада наследника было недалеко, и оба сановника скоро прибыли на место преступления.

Поднявшись в комнату, они увидели Сарру, стоявшую на коленях перед колыбелью и словно кормящую ребенка грудью. На стене и на полу багровели кровавые пятна.

Номарх почувствовал такую слабость, что вынужден был присесть. Мефрес же был невозмутим. Он подошел к Сарре, дотронулся до ее плеча и произнес:

— Госпожа, мы явились сюда от имени его святейшества...

Сарра порывисто вскочила на ноги и закричала душераздирающим голосом:

— Будьте прокляты! Вам хотелось иметь израильского царя? Вот он — ваш царь! О, зачем я, несчастная, послушалась ваших предательских советов.

Она зашаталась и со стоном припала к колыбели.

— Мой сынок... мой маленький Сети... Такой был красивый, такой умный... Уже тянулся ко мне ручонками... Яхве, — крикнула она, — верни мне его, ведь ты все можешь!.. Боги египетские, Осирис... Гор... Исида... ведь ты сама была матерью! Не может быть, чтобы в небесах никто не услышал моей мольбы... Такая крошка... Гиена и та сжалилась бы над ним.

Верховный жрец помог ей подняться. Комнату заполнила полиция и прислуга.

— Сарра, — сказал верховный жрец, — от имени его святейшества фараона, владыки Египта, предлагаю тебе и повелеваю ответить, кто убил твоего сына?

Она смотрела в пространство, как безумная, водя рукою по лбу. Номарх подал ей воды с вином, а одна из женщин брызнула на нее уксусом.

— От имени его святейшества, — повторил Мефрес, — повелеваю тебе, Сарра, назвать имя убийцы.

Присутствующие попятились к двери. Номарх в страхе зажал руками уши.

— Кто убил? — проговорила Сарра сдавленным голосом, пристально вглядываясь в лицо Мефреса, — ты спрашиваешь, кто убил? Знаю я вас, жрецы! Знаю, какая у вас совесть!

— Ну, кто же? — настаивал Мефрес.

— Я, — закричала нечеловеческим голосом Сарра. — Я убила моего ребенка потому, что вы сделали его евреем.

— Это ложь! — прошипел верховный жрец.

— Я! Я! — повторяла Сарра. — Эй, люди, кто меня видит и слышит, — обратилась она к присутствующим, — знайте, это я его убила! Я! Я! Я! — кричала она, колотя себя в грудь.

Услышав столь явное самообвинение, номарх пришел в себя и с жалостью смотрел на Сарру; женщины рыдали, привратник утирал слезы. Только святой Мефрес злобно сжимал посиневшие губы. Обратившись к полицейским, он произнес громко и отчетливо:

— Слуги царя! Возьмите эту женщину и отведите ее в здание суда.

— И сын мой пойдет со мной! — вскричала Сарра, бросаясь к колыбели.

— С тобой, с тобой, бедная женщина, — сказал номарх и закрыл руками лицо.

Оба сановника вышли из комнаты. Полицейский офицер велел принести носилки и с величайшей почтительностью повел Сарру вниз. Несчастная взяла из колыбели окровавленный сверток и без сопротивления села в носилки.

Вся прислуга последовала за нею в здание суда.

Когда Мефрес с номархом возвращались к себе садом, начальник провинции взволнованно сказал:

— Мне жаль эту женщину.

— Это будет справедливое возмездие за ее ложь, — ответил верховный жрец.

— Ты полагаешь?

— Я уверен, что боги откроют и осудят настоящего убийцу.

У садовой калитки пересек им дорогу домоправитель Камы и крикнул:

— Нет финикиянки — она исчезла этой ночью.

— Еще одно несчастье, — пролепетал номарх.

— Не беспокойтесь, — ответил Мефрес, — она поехала вслед за царевичем.

Достойный номарх понял, что Мефрес ненавидит Рамсеса, и сердце у него замерло. Ибо, если будет доказано, что Рамсес убил собственного сына, наследник никогда не взойдет на отцовский престол и жестокое ярмо жрецов лишь крепче сдавит Египет.

Вельможа еще больше опечалился, когда ему сообщили вечером, что два лекаря из храма Хатор, осмотрев труп ребенка, высказали твердую уверенность в том, что убийство мог совершить только мужчина. «Кто-то, — говорили они, — схватил правой рукой младенца за ноги и ударил его головой о стену. Рука Сарры не могла бы обхватить обеих ножек, к тому же на них оказались следы мужских пальцев».

После этого разъяснения верховные жрецы Мефрес и Сэм отправились в темницу к Сарре, и здесь Мефрес стал заклинать ее всеми египетскими и чужеземными богами, чтобы она признала, что неповинна в смерти ребенка, и описала внешность убийцы.

— Мы поверим твоим словам, — сказал ей Мефрес, — и ты тотчас же будешь освобождена.

Но Сарра, вместо того чтобы быть тронутой этой милостью, пришла в ярость.

— Шакалы! — кричала она. — Вам мало двух жертв! Вам нужны еще новые!.. Я это сделала, несчастная, я!.. Кто другой мог быть столь подлым, чтобы убить ребенка!.. Малютку, который никому не мешал!..

— А ты знаешь, упрямая женщина, что тебе угрожает? — спросил Мефрес. — Тебя заставят три дня продержат на руках труп твоего ребенка, а потом заключат на пятнадцать лет в темницу.

— Только три дня? — спросила она. — Да я готова всю жизнь с ним не расставаться — с моим маленьким Сети — И не только в темницу, но и в могилу пойду с ним. И господин мой прикажет похоронить нас вместе...

Когда жрецы вышли на улицу, благочестивый Сэм сказал:

— Мне случалось видеть матерей-детоубийц и судить их, но подобной я не встречал.

— Потому что не она убила своего ребенка, — ответил сердито Мефрес.

— А кто же?

— Тот, кого видела прислуга, когда он вбежал в дом Сарры и мгновенно скрылся. Тот, кто, выступая в поход, взял с собой финикийскую жрицу Каму, осквернившую алтарь. Тот, наконец, — закончил с мрачной торжественностью Мефрес, — кто, узнав, что его сын еврей, прогнал Сарру из дома и сделал ее рабыней.

— То, что ты говоришь, ужасно, — в испуге прошептал Сэм.

— Преступление еще ужаснее, и, несмотря на упрямство этой глупой женщины, оно будет раскрыто.

Святой муж и не предполагал, что пророчество его исполнится так скоро.

А случилось это таким образом.

Царевич Рамсес, выступая с армией из Бубаста, не успел еще выйти из дворца, как начальнику полиции доложили об убийстве ребенка и бегстве Камы и о том, что слуги Сарры видели царевича, входившего ночью к ней в дом. Начальник полиции был человек сообразительный. Он догадался, кто совершил преступление, и вместо того чтобы вести следствие на месте, помчался за город преследовать виновных, предупредив Хирама о том, что произошло.

И вот пока Мефрес пытался вынудить у Сарры признание, самые ловкие агенты местной полиции, а также все финикияне с Хирамом во главе пустились в погоню за греком Ликоном и жрицей Камой.

И вот на третью ночь после выступления царевича в поход начальник полиции вернулся в Бубаст, везя за собой огромную, покрытую холстом клетку, в которой, не переставая, кричала какая-то женщина.

Не ложась спать, начальник вызвал офицера, который вел следствие, и внимательно выслушал его рапорт.

На рассвете оба верховных жреца, Сэм и Мефрес, а также номарх Бубаста получили всепокорнейшее приглашение явиться к начальнику полиции. Все трое не заставили себя ждать. Начальник полиции, низко кланяясь, стал просить, чтобы они рассказали все, что им известно об убийстве.

Номарх побледнел, услышав это предложение, и ответил, что ничего не знает. Почти то же самое повторил верховный жрец Сэм, прибавив, что Сарра кажется ему невиновной. Когда же очередь дотла до святого Мефреса, тот сказал:

— Не знаю, слышал ли ты, что ночью, когда было совершено преступление, бежала одна из женщин наследника, по имени Кама?

Начальник полиции сделал вид, что очень удивлен.

— Не знаю также, сообщено ли тебе, — продолжал Мефрес, — что наследник престола не ночевал во дворце и что он заходил в дом Сарры? Привратник и две служанки узнали его, так как ночь была довольно светлая.

Изумление начальника полиции, казалось, еще более возросло.

— Очень жаль, — закончил верховный жрец, — что тебя не было несколько дней в Бубасте...

Начальник низко поклонился Мефресу и обратился к номарху.

— Не соблаговолишь ли ты, достойнейший, сообщить мне, как был одет царевич в тот вечер?

— На нем была белая рубашка и пурпурный передник, обшитый золотой бахромой, — ответил номарх. — Я это отлично помню, так как был одним из последних, кто разговаривал с ним в тот вечер.

Начальник полиции хлопнул в ладоши, и в канцелярию вошел привратник Сарры.

— Ты видел наследника, — спросил он его, — когда он заходил ночью в дом твоей госпожи?

— Я открывал калитку царевичу — да живет он вечно!

— А ты помнишь, как он был одет?

— На нем был хитон в желтую и черную полоску, такой же чепец и полосатый передник, голубой с красным, — ответил привратник.

Лица жрецов и номарха выразили изумление. Когда же ввели по очереди обеих служанок Сарры, которые в точности повторили описание одежды царевича, глаза номарха вспыхнули радостью, а святой Мефрес смутился.

— Я могу поклясться, — заметил достойный номарх, — что на царевиче была белая рубашка и пурпурный с золотом передник.

— А теперь, — предложил начальник полиции, — соблаговолите, высокочтимейшие, пройти со мной в темницу. Там мы увидим еще одного свидетеля.

Все четверо спустились вниз в просторное подземелье, где у окна стояла большая клетка, покрытая холстом. Начальник полиции откинул палкой холст, и присутствующие увидели лежавшую там в углу женщину.

— Да ведь это же госпожа Кама! — воскликнул номарх.

Это была действительно Кама, больная и сильно изменившаяся. Когда при виде знатных сановников она встала и на нее упал свет, присутствующие увидели ее лицо, покрытое медно-красными пятнами. Глаза у нее были как у безумной.

— Это не богиня! — вскричала она изменившимся голосом. — Это негодные азиаты подкинули мне зараженное покрывало. О, я, несчастная!

— Кама, — сказал начальник полиции, — над твоим горем сжалились знатнейшие наши верховные жрецы Сэм и Мефрес. Если ты расскажешь истину, они помолятся за тебя, и, может быть, всемогущий Осирис отвратит от тебя беду, пока еще не поздно. Болезнь еще только начинается, и наши боги могут тебе помочь.

Больная женщина упала на колени и, прижимаясь лицом к решетке, стала молить:

— Сжальтесь надо мной! Я отреклась от финикийских богов и до конца жизни посвящу себя великим богам Египта... Только прогоните от меня...

— Отвечай, но говори правду, — продолжал допрашивать начальник полиции, — и тогда боги не откажут тебе в своей милости: кто убил ребенка еврейки Сарры?

— Изменник Ликон, грек... Он был певцом в нашем храме и говорил, что любит меня... А теперь он меня бросил, негодяй, захватив мои драгоценности.

— Зачем Ликон убил ребенка?..

— Он хотел убить царевича, но, не найдя его во дворце, побежал в дом Сарры и...

— Каким образом преступник попал в охраняемый дом?

— Разве ты не знаешь, господин, что Ликон — копия наследника! Они похожи, как два листа одной пальмы.

— Как был одет Ликон в ту ночь? — продолжал допрашивать начальник полиции.

— На нем был хитон в черную и желтую полоску... такой же чепец и передник красный с голубым... Перестаньте меня мучить... Верните мне здоровье... Сжальтесь... Я буду верна вашим богам... Вы уже уходите? О, безжалостные!

— Бедная женщина, — обратился к ней верховный жрец Сэм, — я пришлю тебе всесильного чудотворца, и, быть может...

— О, да благословит вас Ашторет! Нет, да благословят вас ваши всемогущие и милосердные боги! — шептала измученная финикиянка.

Сановники вышли из темницы и вернулись в канцелярию.

Номарх, видя, что верховный жрец Мефрес стоит, не поднимая глаз, спросил его:

— Тебя не радуют открытия, сделанные нашим усердным начальником полиции?

— У меня нет оснований радоваться, — резко ответил Мефрес, — дело вместо того, чтобы упроститься, запутывается. Ведь Сарра твердит, что она убила ребенка, а финикиянка так отвечает, как будто кто-нибудь ее научил.

— Значит, ты этому, святой отец, не веришь? — вмешался начальник полиции.

— Я никогда не встречал двух человек, настолько похожих друг на друга, чтобы один мог быть принят за другого. Тем более не слыхал я, чтобы в Бубасте существовал человек, который так походе на нашего наследника престола — да живет он вечно!

— Этот человек, — заявил начальник полиции, — служил при храме Ашторет. Его знал тирский князь Хирам и видел своими глазами наш наместник. Не так давно он отдал приказ поймать его и пообещал высокую награду.

— Ото! — воскликнул Мефрес. — Я вижу, почтеннейший начальник полиции, что ты посвящен во все высшие государственные тайны. Разреши мне, однако, не поверить в этого Ликона до тех пор, пока я сам его не увижу.

И разгневанный Мефрес покинул канцелярию, а за ним, пожимая плечами, ушел и святой Сэм.

Когда в коридоре смолкли их шаги, номарх посмотрел пристально на начальника полиции и спросил:

— Ну, что ты на это скажешь?

— Воистину, — ответил начальник, — святые пророки начинают нынче вмешиваться даже в такие дела, которые никогда раньше их не касались.

— И мы должны все это терпеть!.. — прошептал номарх.

— До поры до времени, — вздохнул начальник, — потому что, насколько я умею читать в человеческих сердцах, наши чиновники, военные и наша аристократия возмущены произволом жрецов. Все должно иметь границы.

— Мудрые слова сказал ты, — ответил номарх, пожимая ему руку. — Какой-то внутренний голос подсказывает мне, что я увижу тебя высшим начальником полиции фараона.

Прошло еще несколько дней. За это время парасхиты набальзамировали тельце сына наследника, а Сарра все оставалась в тюрьме, ожидая суда, который, она была уверена, осудит ее.

Сидела в тюрьме и Кама. Ее, как зараженную проказой, держали в клетке. Правда, ее навестил чудотворец-лекарь, прочитал над ней молитву и дал ей пить всеисцеляющую воду, но, несмотря на это, финикиянку не покидала лихорадка, а медно-красные пятна над бровями и на щеках выступали все резче. Из канцелярии номарха пришло предписание увезти ее в восточную пустыню, где вдали от людей находилась колония прокаженных.

Но вот однажды вечером в храм Птаха явился начальник полиции и сказал, что хочет поговорить с верховными жрецами. С начальником были два агента и человек, с ног до головы закутанный в мешок.

Ему тотчас же ответили, что верховные жрецы ожидают его в часовне перед статуей богини.

Оставив агентов у ворот храма, начальник полиции взял человека в мешке за плечо и, в сопровождении жреца, повел его в часовню. Он застал там Мефреса и Сэма в торжественном облачении верховных жрецов, с серебряными бляхами на груди.

Начальник пал перед ними ниц и сказал:

— Согласно вашему приказанию, я привел к вам, святые мужи, преступника Ликона. Хотите увидеть его лицо?

Когда они выразили согласие, начальник полиции встал и снял с арестованного мешок.

Оба верховных жреца вскрикнули от изумления. Грек действительно был настолько похож на наследника престола, что трудно было не поддаваться обману.

— Так это ты, Ликон, певец языческого храма Ашторет? — спросил связанного грека жрец Сэм.

Ликон презрительно усмехнулся.

— И ты убил ребенка наследника? — спросил, в свою очередь, Мефрес.

Грек посинел от злости и дернулся, пытаясь разорвать связывающие его путы.

— Да, — вскричал он, — я убил щенка, потому что не мог найти его отца — волка... да сожжет его огонь небесный!

— Чем он провинился перед тобой, убийца? — спросил с негодованием Сэм.

— Чем провинился? Он похитил у меня Каму и ввергнул ее в болезнь, от которой нет исцеления. Я был свободен, у меня было достаточно средств, чтобы бежать, спастись, но я решил отомстить, и вот я перед вами... Его счастье, что ваши боги сильнее моей ненависти. Теперь вы можете меня убить... И чем скорее, тем лучше.

— Это страшный преступник, — сказал верховный жрец Сэм.

Мефрес молчал и вглядывался в сверкающие злобой глаза грека. Он поражен был его смелостью и, видно, о чем-то раздумывал. Вдруг он обратился к начальнику полиции.

— Вы можете уйти, почтеннейший. Этот человек принадлежит нам.

— Этот человек, — возразил возмущенный начальник, — принадлежит мне. Я поймал его и получу награду от царевича.

Мефрес встал и, вынув спрятанную золотую медаль, заявил:

— От имени верховной коллегии, членом которой я являюсь, приказываю тебе отдать нам этого человека. Помни, что его существование является высшей государственной тайной, и для тебя будет во сто крат лучше, если ты совсем забудешь, что его тут оставил.

Начальник полиции снова пал ниц и, поднявшись, удалился, еле сдерживая гнев.

«Вам оплатит за это наш господин, наследник престола, когда станет фараоном, — думал он, — а я прибавлю вам и свою долю — вот увидите!»

Стоявшие у ворот агенты спросили его, где арестованный.

— На арестованном, — ответил он, — почил рука богов.

— А наше вознаграждение? — нерешительно спросил старший агент.

— И на нашем вознаграждении тоже почил рука богов, — сказал начальник. — Убедите себя, что вам только снился этот узник, это будет для вас гораздо полезнее и безопаснее.

Агенты молча опустили головы. В душе, однако, они поклялись отомстить жрецам, лишившим их такого хорошего заработка.

После ухода начальника полиции Мефрес позвал нескольких жрецов и каждому из них шепнул что-то на ухо. Жрецы окружили грека и увели его из священной обители. Ликон не сопротивлялся.

— Я думаю, — сказал Сэм, — что этот человек, как убийца, должен быть предан суду.

— Никоим образом, — решительно ответил Мефрес. — На этом человеке тяготеет несравненно большее преступление: он похож: на наследника престола.

— И что ж вы с ним сделаете?

— Я сохраню его для верховной коллегии, — ответил Мефрес. — Там, где наследник престола посещает языческие храмы и похищает из них женщин, где стране угрожает война, а власти жрецов — бунт, там Ликон может пригодиться...

На следующий день в полдень верховный жрец Сэм, номарх и начальник полиции явились в темницу к Сарре. Несчастливая не ела уже несколько дней и была так слаба, что даже не встала со скамьи при входе стольких знатных лиц.

— Сарра, — сказал номарх, которого она знала лучше других, — мы приходим к тебе с доброй вестью.

— С доброй вестью? — проговорила она равнодушно. — Мой сын умер — вот последняя весть. Груди мои переполнены молоком, а сердце — жестокой печалью.

— Сарра, — продолжал номарх, — ты свободна. Не ты убила ребенка.

Мертвенные черты ее оживились. Она соскочила со скамьи и крикнула:

— Я убила! Я! Я одна!

— Слушай, Сарра, твоего сына убил мужчина, грек, по имени Ликон, любовник финикийки Камы...

— Что? Что ты говоришь? — прошептала она, хватая его за руку. — О, эта финикийка! Я чувствовала, что она погубит нас. Но грек... Я не знаю никакого грека. Чем мог провиниться перед греком мой сын?

— Этого я не знаю, — сказал номарх. — Ликона нет больше в живых. Послушай, однако, Сарра: этот человек был так похож на царевича Рамсеса, что, когда он вошел в твою комнату, ты признала его за своего господина и предпочла обвинить самое себя, чем нашего государя.

— Так это был не Рамсес? — крикнула она, хватаясь за голову. — И я, несчастная, позволила чужому человеку взять моего сына из колыбели... Ха-ха-ха!

Она продолжала смеяться, но все тише и тише; вдруг ноги у нее подкосились; вскинув несколько раз руками, она рухнула на землю и так и умерла — смеясь.

Но на лице ее осталось выражение неизъяснимой скорби, которую не могла стереть даже смерть.

Западной границей Египта на протяжении ста с лишком миль является гряда изрезанных ущельями голых известковых возвышенностей высотой в несколько сот метров. Она тянется вдоль Нила и местами удалена от него на целый километр.

Если бы кто-либо поднялся на один из гребней и повернулся лицом к северу, его глазам представилось бы весьма своеобразное зрелище: справа уходящий вдаль узкий зеленый луг, прорезанный Нилом, а слева — бесконечная желтая равнина с крапленными в нее белыми или кирпично-красными пятнами.

Однообразие вида, назойливая желтизна песка, зной, а в особенности эта безбрежность пространства — вот главные черты Ливийской пустыни, которая простирается к западу от Египта.

Если, однако, присмотреться поближе, пустыня покажется не столь однообразной. Ее пески не ложатся ровно, а образуют ряд высоких валов, напоминающих вздыбленные волны застывшего в своем буйстве моря.

У кого хватило бы смелости идти по этому морю час, два, а то и целый день на запад, тот увидел бы новое зрелище: на горизонте появляются холмы, иногда скалы и кручи самой причудливой формы. Песок под ногами становится менее глубоким, и из-под него начинает выступать, словно материк из океана, известковая порода.

Это действительно целая страна среди песчаного моря. Рядом с известковыми холмами видны долины, на дне их — русла рек и ручьев. Дальше — равнина, а посреди нее озеро с извилистой линией берегов и глубоко вогнутым дном.

Но в этих долинах и на холмах нет ни былинки, в озере ни капли воды, русла рек пересохли. Это мертвый край, где не только погибла всякая растительность, но даже плодородный слой почвы истерся в пыль или впитался в твердую породу. Здесь произошла удивительнейшая вещь: природа умерла, от нее остался только скелет и прах, который разлагается вконец под воздействием зноя и переносится с места на место жарким ветром.

За этим умершим и непогребенным материком тянется опять море песку, среди которого там и сям видны остроконечные конусы, поднимающиеся иногда до высоты одноэтажного дома. Верхушка такого конуса заканчивается пучком серых, запыленных листьев, о которых трудно сказать, что они живут; они только не могут окончательно увянуть.

Странный конус означает, что в этом месте вода еще не высохла, но скрылась от зноя под землю и кое-как поддерживает влажность почвы. Сюда упало семя тамаринда, и с большим трудом выросло растение. Но владыка пустыни — тифон — заметил его и понемногу стал засыпать песком. И чем сильнее тянется растение кверху, тем выше подымается удушающий его песчаный конус. Заблудившийся в пустыне тамаринд похож: на утопленника, тщетно простирающего руки к небу.

И снова разливается бесконечное желтое море со своими песчаными волнами и жалкими остатками растительности.

Но вот перед вами скалистая стена, и в ней расселины, словно ворота... Что это? Вы не верите собственным глазам! За одними из этих ворот открывается зеленая долина — пальмы, голубые воды озера. Видны даже пасущиеся овцы, рогатый скот и лошади, между ними суетятся люди; вдали на склонах скал лепится целый городок, а на вершинах белеют стены храмов.

Это оазис, остров среди песчаного океана.

Таких оазисов во времена фараонов было очень много, быть может, несколько десятков. Они составляли цепь пустынных островков, которая тянулась вдоль западной границы Египта. Лежали они на расстоянии десяти, пятнадцати, двадцати миль от Нила и занимали пространство в десяток или несколько десятков квадратных километров каждый.

Воспеваемые арабскими поэтами как преддверия рая, оазисы эти в действительности никогда ими не были. Их озера — это большей частью болота. Из подземных источников струится теплая, иногда зловонная и отвратительно соленая вода; их растительность не может сравниться с буйной растительностью Египта. Но все же эти уединенные места в пустыне казались чудом путникам, находившим в них немного зелени, радующей глаз, немного влаги, прохлады, фиников.

Такие островки среди песчаного моря были населены неодинаково: от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Жили здесь ливийские, египетские, эфиопские авантюристы или их потомки, ибо сюда бежали люди, которым нечего было терять: каторжники из каменоломен, преследуемые полицией преступники, крестьяне, обремененные барщиной, или работники, предпочитавшие опасность непосильной работе.

Большая часть этих беглецов погибала в пути. Некоторым после неопишуемых мучений удавалось добраться до оазиса, где они вели жалкую, но свободную жизнь, всегда готовые вторгнуться в Египет для разбоя.

Между пустыней и Средиземным морем тянулась длинная, хотя и не очень широкая полоса плодородной земли, заселенная различными племенами, которые египтяне называли ливийцами. Часть их занималась земледелием, другая — рыбной ловлей или мореплаванием. Но среди каждого из этих племен всегда выделялись шайки головорезов, предпочитавших войну и грабеж мирному труду. Это дикое разбойничье население вымирало от нищеты или погибало в военных походах, но постоянно пополнялось притоком сардинян (шардана) и сицилийцев (шекелеша), которые в то время были еще большими варварами и разбойниками, нежели коренные ливийцы.

Так как Ливия соприкасалась с западной границей Нижнего Египта, то варвары часто грабили земли фараона, неся за это суровую кару. Убедившись, однако, что война с ливийцами ни к чему не ведет, фараоны или, вернее, жрецы изменили

политику. Они разрешили коренным ливийским семьям селиться на приморских болотах Нижнего Египта, а разбойников и авантюристов вербовать в армию и получали в большинстве случаев отличных солдат.

Таким образом государство обеспечило себе на западной границе мир и спокойствие. Чтобы удержать в повиновении ливийских разбойников-одиночек, достаточно было полиции, полевой охраны и нескольких регулярных египетских полков, расставленных вдоль Канопского рукава Нила.

В таком положении находилась Ливия около ста восьмидесяти лет. Последнюю большую войну с ливийцами вел еще Рамсес III; он оставил на поле брани целые горы рук, отсеченных у павших врагов, и привез в Египет тринадцать тысяч невольников. С тех пор никто не боялся нападения со стороны Ливии, и лишь на склоне царствования Рамсеса XII непонятная политика жрецов вновь разожгла в тех местах огонь войны.

Вспыхнула же она по следующему поводу.

Военному министру и верховному жрецу Херихору вследствие сопротивления фараона не удалось заключить с Ассирией договора о разделе земель Азии. Помня, однако, о предостережении Берозса и желая сохранить с ассирийцами длительный мир, Херихор заверил Саргона, что Египет не будет мешать им вести войну с восточными и северными азиатскими государствами. Но так как уполномоченный посол царя Ассара, по-видимому, не доверял обещаниям и клятвам, Херихор решил дать ему наглядное доказательство миролюбия и с этой целью приказал немедленно распустить двадцать тысяч наемных солдат, преимущественно ливийцев.

Для ни в чем не повинных солдат, всегда сохранявших верность фараону, расформирование явилось ударом, почти равносильным смертной казни. Перед Египтом открывалась опасность войны с Ливией, которая никоим образом не могла дать пристанища этой массе людей, привыкших к привольной солдатской жизни, а не к труду и нужде. Но Херихора и жрецов не смущали такие мелочи, когда дело касалось крупных государственных интересов. А роспуск ливийских наемников нес с собой действительно большие выгоды.

Во-первых, Саргон и его советники подписали и скрепили клятвой договор с Египтом на десять лет, в течение которых, по предсказаниям халдейских жрецов, над святой Египетской землей тяготел злой рок.

Во-вторых, роспуск двадцати тысяч солдат приносил казне фараона четыре тысячи талантов экономии, что тоже было очень важно.

В-третьих, война с Ливией на западной границе могла дать выход героическим порывам наследника престола и надолго отвлечь его от азиатских дел и от восточной границы. Херихор и верховная коллегия вполне основательно полагали, что пройдет несколько лет, пока ливийцы, истощив силы в партизанской войне, запросят мира.

План был хорошо задуман. Но авторы его допустили одну ошибку: они не предусмотрели, что в царевиче Рамсесе живет дух гениального полководца.

Расформированные ливийские полки, грабя по дороге, очень быстро добрались до родины, тем более что Херихор не велел нигде их задерживать. Первые же из них, достигнув Ливийской земли, стали рассказывать своим землякам всякие небылицы. По их словам, которые подсказывались озлоблением и личными интересами, Египет был сейчас не менее слаб, чем девятьсот лет назад, во времена гиксосов, а казна фараона настолько пуста, что богоравному властелину волей-неволей пришлось распустить ливийцев, составлявших, как они говорили, лучшую, если не единственную годную часть его армии. Они уверяли, что египетской армии вообще не существует, если не считать горсточку ничего не стоящих солдат на восточной границе. Между его святейшеством фараоном и жрецами нелады. Зарботок работникам не выплачивается, крестьян душат поборами, а потому народ готов к восстанию, если только ему будет обещана помощь. И это еще не все: номархи, которые были когда-то независимыми правителями и время от времени вспоминают о своих былых правах, сейчас, видя слабость правительства, готовятся свергнуть и фараона и верховную коллегия жрецов!..

Вести эти, как стая птиц, облетели ливийское побережье и всюду принимались с полным доверием. Разбойники и варвары всегда были готовы к нападению, а тем более сейчас, когда бывшие солдаты и офицеры фараона уверяли их, что ограбить Египет — ничего не стоит. Зажиточные и благоразумные ливийцы тоже поверили изгнанным легионерам, ибо для них уже давно не было тайной, что египетская знать нищает, что фараон не пользуется полнотой власти, а крестьяне и работники, толкаемые нуждой, поднимают бунты.

И вот вся Ливия заволновалась. Изгнанных солдат и офицеров встречали как глашатаев благой вести. А так как страна была нищая и не располагала запасами для гостей, то, чтобы поскорее избавиться от пришельцев, решено было тотчас же начать войну с Египтом.

Даже хитрый и умный ливийский князь Муссаваса дал себя увлечь общему течению. Но его склонили к этому не пришельцы, а какие-то почтенные и сановные люди, очевидно, агенты египетской верховной коллегии.

Эти вельможи, не то недовольные положением в Египте, не то обиженные на фараона и жрецов, прибыли в Ливию со стороны моря. Прячась от черни и избегая разговоров с изгнанными солдатами, они убеждали Муссавасу, под величайшим секретом и с доказательствами в руках, что как раз теперь время напасть на Египет.

— Ты найдешь там, — говорили они ему, — неиссякаемую сокровищницу и житницу для себя, для своих людей и для внуков их внуков.

Муссаваса, хитроумный полководец и дипломат, дал, однако, поймать себя в ловушку. Как человек энергичный, он сейчас же провозгласил священную войну

против Египта и, имея под рукой тысячи храбрых воинов, бросил первый корпус на восток под начальством своего сына, двадцатилетнего Техенны.

Старый варвар знал, что такое война, и понимал, что тот, кто хочет победить, должен действовать быстро и наносить удары первым.

Подготовка длилась очень недолго. Бывшие солдаты фараона пришли, правда, без оружия, но знали свое дело, а в те времена дела с оружием обстояли несложно. Несколько ремешков или кусочков бечевки для пращи, копье или заостренный шест, топор или тяжелая палица, мешок камешков на одном боку и фиников на другом — вот и все.

Итак, Муссаваса дал своему сыну Техенне две тысячи бывших наемников фараона и около четырех тысяч ливийской голытьбы и приказал немедленно вторгнуться в Египет, награть, что удастся, и приготовить запасы для настоящей армии. Сам же, собирая более крупные силы, разослал гонцов по оазисам, призывая под свои знамена всех, кому нечего терять.

Давно не было в пустыне такого оживления. Из каждого оазиса толпами шла такая отчаянная голытьба, что хотя на этих людях уже ничего не было, их нельзя было назвать иначе, как оборванцами.

Опираясь на доводы своих советчиков, которые месяц назад были офицерами фараона, Муссаваса вполне основательно предполагал, что его сын успеет разграбить несколько деревень и городков от Тереметиса до Сенти-Нофера[115], прежде чем наткнется на сколько-нибудь значительные египетские силы. Кроме того, ему сообщили, что при первых же слухах о движении ливийцев не только разбежались все работники большого стекольного завода, но даже отступили войска, занимавшие крепость в Сохет-Хемау на берегу Содовых озер.

Это было для ливийцев весьма благоприятное предзнаменование, потому что стекольный завод представлял солидный источник доходов для фараоновой казны.

Но Муссаваса допустил ту же ошибку, что и верховная коллегия жрецов; он не угадал в Рамсесе гениального полководца.

И произошло то, чего никто не ожидал: не успел первый ливийский корпус добраться до окрестностей Содовых озер, как там уже оказалась вдвое большая армия наследника египетского престола.

Нельзя было даже упрекнуть ливийцев в непредусмотрительности. Техенна и его штаб создали вполне приличную разведку. Лазутчики неоднократно побывали в Мелкате, Навкратисе, Саи[116], Менуфе и переплывали Канонопский и Больбитинский рукава Нила, но нигде не встретили войск, движение которых, очевидно, задерживал разлив, — напротив, повсюду видели переполох среди оседлого населения, которое бежало из пограничных областей. Немудрено поэтому, что они приносили своему военачальнику самые утешительные вести. А тем временем армия царевича Рамсеса, несмотря на разлив, через восемь дней после мобилизации достигла границ пустыни и, снабженная водой и

продовольствием, скрылась в горах у Содовых озер. Если бы Техенна мог, как орел, взлететь над становищами своего войска, он в ужасе увидел бы, что во всех ущельях этой местности скрываются египетские полки и что с минуты на минуту его корпус будет окружен.

18

Как только войска Нижнего Египта вышли из Бубаста, сопровождавший наследника пророк Ментесуфис стал получать и отправлять по несколько срочных сообщений ежедневно.

Он вел переписку с министром Херихором, посылая ему в Мемфис донесения о передвижении войск и о действиях наследника, о которых он отзывался с нескрываемым восторгом. Херихор же давал свои указания в том смысле, чтобы наследнику была предоставлена полная свобода, поясняя, что, если Рамсес даже проиграет первое сражение, верховная коллегия не очень этим огорчится.

«Небольшая военная неудача, — писал Херихор, — явится для царевича Рамсеса уроком осторожности и смирения, ибо он уже сейчас, еще ничего не сделав, считает себя равным самым опытным полководцам».

Когда же Ментесуфис ответил, что трудно предположить, чтобы наследник потерпел поражение, Херихор дал ему понять, что победе не следует придавать слишком большого значения.

«Государство, — писал он, — нисколько не пострадает от того, что воинственный и пылкий наследник престола будет в течение нескольких лет развлекаться войной на западной границе. Сам он приобретет опыт в военном искусстве, а обленившиеся и обнаглевшие солдаты наши найдут подходящее для себя занятие».

С другой стороны, Ментесуфис вел переписку с жрецом Мефресом, и эта переписка казалась ему более важной. Мефрес, обиженный когда-то наследником, сейчас, пользуясь тем, что убит ребенок Сарры, прямо обвинял Рамсеса в этом преступлении, которое было якобы совершено им под влиянием Камы. Когда же обнаружилась невиновность Рамсеса, жрец, еще более раздраженный этим, не переставал утверждать, что царевич, как враг отечественных богов и союзник презренных финикиян, способен на все.

Дело об убийстве ребенка Сарры вызывало первые дни столько подозрений, что даже верховная коллегия в Мемфисе запросила у Ментесуфиса его мнения. Но Ментесуфис ответил, что, все время наблюдая за царевичем, он ни на минуту не допускает, чтобы тот мог быть убийцей.

Эти письма, словно стая хищных птиц, кружили над Рамсесом, пока он рассылал разведчиков, выслеживал неприятеля, совещался с военачальниками, подбадривал солдат.

Четырнадцатого числа вся армия наследника сосредоточилась к югу от города Тереметис. К великой радости Рамсеса, сюда явился Патрокл с греческими

полками, а вместе с ними жрец Пентуэр, присланный Херихором в качестве; второго наблюдателя.

Присутствие жрецов (кроме названных, были еще и другие) было не очень приятно Рамсесу, но он решил не обращать на них внимания и во время военных советов даже не спрашивал их мнения.

В конце концов отношения как-то наладились. Ментесуфис, согласно приказанию Херихора, не навязывал царевичу своей воли, Пентуэр же занялся организацией врачебной помощи раненым.

Военная игра началась.

Прежде всего Рамсес, при посредстве своих агентов, распространил по многим пограничным селениям слух, что ливийцы выступили огромными массами и будут беспощадно грабить и убивать. Перепуганное население стало уходить на восток и наткнулось на египетские полки. Тогда наследник заставил мужчин нести тяжести за армией, а женщин и детей отправил в глубь страны.

Затем главнокомандующий послал навстречу приближающимся ливийцам лазутчиков, чтобы выведать их количество и расположение. Лазутчики вскоре вернулись с точными сведениями относительно расположения, но весьма преувеличенными относительно численности неприятеля. Так же неправильно, хотя и весьма настойчиво, утверждали они, что во главе ливийских полчищ вместе со своим сыном Техенной идет сам Муссаваса.

Юный полководец даже покраснел от радости, что в первой же войне столкнется с таким опытным противником.

Преувеличивая опасность столкновения, Рамсес удваивал осторожность. Чтобы все преимущества были на стороне египтян, он прибегнул к хитрости. Он послал навстречу ливийцам доверенных людей, приказав им под видом перебежчиков проникнуть в неприятельский лагерь и отвлечь от Муссавасы его главную силу — изгнанных из Египта ливийских солдат.

— Скажите им, — заявил Рамсес своим агентам, — что у меня готовы топоры для непокорных, но что я буду снисходителен к сдающимся. Если в предстоящем сражении они бросят оружие и покинут Муссавасу, я приму их обратно в армию его святейшества и велю уплатить им жалованье сполна, как если бы они не уходили со службы.

Патрокл и другие военачальники признали эту меру весьма разумной, жрецы же молчали, а Ментесуфис отправил Херихору срочное донесение и спустя сутки получил ответ.

Окрестности Содовых озер представляли собою долину длиной в несколько десятков километров, замкнутую двумя горными цепями, которые тянулись с юго-востока на северо-запад. Ширина этой долины нигде не превышала десяти километров, но были места и значительно более узкие, чем ущелья.

По всей долине тянулись одно за другим около десяти сильно заболоченных озер с горько-соленой водой. Там рос жалкий кустарник и постоянно засыпаемые песком травы, которые не ело ни одно животное. По обеим сторонам долины торчали зазубренные известковые скалы или тянулись беспредельные песчаные наносы, в которых можно было утонуть. Вся местность, окрашенная в желтый и белый цвета, производила впечатление гнетущей мертвенности, которую еще усиливали зной и безмолвие. Ни одна птица не оглашала здесь воздух своим пением, а если где-нибудь и раздавался шум, то разве только от скатывающегося камня.

Посреди долины возвышались две группы построек, отстоящих друг от друга на несколько километров. Это были: с востока — крепостца, а с запада — стекольный завод, куда топливо доставлялось ливийскими торговцами. Оба эти места по случаю военной тревоги были покинуты населением. Корпус Техенны должен был занять и укрепить оба эти пункта, обеспечивавшие армии Муссавасы проход к Египту.

Ливийцы медленно подвигались от города Главка[117] и наконец вечером четырнадцатого атира очутились у долины Содовых озер, уверенные, что пройдут ее в два перехода, не встретив препятствий. В тот же день, с закатом солнца, египетская армия тронулась по направлению к пустыне и, за двадцать часов пройдя по пескам более сорока километров, на следующее утро очутилась на возвышенностях между крепостцой и стекольным заводом и укрылась в бесчисленных ущельях.

Если бы в ту ночь кто-нибудь сказал ливийцам, что в долине Содовых озер выросли пальмы и пшеница, они меньше удивились бы, чем тому, что им преградила путь египетская армия.

После непродолжительного привала, во время которого жрецам удалось открыть и вырыть несколько колодцев с довольно сносной питьевой водой, египетская армия стала занимать северное взгорье, тянувшееся вдоль долины.

План наследника был прост: он хотел отрезать ливийцев от их родины и загнать к югу в пустыню, где голод и зной уничтожат рассеянные отряды.

С этой целью он построил армию на северной стороне долины, разделив ее на три корпуса. Правым крылом, наиболее выдвинутым в сторону Ливии, командовал Патрокл, получивший приказ отрезать нападающим пути к отступлению на Главк; левым крылом, ближайшим к Египту, — Ментесуфис, который должен был преградить ливийцам путь вперед. Командование же центральным корпусом в окрестностях стекольного завода принял на себя сам наследник, имея при себе Пентуэра.

Пятнадцатого атира, около семи часов утра, несколько десятков ливийских всадников крупной рысью проскакали через долину, немного передохнули у стекольного завода, осмотрелись кругом и, не заметив ничего подозрительного, повернули к своим.

В десять часов утра, когда стоял палящий зной и люди, казалось, исходили кровавым потом, Пентуэр сказал наследнику:

— Ливийцы уже вступили в долину и проходят мимо отряда Патрокла. Через час они будут здесь.

— Откуда ты это знаешь? — спросил с удивлением царевич.

— Жрецам все известно, — ответил с улыбкой Пентуэр.

Потом осторожно взобрался на одну из скал, вынул из мешка какой-то блестящий предмет и, повернувшись в сторону отряда святого Ментесуфиса, стал делать рукой какие-то знаки.

— И Ментесуфис уже извещен, — сказал он Рамсесу, спускаясь вниз.

Царевич не мог прийти в себя от изумления.

— У меня глаза лучше твоих и слух, я думаю, не хуже, однако я ничего не вижу и не слышу, — сказал он. — Каким же образом ты замечаешь издали неприятеля и общаешься с Ментесуфисом?

Пентуэр предложил наследнику взглянуть на какой-то отдаленный холм, на вершине которого торчали кусты терновника. Рамсес посмотрел на эту точку и невольно заслонил глаза: в кустах что-то сверкнуло.

— Какой нестерпимый блеск! — воскликнул он. — Можно ослепнуть!

— Этот жрец, состоящий при генерале Патрокле, подает нам сигналы, — ответил Пентуэр. — Как видишь, досточтимый государь, и мы можем пригодиться на войне.

Он замолчал.

Из глубины долины до них донесся какой-то шум, сперва чуть слышный, потом все более и более явственный.

Заслышав шум, прижавшиеся к склону горы египетские солдаты стали вскакивать, осматривать оружие, перешептываться... Но короткая команда офицеров успокоила их, и снова над скалами воцарилась мертвая тишина.

Тем временем шум вдали усиливался и перешел в гул; в общем звучании множества голосов можно было различить песни, звуки флейт, скрип вожов, лошадиное ржание и команду предводителей. У Рамсеса сердце забило сильнее. Он не мог больше сдерживать любопытства и вскарабкался на скалистый выступ, откуда видна была значительная часть долины.

Там, окруженный клубами желтоватой пыли, медленно подвигался ливийский корпус, растянувшись на несколько верст, словно змея, кожа которой испещрена красными, синими и белыми пятнами. Впереди ехало десятка полтора всадников; один из них — видный, в белой одежде — сидел на лошади, как на скамье, свесив обе ноги на левую сторону. За всадниками следовала толпа пращников в серых рубахах, потом какой-то вельможа в носилках, под огромным зонтом. Дальше

шел отряд копьеносцев в синих и красных одеждах, потом огромная толпа почти голых людей, вооруженных палицами, опять пращники и копьеносцы, снова пращники, а за ними вооруженные косами и топорами люди в красном. Шли они приблизительно по четыре в ряд. Но, несмотря на окрики офицеров, порядок все время нарушался и следовавшие друг за другом четверки сбивались в кучу.

С шумом и песнями ливийская змея медленно выползла в самую широкую часть долины, напротив завода и озер. Здесь строй сбился еще больше. Шедшие впереди остановились, так как им было сказано, что в этом месте будет привал; задние же ускорили шаг, чтобы поскорее дойти до цели и отдохнуть. Некоторые выбегали из рядов и, кинув оружие на землю, бросались в озеро или зачерпывали из него рукой вонючую воду; другие, присев на песок, доставали из мешка финики или пили из глиняных фляг воду с уксусом.

Высоко над лагерем кружило несколько ястребов.

При виде этой картины Рамсеса охватила невообразимая скорбь и страх. Перед глазами замелькали черные точки, голова закружилась, — в эту минуту он готов был отказаться от трона, лишь бы очутиться в другом месте и не видеть всего, что будет. Он соскользнул вниз и безумным взглядом смотрел вперед.

В это время к нему подошел Пентуэр и сильно тряхнул его за плечо.

— Очнись, государь, — сказал он. — Патрокл ожидает приказа...

— Патрокл? — повторил Рамсес и повернулся.

Перед ним стоял Пентуэр, бледный, но спокойный. Немного дальше тоже бледный Тутмос держал в дрожащей руке офицерский свисток. Из-за холма выглядывали солдаты, на лицах которых видно было глубокое волнение.

— Рамсес, — повторил Пентуэр, — войска ждут приказа...

Царевич с отчаянной решимостью посмотрел на жреца и сдавленным голосом произнес:

— Начнем...

Пентуэр поднял кверху свой блестящий талисман и начертил им несколько знаков в воздухе. Тутмос тихо свистнул, свист этот повторился в отдаленных ущельях справа и слева, и египетские пращники стали карабкаться на холмы.

Был полдень.

Рамсес постепенно пришел в себя и внимательно осмотрелся кругом. Он видел свой штаб, отряд копьеносцев и секироносцев под командой старых офицеров и, наконец, пращников, медленно взбирающихся на скалы... Он был уверен, что никто из этих людей не хочет не только погибнуть, но даже драться и шевелиться под этим палящим зноем.

Вдруг с вершины одного из холмов раздался громоподобный голос, мощный, как львиный рык:

— Солдаты его святейшества фараона, сокрушите этих ливийских собак! С вами боги!

И в ответ тотчас же прозвучал протяжный боевой клич египетской армии и оглушительный рев ливийцев.

Наследник, которому незачем уже было скрываться, поднялся на холм, откуда хорошо была видна картина боя. Длинной цепью растянулись египетские пращники, точно выросшие из-под земли, а в нескольких сотнях шагов от них кишели, утопая в клубах пыли, ливийские орды. Послышались звуки рожков, свистки и проклятия неприятельских офицеров, призывающих к порядку. Те, что отдыхали, вскочили с места, те, что пили воду, схватив оружие, бросились к своим; среди сутолоки и криков беспорядочная толпа стала строиться в шеренги.

Тем временем египетские пращники метали по нескольку камней в минуту, размеренно, спокойно, как на ученье. Начальники указывали своим отрядам группы неприятелей, и солдаты в несколько минут засыпали их градом свинцовых пуль и камней. Рамсес видел, как после каждого такого залпа группа рассеивалась, часто оставляя на месте какого-нибудь солдата.

Все же ливийцам удалось построиться в ряды и отступить за линию нападения; вперед выступили их пращники и с такой же быстротой и спокойствием стали отвечать египтянам. Время от времени в их цепи раздавался смех и крик ярости — это означало, что от их ударов падал кто-нибудь из египетских пращников.

Вскоре камни стали свистеть над головой царевича и его свиты. Ловким ударом одному из адъютантов перебило плечо, у другого сбросило шлем с головы, третий камень упал у ног наследника, разбился о скалу и засыпал ему лицо осколками, обжигаящими, как кипяток.

Ливийцы громко хохотали, выкрикивая что-то; быть может, проклятия вражескому полководцу.

Страх, жалость и пронизывающая все его существо скорбь в одно мгновение покинули Рамсеса. Он не видел больше людей, которым угрожали муки и смерть; перед ним были дикие звери, которых надо было истребить или обезвредить. Машинально протянул он руку к мечу, чтобы повести в наступление ожидавших приказа копьеносцев, но его остановило чувство гадливости. Он не станет пятнать себя кровью этой гольтьбы!.. На что тогда солдаты?

Тем временем борьба продолжалась, и отважные ливийские пращники, с криками и даже с песнями, стали подвигаться вперед. С обеих сторон снаряды жужжали, как шмели, гудели, как рой пчел, и, встречаясь в воздухе, с треском ударялись друг о друга. Поминутно то на той, то на другой стороне кто-нибудь из воинов со стоном уходил в тыл или падал мертвым. Это не останавливало, однако, других; они дрались с яростью, переходившей в неукротимое бешенство и самозабвение.

Вдруг вдалеке на правом крыле раздались звуки рожков и многократно повторяемые крики. Это неустрашимый Патрокл, с утра успевший уже напиться, ринулся на передний отряд неприятеля.

— В атаку! — скомандовал царевич.

Приказ тотчас же был повторен: зазвучал рожок, один, другой... десятый, и мгновенно из всех ущелий стали выползать египетские сотники. Рассыпавшиеся по холмам пращники удвоили свое рвение, а тем временем в долине против ливийцев не спеша, но зато в полном порядке, выстраивались колонны египетских копьеносцев и секироносцев.

— Усилить центр! — скомандовал наследник.

Рожок повторил приказ.

За двумя колоннами первой линии встали еще две колонны.

Не успели египтяне под градом камней и стрел закончить этот маневр, как ливийцы по их примеру построились в восемь рядов против главного корпуса.

— Подтянуть резервы! — приказал наследник. — Посмотри-ка, — обратился он к одному из адъютантов, — готово ли левое крыло?

Адъютант, чтобы лучше охватить взором долину, побежал туда, где дрались пращники, и вдруг упал, но, падая, успел сделать знак рукой. Вместо него бросился вперед другой офицер и быстро вернулся с сообщением, что оба фланга корпуса, которым командовал наследник, находятся в полной готовности.

Шум со стороны отряда Патрокла усиливался, и вдруг над вершинами холмов поднялись густые клубы черного дыма. К Рамсесу подбежал офицер с донесением от Пентуэра, что греческие полки подожгли лагерь ливийцев.

— Прорвать центр! — скомандовал наследник.

Несколько рожков один за другим заиграли сигнал «в атаку». Когда они смолкли, в центральной колонне раздалась команда, ритмическая дробь барабанов и мерный топот пехоты.

— Раз... два!.. раз... два!.. раз... два!..

Команда была повторена на правом и на левом флангах. Снова затрещали барабаны, и фланговые колонны двинулись вперед: раз... два!.. раз... два!..

Ливийские пращники начали отступать, засыпая египетские войска камнями. И хотя то и дело падал какой-нибудь солдат, колонны продолжали идти мерным шагом, не нарушая строя: раз... два!.. раз... два!..

Желтые клубы пыли, отмечая движение египетских батальонов, становились все гуще и гуще. Пращники не могли уже метать камни; воцарилась сравнительная тишина, среди которой раздавались стоны и вопли раненых воинов.

— Они даже на учениях редко так маршировали, — заметил царевич, обращаясь к своему штабу.

— Сегодня они не боятся палок, — пробурчал старый офицер.

Расстояние между наступающими войсками египтян и ливийцами уменьшалось с каждой минутой, но варвары стояли недвижимо, а за их линией появилась какая-то длинная тень. Очевидно, к центру, которому грозила мощная атака, подходило подкрепление.

Наследник сбежал с холма и вскочил на лошадь. Из ущелий выступили последние египетские резервы и, построившись, ожидали приказа. За пехотой показалось несколько сот азиатских всадников на низкорослых, но выносливых лошадях. Царевич поскакал за атакующими, и шагов через сто ему попался новый холм, невысокий, но с которого можно было обозреть все поле сражения. Свита, азиатские конники, резервная колонна спешили следом.

Рамсес нетерпеливо посмотрел в сторону левого фланга, откуда должен был появиться Ментесуфис, но его не было. Ливийцы стояли, не двигаясь с места. Положение с каждой минутой становилось серьезнее.

Корпус Рамсеса был самый мощный, но против него были выставлены почти все силы ливийцев. Количественно обе стороны были равны. Наследник не сомневался в победе, но его волновала мысль, что такой сильный противник может нанести большой урон.

Впрочем, всякое сражение имеет свои неожиданности. На те силы, что брошены в атаку, влияние полководца уже не распространяется, их у него уже нет. В распоряжении царевича оставался только резервный полк и кучка кавалерии, и если какая-нибудь из египетских колонн будет разбита или к неприятелю подоспеют новые подкрепления...

Рамсес провел рукою по лбу. В этот момент он почувствовал всю ответственность главнокомандующего. Он был похож на игрока, который, поставив все, бросил уже кости и ждет, как они лягут.

Египтяне находились в нескольких десятках шагов от ливийских колонн. Команда... рожки... Барабанная дробь участилась, и шеренги пустились бегом: раз-два-три!.. раз-два-три!.. Но и со стороны неприятеля послышался рожок, спустились наперевес два ряда копий, затрещали барабаны. Бегом... Взвились новые клубы пыли и слились в один сплошной туман. Рев человеческих голосов, треск копий, душераздирающие стоны, мгновенно тонущие в общем шуме...

По всей линии боя уже не видно было ни людей, ни оружия, и лишь желтая пыль растянулась исполинской змеей. Более густая завеса тумана означала место, где колонны сбились в схватке, более редкая — где был разрыв.

После нескольких минут адского шума наследник заметил, что облако пыли на левом фланге постепенно загибается назад.

— Усилить левый фланг! — скомандовал он.

Половина резерва помчалась в указанном направлении и скрылась в желтом облаке. Но левый фланг уже выпрямился и одновременно правый стал медленно

продвигаться вперед. Центр же, имевший наибольшее значение, не двигался с места.

— Усилить центр! — скомандовал наследник.

Вторая половина резерва двинулась вперед и скрылась в клубах пыли. Крик на минуту усилился, но движения вперед не было видно.

— Здорово дерутся, негодяи! — обратился к наследнику старый офицер из свиты. — Как раз пора бы подойти Ментесуфису.

Царевич подозвал командира азиатской кавалерии.

— Посмотри-ка, туда, вправо, — сказал он, — там, должно быть, разрыв. Вклинься туда осторожно, чтобы не потоптать наших солдат, и ударь во фланг центральной колонны этих собак.

— Они, должно быть, на цепи: очень уж долго стоят на месте, — ответил со смехом азиат.

Он оставил с царевичем человек двадцать своих кавалеристов, а с остальными поскакал рысью исполнять приказ, выкрикивая: «Да живешь ты вечно, наш вождь!»

Зной был нестерпимый. Царевич напрягал зрение и слух, стараясь проникнуть сквозь стену пыли. Ждал... и ждал... Вдруг он вскрикнул от радости: среднее облако заколебалось и продвинулось вперед... Потом опять остановилось... опять продвинулось... И стало подвигаться медленно-медленно вперед...

Стоял такой гул, что трудно было понять, что он означает: ярость, победу или поражение.

Вдруг правый фланг ливийцев стал как-то странно выгибаться и отступать. Позади него показалось новое облако пыли. В то же время прискакал верхом Пентуэр и крикнул:

— Патрокл заходит ливийцам в тыл!

Замешательство на правом фланге увеличилось и стало приближаться к центру. Было видно, что ливийцы начинают отступать и что смятение охватывает даже главную колонну.

Весь штаб главнокомандующего лихорадочно следил за перемещением желтого облака. Вскоре беспорядок захватил и левый фланг. Там среди ливийцев уже началось бегство.

— Пусть я не увижу завтра солнца, если это еще не победа! — воскликнул старый офицер.

Прискакал гонец от жрецов, следивших с самого высокого холма за ходом сражения, и сообщил, что на левом фланге видны отряды Ментесуфиса и что ливийцы окружены с трех сторон.

— Они бежали бы уже все, как испуганные лани, — говорил, едва переводя дух, гонец, — если бы им не мешали пески.

— Победа! Живи вечно, наш вождь! — вскричал Пентуэр.

Был всего третий час.

Азиатские конники крикливыми голосами распевали песни, пуская в небо стрелы в честь царевича. Штабные офицеры спешили, бросились к ногам наследника, сняли его с седла и подняли вверх, возглашая:

— Вот могучий полководец! Ты растоптал врагов Египта! Амон стоит по твою правую и левую руку, кто же может противостоять тебе?

Тем временем ливийцы, все время отступая, поднялись на южные песчаные холмы, преследуемые египтянами. Теперь уже поминутно из облака пыли выплывали всадники и мчались к Рамсесу.

— Ментесуфис зашел им в тыл! — кричал один.

— Две сотни сдались! — кричал другой.

— Патрокл зашел им в тыл!

— У ливийцев захвачено три знамени: барана, льва и ястреба!

Вокруг штаба собиралось все больше и больше гонцов. Люди были все в крови и в пыли.

— Живи вечно! Живи вечно, наш вождь!

Царевич то смеялся, то плакал от возбуждения.

— Боги смилостивились надо мной, — говорил он свите. — Я думал, что мы проиграем... Печален жребий полководца, который не извлекает меча из ножен и ничего не видит, но должен отвечать за все.

— Живи вечно, победоносный полководец! — раздавались крики.

— Хороша победа, — рассмеялся царевич. — Я не знаю даже, как это получилось...

— Выиграл битву и сам удивляется, как это получилось! — крикнул кто-то из свиты.

— Говорю вам, я так и не знаю, что такое бой.

— Успокойся, государь, ты так мудро расставил войска, — ответил Пентуэр, — что неприятель должен был пасть. А каким образом? Это уже дело полков.

— Я даже не дотронулся до меча! Не видел ни одного ливийца! — жаловался царевич.

На южных взгорьях все еще клубилось и бурлило, но в долине пыль начинала уже оседать. Тут и там, точно сквозь дымку, видны были кучки египетских солдат с поднятыми вверх копьями.

Наследник повернул лошадь в ту сторону и помчался на покинутое поле сражения, где только что происходила схватка центральных колонн. Это была широкая площадь в несколько сот шагов, вся изрытая глубокими ямами, усеянная телами раненых и убитых. С той стороны, откуда подъехал царевич, валялись длинной цепью египтяне, потом ливийцы — их было больше, — затем попеременно египтяне и ливийцы, дальше — почти одни ливийцы.

Трупы лежали рядами, а кое-где по три-четыре трупа, один на другом. На песке темнели бурые пятна крови. Раны были ужасны: у одного отрезаны обе руки, у другого рассечена пополам голова до самого туловища, у третьего вывалились внутренности... Некоторые еще бились в предсмертных судорогах и изо рта, наполненного песком, вырывались проклятия или мольба о смерти.

Наследник быстро проехал мимо, не оглядываясь, хотя некоторые раненые приветствовали его слабеющими голосами. Немного дальше он встретил первую партию пленников, которые пали перед ним ниц, моля о пощаде.

— Обещайте милость побежденным, выразившим покорность, — приказал он свите.

Несколько всадников поскакали в разных направлениях.

Вскоре послышался звук рожка и вслед за тем громкий голос:

— По приказу наследника-главнокомандующего, раненых и пленников не убивать.

В ответ на это раздались смешанные крики, должно быть, пленных.

— По приказу главнокомандующего, — звучал певучий голос в противоположной стороне, — раненых и пленных не убивать!..

Между тем на южных холмах битва прекратилась, и два наиболее крупных соединения ливийцев сложили оружие перед греческими полками.

Доблестный Патрокл из-за жары, как он сам говорил, или от горячительных напитков, как полагали другие, едва держался в седле. Он вытер слезящиеся глаза и обратился к пленным.

— Паршивые псы, — кричал он, — поднявшие грешные руки на войска фараона! (Чтобы вас сожрали черви!) Вы будете раздавлены, как вши под ногтем благочестивого египтянина, если сейчас же не скажете, куда девался ваш предводитель. Чтоб ему проказа изъела ноздри и высосала гнойные глаза!..

В этот момент подъехал наследник. Патрокл почтительно приветствовал его, не прерывая допроса:

— Велю нарезать ремней из вашей кожи и всех посажу на кол, если не узнаю сейчас же, где эта ядовитая гадина, этот помет дикой свиньи, брошенный в навоз.

— Вот где наш предводитель! — воскликнул один из ливийцев, указывая на кучку всадников, медленно уходивших в глубь пустыни.

— Это что такое? — спросил наследник.

— Презренный Муссаваса спасается бегством! — ответил Патрокл, чуть было не свалившись с лошади.

Кровь ударила Рамсесу в голову.

— Так это Муссаваса? Спасается бегством? Эй! У кого там лучшие кони — за мной!

— Ну, теперь заревет этот разбойник, этот погонщик баранов, — расхохотался Патрокл.

Пентуэр преградил царевичу дорогу.

— Вашему высочеству нельзя преследовать беглецов.

— Как? — вспыхнул наследник. — За все время сражения я ни разу не поднял меча, а теперь должен выпустить из рук ливийского предводителя?.. Что скажут солдаты, которых я посылал под копыта и секиры?

— Армия не может оставаться без главы.

— Но здесь Патрокл, и Тутмос, и, наконец, Ментесуфис. Какой же я полководец, если мне запрещено преследовать врага! Ведь они всего в нескольких сотнях шагов и лошади у них измучены.

— Через какой-нибудь час мы будем здесь вместе с ними. Тут рукой подать, — говорили азиатские всадники.

— Патрокл! Тутмос! Оставляю на вас армию. Вы отдохните, а я сейчас же вернусь! — крикнул наследник и, пришпорив лошадь, пустился рысью, увязая в песке.

За ним последовали двадцать конников и Пентуэр.

— А ты зачем с нами, пророк? — спросил его царевич. — Ступай лучше спать. Ты оказал нам сегодня ценные услуги.

— Быть может, я еще пригожусь тебе, — ответил Пентуэр.

— Но сейчас оставайся... Я приказываю...

— Верховная коллегия поручила мне ни на шаг не отставать от тебя.

Наследника передернуло.

— А если мы попадем в засаду? — спросил он.

— Что ж, я и там буду с тобой, государь, — ответил жрец.

19

В его тоне было столько доброжелательности, что удивленный царевич не стал с ним спорить.

Они выехали в пустыню: шагах в двухстах позади была армия, а впереди, в нескольких сотнях шагов — убегающий враг, но как ни хлестали лошадей, — и те,

что убегали, и те, кто их догонял, — подвигались с большим трудом. Сверху на них лился нестерпимый солнечный зной; в рот, в нос, а главное, в глаза забивалась едкая пыль, а под ногами лошадей при каждом шаге осыпался раскаленный песок. В воздухе царил мертвенная тишина.

— Ведь все время так не будет, — сказал наследник.

— Будет еще хуже, — ответил Пентуэр. — Видишь, царевич, — указал он на бегущих, — у тех лошади увязают по колени.

Царевич рассмеялся. Как раз в это время они вступили на более твердую почву и шагов сто проехали рысью, но тотчас же дорогу преградило песчаное море, и им пришлось снова продвигаться, плетясь шаг за шагом.

Люди обливались потом, лошади стали покрываться пеной.

— Жарко! — прошептал царевич.

— Слушай, государь! — обратился к нему Пентуэр. — Неподходящий сегодня день для погони в пустыне. С самого утра священные насекомые проявляли большое беспокойство, а потом впали в оцепенение. И мой жреческий нож не входил в глиняные ножны, что означает необычайный зной. А оба эти явления — жара и оцепенение насекомых — предвещают, очевидно, ураган. Вернемся. Мы не только потеряли из глаз лагерь, но даже шум его не долетает до нас.

Рамсес посмотрел на жреца почти с презрением.

— И ты думаешь, пророк, что я, пообещав поймать Муссавасу, — сказал он, — могу вернуться ни с чем из страха перед зноем и ураганом?

Они продолжали продвигаться вперед. В одном месте почва стала опять твердой, благодаря чему они приблизились к убегающим на расстояние полета камня, пущенного из пращи.

— Эй, вы, там! — крикнул наследник, — сдавайтесь!

Ливийцы даже не оглянулись. С трудом брели они по песку. Можно было думать, что им уже не уйти. Но вскоре отряд наследника опять попал в глубокий песок, а те ускорили шаг и исчезли за буграми.

Азиаты выкрикивали проклятия. Царевич стиснул зубы.

Но вот лошади стали увязать еще глубже и останавливаться. Всадникам пришлось спешиться. Вдруг один из азиатов побагровел и упал на песок. Рамсес велел покрыть его плащом и сказал:

— Подберем на обратном пути.

С большим трудом добрались они до вершины песчаной возвышенности и увидели ливийцев; дорога и для них была очень тяжела, две лошади у них стали.

Египетский лагерь совсем скрылся из виду, и если бы Пентуэр и азиаты не умели ориентироваться по солнцу, им не удалось бы уже попасть обратно.

Из отряда наследника упал еще один конник, изрыгая кровавую пену. Оставили и его вместе с лошадей. Впереди среди песков показались скалы, и ливийцы скрылись.

— Государь, — сказал Пентуэр, — там, возможно, засада.

— Пусть ждет меня там сама смерть! — ответил наследник изменившимся голосом.

Жрец посмотрел на него с удивлением. Он не ожидал от него подобного упорства.

До скал, казалось, недалеко, но дорога была невероятно тяжела. Приходилось не только идти самим, но еще и вытаскивать из песка лошадей. Все плелись, увязая повыше щиколоток, а то и по колено.

А на небе по-прежнему пылало солнце, грозное солнце пустыни, каждый луч которого не только обжигал и слепил, но и жалил. Самые выносливые азиаты падали от усталости; у одного распухли язык и губы, у другого шумело в голове и черные пятна кружились перед глазами, третьим овладевал сон; все чувствовали ломоту в суставах и утратили ощущение зноя. И если б спросили кого-нибудь — жарко ли, он не мог бы ответить.

Почва под ногами стала опять тверже, и отряд Рамсеса добрался до скал. Царевич, более других сохранявший присутствие духа, услыша конский храп, свернул в сторону и увидел в тени, отбрасываемой скалой, кучку людей, лежавших кто где упал. Это были ливийцы.

На одном из них, юноше лет двадцати, была пурпурная вышитая рубашка, золотая цепь на шее и меч в драгоценных ножнах. Казалось, он лежал без чувств: глаза у него закатились, на губах выступила пена. Рамсес понял, что это — предводитель, подошел, сорвал цепь с его шеи и отстегнул меч.

Увидя это, какой-то старый ливиец, который, казалось, был меньше утомлен, чем остальные, сказал ему:

— Хоть ты и победитель, египтянин, все же отнесись с почтением к князьему сыну, который был нашим военачальником.

— Это сын Муссавасы? — спросил наследник.

— Да, это Техенна, сын Муссавасы, — ответил ливиец, — наш предводитель, достойный стать даже египетским князем.

— А где Муссаваса?

— Муссаваса собирает в Главке большую армию. Она отомстит за нас.

Остальные ливийцы не произнесли ни звука, даже не подняли глаз на своих победителей. По приказу царевича азиаты без труда разоружили их и сами присели в тени скалы. Теперь среди них не было ни друзей, ни врагов, а лишь бесконечно усталые люди; их подстерегала смерть, но они мечтали только о том, чтобы отдохнуть.

Пентуэр, видя, что Техенна все еще не приходит в сознание, опустился перед ним на колени и наклонился над его головой, так что никто не мог видеть, что он делает. Вскоре Техенна стал дышать, метаться и открыл глаза, потом сел, потер лоб, точно очнувшись от крепкого сна, который еще не совсем покинул его.

— Техенна, предводитель ливийцев! — обратился к нему Рамсес. — Ты и твои люди — пленники его святейшества фараона.

— Лучше убей меня на месте, — пробормотал Техенна, — чем мне лишиться свободы.

— Если твой отец Муссаваса смирится и заключит мир с Египтом, ты будешь снова свободен и счастлив.

Ливиец отвернулся и лег, равнодушный ко всему. Рамсес сел рядом и вскоре погрузился в оцепенение, а вернее всего, заснул.

Он очнулся через четверть часа, посмотрел на пустыню и вскрикнул от восторга. На горизонте была видна зелень, вода, чащи пальм, а несколько выше — селения и храмы.

Вокруг него все спали — азиаты и ливийцы. Только Пентуэр, стоя на скалистом утесе и прикрыв ладонью глаза, смотрел вдаль.

— Пентуэр! Пентуэр! — вскричал Рамсес. — Ты видишь этот оазис?

Он вскочил и подбежал к жрецу, лицо которого казалось озабоченным.

— Ты видишь оазис?

— Это не оазис, — ответил Пентуэр, — это блуждающий в пустыне дух какой-то страны, которой больше нет на свете. А вон то... там... — прибавил он, указывая рукою на юг.

— Горы? — спросил царевич.

— Всмотрись получше.

Царевич стал всматриваться и вдруг воскликнул:

— Мне кажется, что кверху поднимается какая-то темная масса. У меня, вероятно, глаза устали...

— Это тифон, — прошептал жрец. — Только боги могут спасти нас, если пожелают.

Действительно, Рамсес почувствовал на лице дуновение, которое даже среди зноя пустыни показалось ему горячим. Дуновение это, вначале очень легкое, усиливалось, становилось все жарче, и одновременно темная полоса поднималась в небе с поразительной быстротой.

— Что же нам делать? — спросил царевич.

— Эти скалы, — ответил жрец, — защитят нас от песков, но не отгонят ни пыли, ни зноя, который все время усиливается. А через день или два...

— Так долго дует тифон?

— Иногда три-четыре дня. Лишь изредка он подымается на несколько часов и быстро падает, как ястреб, пронзенный стрелой. Но это бывает очень редко.

Рамсес приуныл, однако не испугался. А жрец, вынув из-под одежды небольшой флакон из зеленого стекла, продолжал:

— Вот тут эликсир... Его должно хватить тебе на несколько дней. Как только почувствуешь сонливость или страх, выпей несколько капель. Этим ты подкрепишь себя и продержишься.

— А ты? А остальные?

— Моя судьба в руках Единого. А остальные? Они не наследники престола...

— Я не хочу этого питья, — ответил Рамсес, отталкивая флакон.

— Ты должен его взять! — настаивал Пентуэр. — Помни, на тебя возложил египетский народ свои надежды... Помни, над тобой витает его благословение.

Черная туча поднялась уже до половины неба, и знойный вихрь дул с такой силой, что Рамсесу и жрецу пришлось опуститься к подножию скалы.

«Египетский народ?.. благословение?..» — повторил про себя царевич. И вдруг спросил:

— Это ты год назад говорил со мной ночью в саду? Вскоре после маневров?

— Да, в тот день, когда ты пожалел крестьянина, повесившегося с горя, что засыпали вырытый им канал, — ответил жрец.

— И это ты спас мой дом и еврейку Сарру от толпы, которая хотела забросать ее камнями?

— Я, — ответил Пентуэр, — а ты вскоре освободил из тюрьмы неповинных крестьян и не позволил Дагону притеснять твой народ новыми поборами. За этот народ, — продолжал жрец, — за сострадание, которое ты всегда проявлял к нему, я и сейчас благословляю тебя... Может быть, ты один только уцелеешь, так помни же, что тебя охраняет угнетенный египетский народ, ожидающий от тебя спасения.

Внезапно стемнело, сверху дождем посыпался раскаленный песок, и поднялся такой вихрь, что опрокинуло лошадь, стоящую в незащищенном месте. Азиаты и ливийские пленники проснулись, но все, прильнув к подножию скалы, молчали, охваченные страхом.

Природа разбушевалась. На землю спустилась тьма, по небу с бешеной быстротой неслись рыжие и черные облака песка. Казалось, будто песок всей пустыни ожил, рванулся кверху и летит куда-то с быстротой камня, пущенного из пращи.

Было жарко, как в парильне... на руках и на лице трескалась кожа, язык пересыхал, при каждом вздохе кололо в груди. Мельчайшие песчинки обжигали, как искры.

Пентуэр насильно поднес флакон ко рту наследника. Рамсес проглотил несколько капель и почувствовал необыкновенное облегчение: боль и жара перестали мучить его, мысль снова обрела свободу.

— Так это может продолжаться несколько дней?

— Четыре, — ответил жрец.

— И вы, мудрецы, наперсники богов, не знаете, как спасти людей от такого ветра?

Пентуэр задумался.

— Есть на свете только один мудрец, — ответил он, — который мог бы бороться со злыми духами. Но его здесь нет...

Тифон дул с невероятной силой уже почти полчаса. Стало темно, как ночью. Когда же ветер ослабевал и черные клубы песку раздвигались, на небе появлялось кроваво-красное солнце, бросавшее на землю зловещий ржавый свет. Но вскоре с новой силой поднимался знойный, удушливый вихрь; клубы пыли становились гуще, мертвенный свет угасал, а в воздухе раздавались беспокойные шелест и шумы, непривычные для человеческого слуха. До захода солнца было уже недалеко, а порывы ветра и зной все усиливались. Время от времени на горизонте появлялось гигантское кровавое пятно, словно вся земля была охвачена пожаром.

Вдруг Рамсес заметил, что Пентуэра нет подле него. Он напряг слух и услышал голос, восклицавший:

— Бероэс! Бероэс! Если не ты, то кто нам поможет? Бероэс... во имя Единого, всемогущего, которому нет начала и конца, — зываю к тебе!

В северной части пустыни раздался гром. Царевич вздрогнул. Для египтянина гром был таким же редким явлением, как комета.

— Бероэс! Бероэс! — громко продолжал зывать Пентуэр.

Наследник всмотрелся в ту сторону, откуда доносился голос, и увидел темную человеческую фигуру с поднятыми руками. От головы, от пальцев, даже от одежды этой фигуры поминутно отделялись ярко-голубые искры...

— Бероэс! Бероэс!..

Продолжительный раскат грома послышался ближе, из-за туч песка сверкнула молния, озаряя пустыню багровым светом.

Снова раскат грома, и снова молния.

Рамсес почувствовал, что сила вихря ослабевает и зной уменьшается. Клубящийся в вышине песок стал оседать, небо сделалось пепельным, потом ржаво-коричневым, потом молочно-белым. Затем все стихло, а через минуту снова грянул гром и подул холодный, северный ветер.

Истомленные зноем азиаты и ливийцы очнулись.

— Воины фараона, — позвал вдруг старый ливиец, — вы слышите этот шум в пустыне?

— Опять ветер?

— Нет, это дождь.

Действительно, с неба упало несколько холодных капель, потом дождь усилился, и наконец полил ливень, сопровождаемый громом и молнией.

Солдат Рамсеса и их пленников охватила бурная радость. Не обращая внимания на молнии и гром, люди, которых за минуту перед тем сжигали зной и жажда, бегали, как дети, под струями дождя. В темноте мылись сами и мыли лошадей, подставляли под дождь шапки и кожаные мешки и все пили, пили...

— Не чудо ли это? — воскликнул Рамсес. — Если бы не благодатный дождь, мы погибли бы в пустыне в жарких объятиях тифона.

— Случается, — ответил старый ливиец, — что южный ветер дразнит ветры, гуляющие над морем и приносящие ливень.

Рамсеса неприятно задела эти слова: он приписывал ливень молитвам Пентуэра. Повернувшись к ливийцу, он спросил:

— А случается ли так, чтобы от человеческого тела исходили искры?

— Так всегда бывает, когда дует ветер пустыни, — отвечал ливиец, — вот и на этот раз искры исходили не только от людей, но даже от лошадей.

Голос его звучал так уверенно, что царевич, подойдя к офицеру своей конницы, шепнул ему:

— Посматривайте за ливийцами...

Не успел он это сказать, как что-то зашевелилось в темноте, и минуту спустя послышался топот. Когда асе молния озарила пустыню, египтяне увидели человека, удиравшего верхом на коне.

— Связать этих негодяев, — крикнул Рамсес, — и убить, если кто-нибудь из них будет сопротивляться! Горе тебе, Техенна, если этот негодяй приведет против нас твоих братьев. Ты погибнешь в тяжких мучениях! Ты и твои...

Несмотря на дождь, гром и темноту, воины Рамсеса быстро связали ливийцев, не оказывавших, впрочем, никакого сопротивления. Может быть, они ожидали приказа Техенны, но тот был так удручен, что не думал о бегстве.

Мало-помалу буря стала утихать, и дневной зной сменился пронизывающим холодом. Люди и лошади напились досыта, солдаты наполнили водой мехи. Фиников и сухарей было достаточно. Все успокоились. Раскаты грома умолкли. Тут и там показались звезды.

Пентуэр подошел к Рамсесу.

— Вернемся в лагерь, — сказал он, — мы сумеем дойти до него прежде, чем бежавший ливиец приведет сюда неприятеля.

— Как же мы найдем дорогу в такой темноте? — спросил царевич.

— Есть у вас факелы? — спросил жрец у азиатов.

Факелы — длинные жгуты из пакли, пропитанные горючими веществами, — нашлись у всех солдат, но не было огня.

— Придется подождать до утра, — проговорил раздраженно наследник.

Пентуэр не ответил. Он достал из своего мешка небольшой сосуд, взял у солдата факел и отошел в сторону. Минуту спустя послышалось тихое шипение, и факел... зажегся.

— Этот жрец — великий чернокнижник, — пробормотал старый ливиец.

— Ты совершил на моих глазах уже второе чудо, — сказал царевич Пентуэру. — Можешь мне объяснить, как это делается?

Жрец отрицательно покачал головой.

— Обо всем спрашивай меня, господин, — ответил он, — и я отвечу, насколько хватит моей мудрости, но никогда не требуй, чтобы я открывал тебе тайны наших храмов.

— Даже если я назначу тебя своим советником?

— Даже и тогда. Я никогда не буду предателем. А если б я и решил стать им, меня устроит кара.

— Кара? — повторил наследник. — Ах да! Я помню человека в подземелье храма Хатор, на которого жрецы выливали расплавленную смолу. Неужели они делали это на самом деле? И этот человек действительно умер в мучениях?

Пентуэр молчал, как будто не расслышав вопроса, и не спеша вынул из своего чудесного мешка небольшую статуэтку бога с простертыми в стороны руками. Она висела на бечевке. Жрец опустил ее и, шепча молитвы, стал наблюдать. Фигурка, несколько раз качнувшись в воздухе и покружившись на бечевке, повисла наконец спокойно.

Рамсес при свете факелов с удивлением смотрел на эти таинственные действия жреца.

— Что это ты делаешь? — спросил он его.

— Могу сказать только то, — ответил Пентуэр, — что этот бог показывает одной рукой на звезду Эсхмун[118], по которой в ночное время находят путь финикийские корабли.

— Значит, у финикийян есть этот бог?

— Нет, они даже не знают о нем. Бог, показывающий одной рукой на звезду Эсхмун, известен только нам и жрецам Халдеи. С помощью этого божества

каждый пророк днем и ночью, в погоду и непогоду может найти свой путь в море или в пустыне.

По приказу царевича, шедшего с зажженным факелом рядом с Пентуэром, конвой и пленники двинулись за жрецом на северо-восток. Висевший на бечевке божок раскачивался, но все же указывал протянутой рукой, где находится священная звезда, покровительница сбившихся с пути путешественников.

Шли пешком, быстрым шагом, ведя за собой лошадей. Был такой пронизывающий холод, что даже азиаты дышали на руки, а ливийцы дрожали.

Вдруг что-то стало хрустеть и трещать под ногами. Пентуэр остановился и нагнулся.

— В этом месте, — сказал он, — дождь образовал в твердой почве неглубокую лужу, и посмотри, что сделалось с водой.

С этими словами он поднял и показал царевичу что-то вроде стеклянной пластинки, которая таяла у него в руках.

— Когда очень холодно, — пояснил он, — вода превращается в прозрачный камень.

Азиаты подтвердили слова жреца, прибавив, что далеко на севере вода очень часто превращается в камень, а пар в белую соль, впрочем, безвкусную, которая только щиплет пальцы и вызывает боль в зубах.

Рамсес все больше изумлялся мудрости Пентуэра.

Тем временем с северной стороны небо прояснилось, открыв созвездие Медведицы и в нем звезду Эсхмун. Жрец опять прочитал молитву, спрятал в мешок путеводного божка и велел потушить факелы, оставив для сохранения огня тлеющую бечевку, которая, постепенно сгорая, отмечала время.

Царевич приказал своему отряду соблюдать осторожность и отошел с Пентуэром на несколько шагов вперед.

— Пентуэр, — сказал он ему, — я назначаю тебя своим советником, и на ближайшее время и на то, когда богам угодно будет отдать мне корону Верхнего и Нижнего Египта.

— Чем заслужил я эту милость?

— То, что ты совершил на моих глазах, свидетельствует о твоей великой мудрости и власти над духами. Кроме того, ты готов был спасти мою жизнь. Поэтому, хотя ты и решил скрывать от меня многое...

— Прости, государь, — перебил его Пентуэр, — предателей, когда они тебе будут нужны, ты найдешь за золото и драгоценности даже среди жрецов, но я не хочу принадлежать к их числу. Подумай только, изменяя богам, разве я не внушил бы тебе сомнений, что не поступлю так же и с тобой?

Рамсес задумался.

— Мудрые это слова, — ответил он, — но мне странно, почему ты, жрец, так расположен ко мне? Год назад ты благословил меня, а сегодня не позволил одному отправиться в пустыню и оказываешь мне большие услуги.

— Боги открыли мне, что ты, государь, можешь спасти несчастный египетский народ от нужды и унижения.

— А какое тебе дело до народа?

— Я сам из него вышел... Мой отец и братья целые дни черпали воду из Нила и терпели побои.

— Чем же я могу помочь народу?

Пентуэр оживился.

— Твой народ, — заговорил он с волнением, — слишком много работает, платит слишком большие налоги, живет в ну деде и притеснении... Тяжела крестьянская доля!..

«Червь пожрал одну половину его урожая, носорог — другую; в полях полно мышей, налетела саранча, скот потравил, воробьи выклевали, а что осталось еще на гумне, расхватили воры. О, жалкая доля земледельца! А тут еще причаливает к берегу писец и требует зерна, помощники его принесли с собой дубинки, а негры — пальмовые розги. Говорят: „Отдавай хлеб!“ — „Нет хлеба!“ Тогда его бьют, разложив на земле, а потом вяжут и бросают вниз головой в канал, где он тонет. Жену его связывают у него на глазах и детей тоже. Соседи же разбегаются, спасая свой хлеб».

[119]

— Я сам это видел, — ответил задумчиво царевич, — и даже прогнал одного такого писца. Но разве я могу быть везде, чтобы предупредить несправедливость?

— Ты можешь, государь, приказать, чтобы не мучили людей без нужды. Ты можешь снизить налоги, предоставить крестьянам дни отдыха. Можешь наконец подарить каждой крестьянской семье хотя бы одну полоску земли, чтобы урожай с нее принадлежал только ей. Иначе и дальше люди будут питаться лотосом, папирусом и тухлой рыбой и в конце концов захиреют. Но если ты окажешь народу свою милость, он воспрянет.

— Я так и сделаю! — воскликнул царевич. — Хороший хозяин не допустит, чтобы его скотина умирала с голоду, работала через силу или получала незаслуженные побои. Это надо изменить.

Пентуэр остановился.

— Ты обещаешь мне, великий государь?

— Клянусь! — ответил Рамсес.

— Тогда и я клянусь тебе, что слава твоя будет громче славы Рамсеса Великого! — воскликнул жрец, уже не владея собой.

Рамсес задумался.

— Что можем мы сделать с тобой вдвоем против жрецов, которые меня ненавидят?..

— Они боятся тебя, господин, — ответил Пентуэр, — боятся, чтобы ты не начал прежде времени войну с Ассирией.

— А чем помешает им война, если она будет победоносна?

Жрец склонил голову и молчал.

— Так я тебе скажу! — вскричал в возбуждении царевич. — Они не хотят войны потому, что боятся, как бы я не вернулся победителем, с грузом сокровищ, гоня перед собой невольников. Они боятся этого, они хотят, чтобы фараон был беспомощным орудием в их руках, бесполезной вещью, которую можно отбросить, когда им вздумается. Но со мной им это не удастся. Я или сделаю то, что хочу, на что имею право, как сын и наследник богов, или погибну.

Пентуэр попятился и прошептал заклинание.

— Не говори так, государь, — сказал он смущенно, — дабы злые духи, кружащие над пустыней, не подхватили твоих слов... Слово — запомни, повелитель, — как камень, пущенный из пращи. Если попадет в стену, он может отскочить и попасть в тебя самого...

Рамсес пренебрежительно махнул рукой.

— Все равно, — ответил он, — что стоит такая жизнь, когда каждый стесняет твою волю: если не боги, то ветры пустыни, если не злые духи, то жрецы... Такова ли должна быть власть фараонов?.. Нет, я буду делать то, что хочу, и отвечать только перед вечно живущими предками, а не перед этими бритыми лбами, которые будто бы знают волю богов, а на деле присваивают себе власть и наполняют свои сокровищницы моим добром.

Вдруг в нескольких десятках шагов от них послышался странный крик, напоминавший не то ржание, не то бляение, и пробежала огромная тень. Она неслась как стрела, но можно было разглядеть длинную шею и туловище с горбом.

Среди конвоя наследника послышался ропот ужаса.

— Это гриф! Я ясно видел крылья, — сказал один из солдат.

— Пустыня кишит чудищами! — прибавил старый ливиец.

Рамсес растерялся; ему тоже показалось, что у пробежавшей тени была голова змеи и что-то вроде коротких крыльев.

— В самом деле, в пустыне появляются чудовища? — спросил он жреца.

— Несомненно, — ответил Пентуэр, — в таком безлюдном месте бродят недобрые духи, приняв вид самых необычайных тварей. Мне кажется, однако, что то, что пробежало мимо нас, скорее зверь. Он похож на оседланного коня, только крупнее и быстрее бежит. Жители оазисов говорят, что это животное может совсем обходиться без воды, или, во всяком случае, пить очень редко. Если это так, то будущие поколения воспользуются этим существом, сейчас возбуждающим только страх, для перехода через пустыни.

— Я бы не решился сесть на спину такого уroda, — ответил Рамсес, потрянув головой.

— То же самое говорили наши предки о лошади, которая помогла гиксосам покорить Египет, а сейчас стала необходимой для нашей армии. Время сильно меняет суждения человека, — сказал Пентуэр.

На небе рассеялись последние тучи, и ночь прояснилась. Несмотря на отсутствие луны, было так светло, что на фоне белого песка можно было различить очертания предметов далее мелких или весьма отдаленных. Холод стал не таким пронизывающим. Некоторое время конвой шел молча, утопая по щиколотку в песках. Вдруг среди азиатов опять поднялось смятение и послышались возгласы:

— Сфинкс! Смотрите, сфинкс! Мы не выйдем живыми из пустыни, когда все время перед нами являются призраки.

Действительно, на белом известковом холме очень ясно вырисовывался силуэт сфинкса. Длинное тело, огромная голова в египетском чепце и как будто человеческий профиль.

— Успокойтесь, варвары, — сказал старый ливиец, — это не сфинкс, а лев. Он ничего вам не сделает, потому что занят своей добычей.

— В самом деле, это лев, — сказал царевич, останавливаясь, — но до чего походе на сфинкса!

— Его черты напоминают человеческое лицо, а грива — парик, — заметил вполголоса жрец. — Это и есть отец наших сфинксов.

— И нашего великого сфинкса, того что у пирамид?

— За много веков до Менеса, — сказал Пентуэр, — когда еще не было пирамид, на этом месте стояла скала, смутно напоминавшая лежащего льва, как будто боги, хотели отметить таким образом, где начинается пустыня. Тогдашние святые жрецы велели ваятелям получше отделать скалу, а чего не хватало, дополнить искусственной кладкой. Ваятели же, чаще встречавшие людей, чем львов, высекли на камне человеческое лицо, и так родился первый сфинкс...

— Которому мы воздаем божеские почести, — усмехнулся царевич.

— И правильно, — ответил жрец, — ибо первоначальные очертания этому творению искусства дали боги, и они же вдохновили людей на завершение его. Наш сфинкс своим величием и таинственностью напоминает пустыню; он похож

на духов, блуждающих там, и так же наводит страх на людей, как они. Поистине это — сын богов и отец страха...

— И в то же время все имеет земное начало, — сказал царевич. — Нил течет не с неба, а с каких-то гор, лежащих за Эфиопией. Пирамиды, про которые Херихор говорил мне, что это прообразы нашего государства, сложены наподобие горных вершин, да и наши храмы с их пилонами и обелисками, с их полумраком и прохладой разве не напоминают пещеры и скалы, которые тянутся вдоль Нила? Сколько раз, когда мне случалось во время охоты заблудиться среди восточных гор, мне попадались причудливые нагромождения скал, напоминавшие храмы. Нередко на их шершавых стенах я видел иероглифы, высеченные ветром и дождем.

— Это доказывает, ваше высочество, что наши храмы воздвигались согласно плану, начертанному самими богами, — заметил жрец. — И как из маленькой косточки, брошенной в землю, вырастает высокая пальма, так образ скалы, пещеры, льва, даже лотоса, запав в душу благочестивого фараона, находит затем свое воплощение в аллее сфинксов, сумрачных храмах и их мощных колоннах. Это — творения богов, а не человека, и счастлив повелитель, который, озираясь вокруг, способен в земных предметах открыть мысль богов и наглядно представить ее грядущим поколениям.

— Но такой повелитель должен обладать властью и большими богатствами, — печально произнес Рамсес, — а не зависеть от того, что привидится жрецам.

Перед ними тянулась песчаная возвышенность, на которой в этот самый момент показалось несколько всадников.

— Наши или ливийцы? — спросил наследник.

С возвышенности послышался звук рожка, на который ответили спутники Рамсеса. Всадники быстро, насколько позволял глубокий песок, спустились вниз. Подъехав ближе, один из них крикнул:

— Наследник престола с вами?

— Здесь, здоров и невредим! — ответил Рамсес.

Всадники соскочили с коней и пали ниц.

— О, эрпатор, — сказал начальник отряда, — твои солдаты рвут на себе одежды и посыпают пеплом головы, думая, что ты погиб. Вся конница рассеялась по пустыне, чтобы разыскать твои следы, и только нас боги удостоили первыми приветствовать тебя.

Рамсес назначил начальника сотником и отдал приказ на следующий же день представить к награде его подчиненных.

20

Полчаса спустя показались огни лагеря, и вскоре отряд царевича прибыл туда. Со всех сторон рога затрубили тревогу, солдаты схватились за оружие и с громкими

кликаками стали строиться в шеренги. Офицеры припадали к ногам наследника и, как накануне после победы, подняв его на руках, стали обходить с ним полки. Стены ущелья дрожали от возгласов: «Живи вечно, победитель! Боги хранят тебя!»

Окруженный факелами, подошел жрец Ментесуфис. Наследник, увидев его, вырвался из рук офицеров и побежал навстречу жрецу.

— Знаешь, святой отец, мы поймали ливийского предводителя Техенну!

— Жалкая добыча, — сурово ответил жрец, — ради которой главнокомандующий не должен был покидать армию... особенно тогда, когда каждую минуту мог подойти новый враг...

Рамсес почувствовал всю справедливость упрека, но именно потому в душе его вспыхнуло негодование.

Он сжал кулаки, глаза его заблестели.

— Именем твоей матери заклинаю тебя, государь, молчи, — прошептал стоявший за ним Пентуэр.

Наследника так удивили неожиданные слова его советника, что он мгновенно остыл и, придя в себя, понял, что благоразумнее всего признать свою ошибку.

— Правда твоя, святой отец. Армия вождя, а вождь армию, никогда не должны покидать друг друга. Но я полагал, что ты заменишь меня, святой муж, как представитель военной коллегии.

Спокойный ответ смягчил Ментесуфиса, и жрец на этот раз не стал напоминать царевичу прошлогодних маневров, когда он таким же образом покинул войско, чем навлек на себя немилость фараона.

Вдруг с громким криком подошел к ним Патрокл. Греческий полководец опять был пьян и уже издали взывал к царевичу:

— Смотри, наследник, что сделал святой Ментесуфис! Ты объявил пощаду всем ливийским солдатам, которые уйдут от врага и вернуться в армию его святейшества. Многие перебежали ко мне, и благодаря им я разбил левый фланг неприятеля... А достойнейший Ментесуфис приказал всех перебить... Погибло около тысячи пленников, все наши бывшие солдаты, которые должны были быть помилованы.

Царевич вспыхнул, но Пентуэр опять прошептал:

— Молчи! Молю тебя, молчи!

Но у Патрокла не было советника, и он продолжал кричать:

— Теперь мы навсегда потеряли доверие не только чужих, но, пожалуй, и своих. Как бы наша армия не разбежалась, узнав, что ею командуют предатели!

— Презренный наемник! — ответил ледяным тоном Ментесуфис. — Как ты смеешь говорить так об армии и доверенных его святейшества? С тех пор как

стоит мир, никто не слышал такого кощунства! Смотри, как бы боги не отомстили тебе за оскорбление.

Патрокл грубо захохотал.

— Пока я сплю среди греков, мне не страшны боги тьмы, а когда бодрствую, то сумею защититься и от дневных богов.

— Ступай проспись! Ступай к своим грекам, пьяница, — крикнул Ментесуфис, — чтобы из-за тебя не обрушился гром на наши головы!

— На твой, скряга, бритый лоб не упадет — подумает, что это нечто другое, — ответил пьяный грек, но, видя, что наследник не оказывает ему поддержки, вернулся к себе в лагерь.

— Верно ли, — спросил Рамсес жреца, — что ты приказал, святой муж, перебить пленников, тогда как я обещал помиловать их?

— Тебя не было в лагере, — ответил Ментесуфис, — и ответственность за это не падет на тебя. Я же соблюдаю наши военные законы, которые повелевают истреблять солдат-предателей. Солдаты, служившие царю и перешедшие на сторону врага, должны быть немедленно уничтожены. Таков закон.

— А если б я был здесь, на месте?

— Как главнокомандующий и сын фараона, ты можешь приостановить действие некоторых законов, которым я должен повиноваться, — ответил Ментесуфис.

— И ты не мог подождать моего возвращения?

— Закон повелевает убивать немедленно. Я исполнил его требование.

Царевич был до того ошеломлен, что прервал дальнейший разговор и направился к своему шатру.

Здесь, упав в кресло, он сказал Тутмосу:

— Итак, я уже сейчас раб жрецов. Они убивают пленных, грозят моим офицерам, они даже не уважают моих обязательств... Как вы позволили Ментесуфису казнить этих несчастных?

— Он ссылался на законы военного времени и на новые приказы Херихора.

— Но ведь я здесь главнокомандующий, хотя и отлучился на полдня.

— Однако ты заявил, что передаешь командование мне и Патроклу, — возразил Тутмос. — А когда подъехал святой Ментесуфис, мы должны были уступить ему свои права, как старшему...

Наследник подумал, что поимка Техенны досталась ему дорогой ценой, и в то же время со всей силой почувствовал значение закона, запрещающего полководцу покидать свою армию. Он должен был признаться самому себе, что не прав, что еще больше уязвляло его самолюбие и вызывало ненависть к жрецам.

— Итак, я попал в плен, прежде чем стал фараоном — да живет вечно мой святейший отец! Значит, надо уже сейчас начинать выпутываться из этого положения, а главное, молчать... Пентуэр прав: молчать, всегда молчать, и, как драгоценное сокровище, скрывать в душе свой гнев... А когда он накопится... О пророки, когда-нибудь вы мне заплатите!..

— Что же ты, государь, не спрашиваешь про итоги сражения? — обратился Тутмос к Рамсесу.

— Да, да, я слушаю.

— Больше двух тысяч пленников, больше трех тысяч убитых, а бежало всего несколько сотен.

— А как велика была ливийская армия? — спросил с удивлением царевич.

— Шесть-семь тысяч.

— Быть не может! Неужели в такой стычке погибла вся армия?

— Невероятно, и все же это так. Это была страшная битва, — ответил Тутмос, — ты их окружил со всех сторон. Остальное сделали солдаты, ну... и Ментесуфис. О таком поражении врагов Египта нет сведений ни на одном из памятников самых знаменитых фараонов.

— Ну, ложись спать, Тутмос. Я устал, — перебил царевич, чувствуя, что у него от гордости начинает кружиться голова.

Он бросился на шкуры, но, несмотря на смертельную усталость, долго не мог заснуть.

«Так это я одержал такую победу!.. Не может быть!..» — думал он.

С момента, когда он дал знак к началу боя, прошло всего четырнадцать часов!.. Только четырнадцать часов!.. Не может быть!..

И он выиграл такое сражение! Но ему даже не пришлось видеть самого боя. Он помнит только густой желтый туман, откуда захлестывали его вопли нечеловеческих криков. Он и сейчас видит эту непроницаемую тьму, слышит неистовый гул, чувствует палящий зной... хотя битва уже окончена...

Потом ему снова представилась пустыня, по которой он с таким трудом передвигался, утопая в песке... У него и конвоя были лошади, лучшие в армии, но и они брели черепашим шагом. А жара! Неужели человек может вынести такое пекло...

И вот налетел тифон!.. Он заслонил солнце, жжет, жалит, душит... От Пентуэра летят бледные искры!.. Над их головами грохочут раскаты грома — он слышит их первый раз в жизни. А потом безмолвная ночь в пустыне... Бегущий гриф... на меловом пригорке темный силуэт сфинкса...

«Столько видеть, столько пережить, — думал Рамсес. — Я даже был при постройке наших храмов и рождении сфинкса, вечного сфинкса. И все это за каких-нибудь четырнадцать часов!»

В голове его пронеслась еще одна — последняя — мысль: «Человек, так много переживший, не может долго жить!» Холодная дрожь пробежала по его телу — и он уснул.

На следующий день Рамсес проснулся поздно. У него болели глаза, ломило все кости, мучил кашель, но мысль его была ясна и сердце полно отваги.

У входа в шатер стоял Тутмос.

— Ну, что? — спросил Рамсес.

— Лазутчики с ливийской границы сообщают странные вещи, — ответил Тутмос. — К нашему ущелью приближается огромная толпа, но это не армия, а безоружные женщины и дети, и во главе их Муссаваса и знатнейшие ливийцы.

— Что бы это могло значить.

— Очевидно, хотят просить мира.

— После первой же битвы? — удивился царевич.

— Но какой! К тому же страх умножил в их глазах нашу армию. Они чувствуют себя слабыми и боятся нашего нападения.

— Посмотрим, не военная ли это хитрость, — ответил Рамсес, подумав. — Ну, а как наши?

— Здоровы, сыты и веселы... Только...

— Только — что?

— Ночью скончался Патрокл, — прошептал Тутмос.

— Умер? От чего? — вскрикнул царевич, вскакивая с ложа.

— Одни говорят, что слишком много выпил, другие — что это кара богов. Лицо у него синее, на губах пена...

— Как у невольника в Атрибе, помнишь? Его звали Бакура. Он вбежал в зал с жалобой на номарха. И, разумеется, умер в ту же ночь, потому что выпил лишнее. Не так ли?

Тутмос кивнул.

— Нам надо быть очень осторожными, господин мой, — сказал он шепотом.

— Постараемся, — ответил наследник спокойно. — Я не стану и удивляться смерти Патрокла: что в этом особенного? Умер какой-то пьяница, оскорблявший богов и... даже жрецов...

Тутмос почувствовал в этих насмешливых словах угрозу. Царевич очень любил верного, как пес, Патрокла. Он мог забыть многие обиды, но смерти своего военачальника простить не мог.

Незадолго до полудня в лагерь царевича прибыл из Египта новый полк — фиванский, и, кроме того, несколько тысяч человек и несколько сотен ослов доставили большие запасы продовольствия и палатки. Одновременно со стороны Ливии прибежали лазутчики с донесениями, что толпа безоружных людей, направляющихся к ущелью, все возрастает.

По приказу наследника многочисленные конные разъезды во всех направлениях обследовали окрестности, чтобы узнать, не прячется ли где-нибудь неприятельская армия. Даже жрецы, захватив с собой небольшую переносную часовенку Амона, поднялись на вершину самого высокого холма и, дабы бог открыл их взорам окрестности, совершили там богослужение.

Вернувшись в лагерь, они доложили наследнику, что приближается многочисленная толпа безоружных ливийцев, но армии нигде не видно, по крайней мере на расстоянии трех миль вокруг.

Царевич рассмеялся над этим докладом.

— У меня хорошее зрение, — сказал он, — но на таком расстоянии и я не увидел бы солдат.

Жрецы, посоветовавшись между собой, заявили царевичу, что если он даст обещание не разглашать тайны среди непосвященных, то увидит так же далеко.

Рамсес поклялся. Тогда жрецы водрузили на одном из холмов алтарь Амона и начали свои моления. Когда же царевич, омывшись и сняв сандалии, принес в жертву богу золотую цепь и кадила, они впустили его в тесный, совершенно темный ящик и велели смотреть на стену. Вслед за тем раздалось молитвенное пение, и на внутренней стене ящика появился светлый кружок. Вскоре светлый фон помутнел, и Рамсес увидел песчаную равнину, скалы и среди них — сторожевые посты азиатов.

Жрецы стали петь еще вдохновеннее, и картина изменилась. Появилась другая часть пустыни, а на ней маленькие, как муравьи, люди. Несмотря на крошечные размеры, движения, одежда, даже лица были видны так ясно, что Рамсес мог бы их описать.

Изумлению наследника не было границ. Он протирает глаза, прикасается к движущемуся изображению... Наконец он отвернулся, картина исчезла, и стало темно.

Когда он вышел из часовни, старший жрец спросил его:

— Ну как, царевич, теперь ты веришь в могущество египетских богов?

— Действительно, вы такие великие мудрецы, что весь мир должен воздавать вам почести и приносить жертвы. Если вам так же открыто будущее, то ничто не устоит перед вами.

В ответ на это один из жрецов вошел в часовню, стал молиться, и вскоре оттуда донесся голос, возвещавший:

— Рамсес, судьбы государства взвешены, и прежде чем наступит новое полнолуние, ты станешь владыкой Египта.

— О боги! — воскликнул в ужасе царевич. — Неужели отец мой так болен?

Он упал лицом в песок. Один из совершавших службу жрецов спросил его, не хочет ли он узнать еще что-нибудь.

— Поведай, отец Амон, исполнятся ли мои намерения?

Через минуту голос из часовни ответил:

— Если ты не начнешь войны с Востоком, будешь приносить жертвы богам и чтить его слуг, тебя ожидает долголетняя жизнь и царствование, исполненное славы.

После этих чудес, происшедших средь бела дня в открытом поле, царевич, взволнованный, вернулся к себе в шатер.

«Ничто не в силах противостоять жрецам», — думал он со страхом.

В шатре он застал Пентуэра.

— Скажи мне, мой советник, — обратился он к нему, — умеете ли вы, жрецы, читать в человеческих сердцах и угадывать их тайные намерения?

Пентуэр отрицательно покачал головой.

— Скорее, — ответил он, — человек увидит, что скрыто внутри скалы, чем узнает чужое сердце. В него не проникнуть даже богам. И только смерть открывает мысли человека.

Рамсес вздохнул с облегчением, но не мог совсем освободиться от тревоги. Когда к вечеру надо было созвать военный совет, он пригласил на него Ментесуфиса и Пентуэра.

Никто не упоминал о скоропостижной смерти Патрокла, — может быть, потому, что были дела поважнее. Прибыли ливийские послы и молили от имени Муссавасы пощадить его сына Техенну, предлагая подчиниться Египту и обеспечить вечный мир.

— Дурные люди, — заявлял один из послов, — обманули наш народ, уверяя, что Египет слаб, а его фараон — лишь тень повелителя. Но вчера мы убедились, как сильна ваша рука, и считаем более благоразумным подчиниться вам и платить дань, чем обрекать наших людей на верную смерть, а имущество на уничтожение.

Когда военный совет выслушал эту речь, ливийцам велели выйти из шатра, и царевич Рамсес прямо спросил мнение святого Ментесуфиса, что даже удивило военачальников.

— Еще вчера, — заявил достойный пророк, — я советовал бы отвергнуть просьбу Муссавасы, перенести войну в Ливию и уничтожить гнездо разбойников. Но сегодня я получил столь важное известие из Мемфиса, что подам свой голос за милость побежденным.

— Мой святейший отец болен? — спросил с волнением Рамсес.

— Да, но пока мы не покончим с ливийцами, ты, государь, не должен об этом думать.

Когда же наследник печально опустил голову, Ментесуфис прибавил:

— Я должен выполнить еще один долг... Вчера, досточтимый царевич, я осмелился сделать тебе замечание, что ради такой ничтожной добычи, как Техенна, главнокомандующий не имел права покидать армию. Сегодня я вижу, что ошибался. Если бы ты, государь, не захватил Техенну, мы не добились бы так быстро мира с Муссавасой... Твоя мудрость, главнокомандующий, оказалась выше законов войны.

Рамсеса удивило раскаяние Ментесуфиса.

«Что это он так заговорил? — подумал царевич. — По-видимому, не только Амон знает, что мой святейший отец болен».

И в душе наследника снова проснулись старые чувства: презрение к жрецам и недоверие к чудесам, которые они совершают.

«Значит, не боги предсказали мне, что я скоро стану фараоном, а пришло известие из Мемфиса, и жрецы обманули меня в часовне. А если они солгали в одном, то кто поручится, что и эти картины в пустыне, которые они показывали на стене, не были тоже обманом?»

Так как наследник все время молчал, что приписывали его скорби по поводу болезни фараона, а военачальники после слов Ментесуфиса тоже не решались говорить, то военный совет закончился. Было принято единодушное решение получить с ливийцев возможно большую дань, послать к ним египетский гарнизон и прекратить войну.

Теперь уже всем было ясно, что фараон умирает. Египет же для того, чтобы устроить своему повелителю достойные похороны, нуждался в полном мире и спокойствии.

Выйдя из шатра, где происходил военный совет, Рамсес спросил Ментесуфиса:

— Этой ночью угас храбрый Патрокл. Предполагаете ли вы, святые мужи, почтить его тело?

— Это был варвар и великий грешник, — ответил жрец, — но он оказал столь большие услуги Египту, что надо позаботиться о его загробной жизни. С твоего разрешения мы сегодня же отправим тело этого мужа в Мемфис, чтобы сделать из него мумию и отвезти в Фивы на вечное пребывание среди царских гробниц.

Рамсес охотно согласился, но подозрения его усилились.

«Вчера, — подумал он, — Ментесуфис бранил меня, как ленивого ученика, и слава богам, что еще не избил палкой. А сегодня говорит со мной, как послушный сын с отцом, и чуть не падает ниц. Не значит ли это, что к шатру моему приближается власть и час отмщения?»

Рассуждая таким образом, царевич преисполнялся гордости, и в сердце его нарастала ярость против жрецов. Ярость тем более страшная, что она была неслышна, как скорпион, который, скрывшись в песке, ранит ядовитым жалом неосторожную ногу.

21

Ночью караулы сообщили, что толпа молящих о милости ливийцев уже вступила в ущелье.

Действительно, над пустыней видно было зарево их костров. С восходом солнца зазвучали трубы, и вся египетская армия в полном вооружении расположилась в самом широком месте долины. Согласно приказу наследника, который хотел еще больше запугать ливийцев, между шеренгами солдат были расставлены носильщики, а среди конницы разместили погонщиков верхом на ослах. Таким образом, казалось, что египтян было подобно песку в пустыне, и ливийцы трепетали, как голуби, над которыми кружит ястреб.

В девять часов утра к шатру царевича подъехала его золоченая боевая колесница. Лошади, украшенные страусовыми перьями, рвались вперед так, что каждую приходилось держать двум конюхам.

Рамсес вышел из шатра, сел в колесницу и сам взял в руки поводья, место же возницы занял рядом с ним жрец-советник Пентуэр. Один из приближенных раскрыл над Рамсесом огромный зеленый зонт, сзади же и по обеим сторонам колесницы шли греческие офицеры в позолоченных доспехах. За свитой наследника в некотором отдалении шествовал небольшой отряд гвардии, окружавший Техенну, сына ливийского вождя Муссавасы.

Неподалеку от египтян, у выхода из главкского ущелья, стояла печальная толпа ливийцев, моливших победителей о пощаде.

Когда Рамсес выехал со своей свитой на возвышенность, где должен был принять вражеское посольство, армия приветствовала его такими громкими кликами, что хитрый Муссаваса еще больше огорчился и шепнул ливийским старейшинам:

— Говорю вам, так кричат только солдаты, которые боготворят своего вождя.

Один из наиболее беспокойных ливийских князей, прославившийся своими разбоями, ответил, обращаясь к Муссавасе:

— А не думаешь ли ты, что мы поступим благоразумнее, доверившись быстроте наших коней, чем милости фараонова сына? Это, по-видимому, свирепый лев, который, даже глядя лапой, сдирает когтями шкуру, а мы словно ягнята, оторванные от сосцов матери.

— Поступай, как хочешь, — ответил Муссаваса, — вся пустыня перед тобою. Меня же народ послал искупить наши грехи, а главное — у них мой сын Техенна, на котором наследник фараона выместит свой гнев, если я не вымолю у него прощения.

К толпе ливийцев прискакали галопом два азиатских конника и сообщили, что повелитель ждет от них выражения покорности.

Муссаваса горько вздохнул и направился к холму, на котором стоял повелитель. Никогда еще не совершал он столь тяжкого путешествия! Грубый холст покаянного рубища плохо защищал его спину, голову, посыпанную пеплом, томил солнечный зной, щебень колот босые ноги, а на сердце лежал гнет скорби — своей и побежденного народа. Он прошел всего несколько сот шагов, но то и дело останавливался, чтобы передохнуть, и оглядывался назад, не крадут ли нагие невольники, несущие подарки для царевича, золотых перстней или драгоценных камней.

Муссаваса, как человек, умудренный жизненным опытом, знал, что люди охотно пользуются чужой бедой.

«Благодарение богам, — утешал себя в своем несчастье хитрый варвар, — что мне выпал жребий смириться перед царевичем, который со дня на день должен возложить на себя корону фараонов. Владыки Египта великодушны, особенно в час победы. И если мне удастся тронуть сердце властелина, он укрепит мою власть в Ливии и даст мне возможность собирать большие подати. Какое счастье, что сам наследник престола захватил Техенну; он не только не причинит ему зла, но еще осыплет почестями».

Так размышлял он, не переставая озираться назад: невольник, хотя и голый, может спрятать украденный камень во рту, а то и проглотить.

В тридцати шагах от колесницы наследника Муссаваса и сопровождавшие его знатные ливийцы пали на живот и лежали на песке, пока адъютант царевича не велел им встать. Пройдя еще несколько шагов, они снова пали и делали так трижды. И каждый раз Рамсесу приходилось приказывать им, чтобы они встали.

Тем временем Пентуэр, стоявший на колеснице царевича, шептал своему господину:

— Пусть на лице твоём не прочтут они ни жестокости, ни радости. Лучше будь спокоен, как бог Амон, который презирает своих врагов и не тешится легкими победами.

Наконец кающиеся ливийцы предстали перед наследником, смотревшим на них с золоченой колесницы, как гиппопотам на утят, которые не знают, куда спрятаться от его страшной силы.

— Это ты, — произнес Рамсес, — это ты, Муссаваса, мудрый вождь ливийцев?

— Это я — твой слуга, — ответил тот и снова пал на землю.

Когда ему было велено встать, царевич продолжал:

— Как мог ты решиться на столь тяжкий грех — поднять руку на землю богов? Неужели тебя покинуло прежнее благоразумие?

— Государь, — ответил лукавый ливиец, — обида помutilа разум изгнанных солдат фараона, и они устремились навстречу своей гибели, увлекая за собой меня и моих соплеменников. И ведают боги, сколь долго тянулась бы эта война, если бы во главе армии вечно живущего фараона не стал бы ты сам Амон в твоём образе. Как ветер пустыни, налетел ты, когда тебя не ждали, туда, где тебя не ждали, и как бык ломает тростник, так ты сокрушил ослепленного врага. После этого все наши племена поняли, что даже страшные ливийские полки лишь тогда чего-нибудь стоят, когда ими управляет твоя рука.

— Умно говоришь ты, Муссаваса, — сказал наследник, — а еще лучше поступил ты, выйдя навстречу армии божественного фараона, не ожидая, пока она придет к вам. Мне хотелось бы, однако, узнать, насколько искренна ваша покорность.

— «Проясни лик свой, великий повелитель Египта, — ответил на это Муссаваса. — Мы явились к тебе как данники, дабы имя твое стало великим в Ливии и дабы ты был и нашим солнцем, как стал им для девяти народов. Прикажи лишь твоим подданным, чтобы они были справедливы к покоренному и присоединенному к твоей державе народу. Пусть твои начальники правят нами честно и справедливо, а не по злой своей воле, сообщая тебе ложные сведения, вызывающие немилость против нас и детей наших. Прикажи им, наместник благостного фараона, чтобы они правили нами по твоей воле, щадя свободу, имущество, язык и обычаи отцов и предков наших. Пусть законы твои будут равны для всех подвластных тебе народов, пусть чиновники не потворствуют одним и не будут слишком жестоки к другим. Пусть приговоры их будут для всех одинаковы. Пусть они собирают дань, предназначенную для твоих нужд и в твою пользу, и не взимают с нас другой, тайной от тебя, такой, которая не поступит в твою сокровищницу, а обогатит лишь твоих слуг и слуг твоих слуг. Прикажи править нами без ущерба для нас и для детей наших, ибо ты ведь бог наш и владыка во веки веков. Бери пример с солнца, которое для всех расточает лучи свои, дающие силу и жизнь. Мы молим тебя о твоей милости, мы — ливийские подданные, и падаем челом перед тобой, наследник великого и могущественного фараона»[120].

Так говорил хитроумный князь ливийский Муссаваса и, окончив, снова пал животом на землю. У наследника же престола, когда он слушал эти мудрые слова, сверкали глаза и раздувались ноздри, как у молодого жеребца, когда тот после сытной кормежки выбегает на луг, где пасутся кобылы.

— Встань, Муссаваса, — сказал царевич, — и послушай, что я тебе скажу: судьба твоя и твоих народов зависит не от меня, а от всемилостивейшего фараона, который возвышается над всеми нами, как небо над землей. Советую тебе поэтому, чтобы ты и ливийские старейшины отправились отсюда в Мемфис и там, павши ниц перед владыкой и богом этого мира, повторили смиренную речь, которую я здесь выслушал. Я не знаю, каков будет успех. Но так как боги никогда не отвращают лика своего от покаявшихся и молящих, то я полагаю, что вы

будете хорошо приняты. А теперь покажите мне дары, предназначенные для его святейшества фараона, дабы я мог судить, тронут ли они сердце всемогущего владыки.

В это время Пентуэр, стоявший на колеснице царевича, увидел, что Ментесуфис делает ему знаки. Когда он спустился и подошел к святому мужу, Ментесуфис сказал ему шепотом:

— Я боюсь, чтобы такая победа не вскружила голову нашему молодому господину. Не думаешь ли ты, что было бы благоразумнее прервать как-нибудь это торжество?

— Напротив, — ответил Пентуэр, — не прерывай торжества. А я ручаюсь, что лицо наследника не будет радостным.

— Ты совершишь чудо?

— Как мог бы я? Я покажу ему только, что в этом мире великой радости сопутствует великая скорбь.

— Поступай как знаешь, — ответил Ментесуфис, — боги одарили тебя мудростью, достойной члена верховной коллегии.

Раздались звуки труб и барабанов, и началось триумфальное шествие.

Впереди под охраной знатных ливийцев шли обнаженные невольники с дарами. Они несли золотые и серебряные статуи богов, шкатулки, наполненные благовониями, украшенные эмалью сосуды, ткани, утварь, наконец золотые чаши, полные рубинов, сапфиров, изумрудов. У несших дары невольников головы были обриты, а рты завязаны, чтобы кто-нибудь из них не проглотил драгоценного камня.

Рамсес, стоя на колеснице и опираясь руками на ее края, с высоты холма смотрел на ливийцев и на свою армию, как желтоголовый орел на рябых куропаток. Он был преисполнен гордости, и все чувствовали, что нет могущественнее этого победителя.

Но вдруг глаза царевича утратили свой блеск, а на лице изобразилось неприятное изумление. Это стоявший за его спиной Пентуэр шепнул ему:

— Склони ко мне, господин, ухо твое. С тех пор как ты покинул город Бубаст, там произошли странные события: твоя женщина, финикиянка Кама, сбежала с греком Ликоном.

— С Ликоном?

— Не шевелись, государь, и не показывай тысячам твоих рабов, что ты печален в день своего торжества.

У ног царевича проходили побежденные ливийцы, несшие в корзинах плоды и хлебы и в огромных кувшинах вино и масло для солдат. При этом зрелище по рядам солдат пронесся радостный шепот, но Рамсес ничего не замечал, поглощенный рассказом Пентуэра.

— Боги, — шептал пророк, — покарали изменницу-финикиянку...

— Она поймана? — спросил Рамсес.

— Поймана, но ее пришлось отправить в восточные колонии... Ее поразила проказа...

— О боги! — прошептал Рамсес. — Не угрожает ли она и мне?

— Будь спокоен, господин, если ты заразился, она бы уже постигла тебя.

Царевич почувствовал холод во всем теле.

Как легко богам с величайших вершин столкнуть человека в бездну глубочайшего горя!

— А негодяй Ликон?

— Это великий преступник, — ответил Пентуэр, — преступник, каких немного породила земля.

— Я его знаю: он походе на меня, как мое отражение, — ответил Рамсес.

Теперь приближалась группа ливийцев, ведущих диковинных животных. Впереди шел одnogорбый верблюд, обросший белесоватой шерстью, один из первых пойманных в пустыне. За ним два носорога, табун лошадей и прирученный лев в клетке. А дальше множество клеток с разноцветными птицами, обезьянами и собачонками, предназначенными для придворных дам. В самом конце гнали большие стада быков и баранов — довольствие для солдат.

Наследник лишь мельком взглянул на этот зверинец и спросил жреца:

— А Ликон пойман?

— Теперь я скажу тебе самое худшее, несчастный государь, — шептал Пентуэр, — но помни, чтобы враги Египта не заметили на твоём лице печали...

Наследник встрепенулся.

— Твоя вторая женщина, еврейка Сарра...

— Тоже сбежала?

— Умерла в темнице.

— О боги! Кто посмел ее бросить туда?

— Она сама обвинила себя в убийстве твоего сына...

— Что?!

Громкие возгласы раздались у ног царевича: это шли ливийские пленники, взятые во время сражения, и во главе их печальный Техенна.

Сердце Рамсеса в эту минуту было так переполнено страданием, что он подозревал Техенну и сказал ему:

— Подойди к отцу твоему Муссавасе. Пусть он прикоснется к тебе и удостоверится, что ты жив.

Эти слова были встречены мощным криком восторга всех ливийцев и всех солдат египетской армии. Но царевич не слышал его.

— Мой сын умер? — спросил он жреца. — Сарра обвинила себя в детоубийстве? Неужели безумие обуяло ее душу?

— Ребенка убил негодяй Ликон...

— О боги, пошлите мне силы!.. — простонал Рамсес.

— Крепись, государь, как подобает победоносному вождю.

— Разве можно победить такую скорбь? О бессердечные боги!

— Ребенка убил Ликон. Увидев убийцу в темноте, Сарра подумала, что это ты, и, чтобы тебя спасти, взяла вину на себя...

— А я прогнал ее из моего дома! А я сделал ее прислужницей финикийки... — шептал Рамсес.

Наконец появились египетские солдаты, неся полные корзины рук, отрезанных у павших ливийцев.

При виде их царевич закрыл лицо и горько заплакал.

Военачальники тотчас же окружили колесницу и стали утешать своего полководца, а жрец Ментесуфис предложил, чтобы с этих пор египетские воины никогда не отрезали рук у павших на поле брани врагов.

Таким неожиданным образом закончилась первая победа наследника египетского престола, но слезы, пролитые им, сильнее, чем победоносная битва, покорили ливийцев. И никто не удивился, когда, мирно усевшись вокруг костров, ливийские и египетские солдаты стали делить между собою хлеб и пить из одной чаши. Вражда и ненависть, которые могли длиться целые годы, уступили место глубокому чувству мира и взаимного доверия.

Рамсес распорядился, чтобы Муссаваса, Техенна и знатные ливийцы немедленно отправились с дарами в Мемфис, и дал им конвой не столько для надзора за ними, сколько для охраны их самих и принесенных ими подарков. Сам же ушел в свой шатер и не показывался несколько часов. Он не принял даже Тутмоса, как человек, которому скорбь заменила самого близкого друга.

Под вечер к нему явилась депутация греческих офицеров во главе с Калиппом. Когда наследник спросил, чего они хотят, Калипп ответил:

— Мы явились молить тебя, господин, чтобы тело нашего вождя и твоего слуги Патрокла не было отдано египетским жрецам, а сожжено по греческому обычаю.

Царевич удивился:

— Вам, вероятно, известно, что из трупа Патрокла жрецы хотят сделать священную мумию и поместить ее среди гробниц фараонов. Разве может человек заслужить большую честь в этом мире?

Греки молчали в нерешительности. Наконец Калипп, собравшись с духом, ответил:

— Господин наш, дозвожь открыть перед тобой сердце. Мы хорошо знаем, что превращение в мумию для человека лучше, чем сожжение, ибо, в то время как душа сожженного тотчас же переносится в страну вечности, душа забальзамированного может тысячу лет жить в этом мире и наслаждаться его красотами. Но египетские жрецы, о вождь, — да не оскорбит это ушей твоих! — ненавидели Патрокла. Кто же может поручиться нам, что жрецы, сохраняя мумию, не для того задерживают его душу на земле, чтобы подвергнуть ее терзаниям? И чего бы стоили мы, если бы, подозревая месть, не сберегли от нее душу нашего соотечественника и предводителя?

Удивление Рамсеса возросло еще больше.

— Поступайте, — сказал он, — как считаете нужным.

— А если они не отдадут нам тела?

— Приготовьте только костер, остальное беру на себя.

Греки ушли. Рамсес послал за Ментесуфисом.

22

Жрец искоса посмотрел на наследника и нашел его очень осунувшимся и бледным. Глаза его глубоко ввалились и утратили свой блеск.

Услышав, чего хотят греки, Ментесуфис сразу согласился выдать тело Патрокла.

— Греки правы, — заявил жрец. — Мы могли бы причинять страдания тени Патрокла после его смерти. Но глупо предполагать, что какой-нибудь египетский или халдейский жрец способен совершить подобное преступление. Пусть берут тело своего земляка, если думают, что под защитой их обычаев он будет счастливее после смерти.

Царевич тотчас же послал офицера с соответствующим приказом, Ментесуфиса же задержал у себя. Очевидно, он хотел ему что-то сказать, но не решался.

После длительной паузы он вдруг спросил жреца:

— Тебе, наверно, известно, святой пророк, что одна из моих женщин, Сарра, умерла, а ее сын убит?

— Это случилось, — ответил Ментесуфис, — как раз в ту ночь, когда мы покинули Бубаст.

Царевич вскочил.

— О праведный Амон! — вскричал он. — Это случилось так давно, а вы мне ничего не сказали! Даже о том, что я подозревался в убийстве своего ребенка.

— Господин, — сказал жрец, — у главнокомандующего накануне сражения нет ни отца, ни ребенка — никого: есть только его армия и неприятель. Разве могли мы в столь важную минуту беспокоить тебя подобными сообщениями?

— Это верно, — ответил Рамсес, подумав. — Если б сейчас нас захватили врасплох, я не знаю, смог ли бы я правильно вести защиту. И вообще не знаю, смогу ли когда-либо снова обрести покой... Такая крошка, такое красивое дитя!.. И эта женщина, которая пожертвовала собой ради меня, хотя я так жестоко обидел ее!.. Никогда я не думал, что бывают такие несчастья и что человеческое сердце может перенести их.

— Время все исцеляет... Время и молитвы, — прошептал жрец.

Царевич покачал головой, и снова в шатре воцарилась такая тишина, что слышно было, как песок пересыпается в песочных часах.

— Скажи мне, святой отец, — сказал наконец наследник, — какая разница между сожжением умершего и превращением его в мумию? Я хотя и слышал кое-что об этом в школе, но не разбираюсь в этом вопросе, которому греки придают такое большое значение.

— Мы придаем ему еще большее, величайшее значение... — ответил жрец. — Об этом свидетельствуют наши города мертвых, занимающие целый край западной пустыни, свидетельствуют пирамиды — гробницы фараонов Древнего царства, и гигантские усыпальницы, высеченные в скалах для царей нашей эпохи. Погребение мертвых и устройство их загробных жилищ — это величайшее дело для людей. Ибо, в то время как в телесной оболочке мы живем пятьдесят, сто лет, наши тени продолжают жить десятки тысяч лет, до полного очищения. Ассирийские варвары смеются над тем, что мы больше внимания уделяем мертвым, чем живым. Но они пожалели бы о своем невнимании к умершим, если б им была, как нам, известна тайна смерти и могилы.

Рамсес вздрогнул.

— Ты пугаешь меня, — сказал он. — Разве ты забыл, что среди умерших у меня есть два дорогих существа, не похороненных согласно египетскому ритуалу?

— Ты ошибаешься. Как раз сейчас делают их мумии. И Сарра, и твой сын получат все, что может пригодиться им в долгом странствовании...

— В самом деле? — Лицо Рамсеса просветлело.

— Ручаюсь тебе, что это так, — ответил жрец, — и что будет сделано все, что нужно, чтобы ты, господин, нашел их счастливыми, когда и тебя станет тяготить земное бытие.

Наследник был очень растроган словами жреца.

— Значит, ты думаешь, святой отец, что когда-нибудь я снова увижу своего сына и смогу сказать этой женщине: «Сарра, я знаю, что поступил с тобою слишком сурово!..»

— Я так же уверен в этом, как в том, что сейчас вижу тебя...

— Так говори... рассказывай! — воскликнул царевич. — Человек до тех пор не думает о могиле, пока не опустит в нее часть самого себя. Меня же постигло это несчастье, и как раз в ту минуту, когда я думал, что, кроме фараона, нет никого могущественнее меня.

— Ты спрашивал, господин, — начал Ментесуфис, — какая разница между сожжением умершего и превращением его в мумию? Такая же, как между уничтожением одежды и хранением ее в кладовой. Когда одежда в сохранности, она может не раз пригодиться, и тем более, если она у тебя одна, было бы безумием сжигать ее.

— Этого я не понимаю, — заметил Рамсес, — этому вы не учите даже в высшей школе.

— Но мы можем сказать наследнику фараона. Тебе известно, — продолжал жрец, — что человеческое существо состоит из тела, искры божией и тени, или Ка, которая соединяет тело с искрой божией. Когда человек умирает, его тень и искра отделяются от тела. Если бы человек жил безгрешно, его искра божия вместе с тенью тотчас ушла бы к богам для вечной жизни. Но каждый человек грешит, загрязняет себя в этом мире, и потому его тень — Ка — должна очищаться, иногда в продолжение многих тысяч лет. Очищается же она тем, что, незримая, блуждает по нашей земле среди людей, совершая добрые поступки. Впрочем, тени преступников даже в загробной жизни совершают преступления и окончательно губят и себя, и заключенную в них искру божью. Надо помнить — и для тебя это, наверно, не тайна, — что тень, Ка, в точности похожа на человека, но только как будто соткана из очень тонкого тумана. У тени есть голова, руки и туловище, она может ходить, говорить, бросать или поднимать предметы, одеваться, как человек, и даже, особенно первые несколько сот лет после смерти, должна время от времени чем-нибудь подкрепляться. Впоследствии для нее достаточно изображения яств. Но главную свою силу тень черпает из тела, остающегося после нее на земле. Если мы бросаем тело в могилу, оно быстро портится, и тень вынуждена питаться прахом и гнилью. Если мы сжигаем тело, у тени остается для питания только пепел. Если же мы сделаем из тела мумию, то есть если забальзамируем тело на тысячу лет, тень, Ка, всегда здорова, сильна и проводит время своего очищения спокойно и даже приятно...

— Удивительно, — прошептал наследник.

— Благодаря своим тысячелетним исследованиям жрецы узнали много важных подробностей о загробной жизни. Стало известно, что, когда в теле умершего остаются внутренности, его тень, Ка, требует столько же пищи, сколько и человек; когда же пищи не хватает, тень бросается на живых и высасывает из них кровь. Если же из трупа вынуть внутренности, как мы это делаем, то тень

обходится почти без пищи: ее собственного тела, набальзамированного и наполненного сильно пахнущими травами, хватает ей на миллионы лет. Точно так же установлено, что если могила умершего оставлена в небрежении, то тень тоскует и без нужды бродит по земле. Если же в посмертное жилище положена одежда, утварь, орудие и инструменты, которые любил умерший, если стены покрыты картинами, изображающими пиршества, охоту, богослужения, войны и вообще события, в которых покойный принимал участие, если туда помещены также изваяния его близких, прислуги, лошадей, собак, скота, тогда тень не выходит без нужды в мир, ибо находит его в своем доме мертвых. Кроме того, установлено, что многие тени, даже пройдя путь покаяния, не могут войти в страну вечного счастья, ибо не знают соответствующих молитв, заклинаний и как вести беседу с богами. Мы предупреждаем это, заворачивая мумии в папирусы, на которых написаны соответствующие изречения, и кладем в гроб «Книгу мертвых»^[121]. Словом, наш похоронный обряд дает тени силу, охраняет ее от неудобств и тоски по земле, помогает ей войти в общение с богами и спасает живущих от вреда, какой могли бы причинить им тени. Именно это имеем мы в виду, так заботясь о мертвых, и поэтому мы воздвигаем им дворцы и в них — уютнейшие жилища.

Царевич задумался о чем-то. Наконец сказал:

— Я понимаю, что вы оказываете большую услугу бессильным и беззащитным теням, снабжая их таким образом всем необходимым. Но... кто убедит меня, что тени действительно существуют? О том, что существует безводная пустыня, — продолжал царевич, — я знаю, потому что вижу ее, потому что утопал в ее песках и испытал ее зной. О том, что существуют страны, в которых вода затвердевает, как камень, а пар превращается в белый пух, я тоже знаю, мне говорили об этом заслуживающие доверия очевидцы... Но откуда вы знаете про тени, которых никто не видел, и про их посмертную жизнь, когда ни один человек не вернулся из царства мертвых?

— Ты ошибаешься, царевич, — ответил жрец. — Тени являются иногда людям, и даже случалось, что они открывали им свои тайны. Можно прожить в Фивах десять лет и не видеть дождя; можно прожить сто лет и не встретить тени. Но тот, кто прожил бы сотни лет в Фивах или тысячи лет на земле, увидел бы не один дождь и не одну тень.

— Но кто это жил тысячу лет? — спросил царевич.

— Жила, живет и будет жить святая каста жрецов, — ответил Ментесуфис. — Это она тридцать тысяч лет тому назад поселилась на берегах Нила, она все это время исследовала небо и землю, она создала мудрость и начертала планы всех полей, плотин, каналов, пирамид и храмов...

— Это верно, — перебил Рамсес, — каста жрецов мудра и могущественна. Но где же тени? Кто их видел? Кто разговаривал с ними?

— Знай, господин, — продолжал Ментесуфис, — тень есть в каждом живом человеке. И подобно тому, как есть люди, отличающиеся огромной силой и

проницательным взглядом, так есть и такие, которые обладают необычайным даром — еще при жизни выделять свою тень. Наши священные книги полны достовернейших рассказов об этом. Не один пророк умел погружаться в сон, похожий на смерть. Тогда его тень, отделившись от тела, мгновенно переносилась в Тир, Ниневию, Вавилон, видела, что было необходимо, незримо присутствовала при совещаниях, интересующих нас, и, когда пророк просыпался, все ему рассказывала. Не один злой кудесник, засыпая, посылал в дом ненавистного человека свою тень, пугая всю семью. Случалось, что человек, преследуемый тенью кудесника, пронзал ее копьем или мечом. Тогда в доме преследуемого появлялись кровавые следы, а у кудесника оказывалась на теле точь-в-точь такая рана, какая была нанесена тени. Не раз также тень живого человека появлялась вместе с ним, в нескольких шагах от него...

— Знаю я, какие это тени, — пробормотал с насмешкой царевич.

— Я должен добавить, — продолжал Ментесуфис, — что не только люди, но и животные, растения, камни, здания, утварь также имеют свои тени. Только — странное дело! — тень неживого предмета не мертва, а обладает жизнью: двигается, переходит с места на место, даже думает и высказывает свои мысли при помощи различных знаков, большей частью стука. Когда человек умирает, тень его продолжает жить и иногда является людям. В наших книгах записаны тысячи подобных случаев. Одни тени требовали пищи, другие ходили по дому, работали в саду или охотились в горах с тенями своих собак и кошек. Некоторые тени пугали людей, уничтожали их имущество, пили их кровь, даже соблазняли живых на разврат... Но бывали и добрые тени: матери, заботившиеся о детях, павшие воины, предупреждавшие о неприятельской засаде, жрецы, открывавшие нам важнейшие тайны... Еще при восемнадцатой династии тень фараона Хеопса (который отбывает покаяние за то, что угнетал народ, воздвигавший ему пирамиду) появилась на нубийских золотых приисках и, сжалившись над страданиями работавших там узников, указала им новый источник воды.

— Ты рассказываешь интересные вещи, святой муж, — сказал царевич. — Разрешите же и мне рассказать тебе кое-что. Однажды ночью в Бубасте мне показали мою тень. Она была в точности похожа на меня и даже одета так же. Но вскоре я узнал, что это вовсе не тень, а живой человек, некто Ликон, впоследствии убивший моего сына... Свои преступления он начал с того, что преследовал финикиянку Каму. Я назначил награду за его поимку... Но наша полиция не только не поймала его, но даже позволила ему похитить эту самую Каму и убить невинного ребенка... Сейчас я узнал, что Каму нашли, а об этом негодяе ничего не известно. Наверно, он здоров, весел и живет на свободе, пользуясь награбленными драгоценностями. Может быть, даже готовится к новым преступлениям.

— Столько людей преследуют этого убийцу, что когда-нибудь он должен быть пойман, — ответил Ментесуфис. — Когда же, рано или поздно, он попадет в наши руки, Египет заплатит ему за огорчения, которые он причинил наследнику

престола. Верь мне, господин, ты можешь заранее простить ему все преступления, ибо наказание будет соответствовать злу.

— Я предпочел бы, чтобы он был в моих руках, — ответил царевич. — Иметь такую «тень» при жизни — опасная вещь.[122]

Не очень довольный этим заключением беседы, святой Ментесуфис простился с царевичем. После него вошел Тутмос, сообщивший, что греки сооружают костер для своего военачальника и что несколько ливийских женщин согласились плакать во время похоронного обряда.

— Мы будем присутствовать на нем, — сказал Рамсес. — Ты знаешь, что мой сын убит? Такое крохотное дитя! Когда я брал его на руки, он смеялся и тянулся ко мне ручонками. Удивительно, сколько подлости может вместить людское сердце. Если бы этот негодяй Ликон покусился на мою жизнь, я бы его понял и даже простил... Но — убить ребенка...

— А о самопожертвовании Сарры говорили тебе? — спросил Тутмос.

— Да. Мне кажется, что это была самая верная из моих женщин, а я так бессовестно поступил с ней... Но как это может быть, — воскликнул царевич, ударяя кулаком по столу, — чтобы до сих пор не был пойман негодяй Ликон?! Мне поклялись финикияне... Я обещал награду начальнику полиции... Здесь, несомненно, что-то кроется...

Тутмос подошел к Рамсесу и стал шептать ему на ухо:

— У меня был посланец от Хирама, который, опасаясь преследований жрецов, скрывается, собираясь покинуть Египет... Хирам будто бы узнал от начальника полиции Бубаста, что... Ликон пойман... но это тайна.

Тутмос глядел на царевича с испугом.

Рамсес пришел было в ярость, но тотчас же овладел собой.

— Пойман? — повторил он. — К чему же эта таинственность?

— Начальник полиции, по приказу верховной коллегии, вынужден был передать его святому Мефресу.

— Так! Так! — повторил несколько раз Рамсес. — Значит, досточтимейшему Мефресу и верховной коллегии нужен человек, похожий на меня! Моему ребенку и Сарре хотят устроить торжественные похороны. Бальзамируют их трупы, а убийцу скрывают в безопасном месте! Так! Святой Ментесуфис — великий мудрец. Он рассказал мне сегодня все тайны загробной жизни, растолковал мне похоронный ритуал, как если б я сам был жрецом, по крайней мере третьей степени. А про поимку Ликона и про то, что убийцу припрятал Мефрес, даже не заикнулся! По-видимому, святые отцы больше дорожат мелкими секретами наследника престола, чем великими тайнами загробной жизни. Так!

— Мне кажется, государь, это не должно тебя удивлять, — заметил Тутмос. — Ты знаешь, что жрецы догадываются о твоём нерасположении к ним и принимают меры предосторожности, тем более...

— Что — тем более?

— Что его святейшество очень болен... очень...

— Вот как? У меня болен отец, а я в это время должен во главе армии стеречь пески пустыни! Хорошо, что ты мне сказал об этом! Да, фараон, должно быть, опасно болен, если жрецы так внимательны ко мне... Все показывают мне, рассказывают обо всем, кроме того, что Мефрес припрятал Ликона. Тутмос, — обратился царевич к своему другу, — ты и сейчас уверен в том, что я могу рассчитывать на армию?

— Пойдем на смерть — только прикажи!

— И за знать тоже ручаешься?

— Как за армию.

— Хорошо, — ответил наследник, — теперь мы можем отдать последний долг Патроклу.

23

Пока царевич Рамсес в течение нескольких месяцев исполнял обязанности наместника Нижнего Египта, здоровье его святейшего отца все ухудшалось. Приближалась минута, когда владыка вечности, пробуждающий радость в сердцах, повелитель Египта и всех стран, озаряемых солнцем, должен был занять место рядом с досточтимыми своими предшественниками в катакомбах, расположенных на левом берегу Нила, против города Фив.

Богоравный властелин, дающий жизнь своим подданным и имеющий право, согласно желанию своего сердца, отнимать у мужей их жен, был еще не стар, но тридцать с лишним лет царствования так утомили его, что он сам хотел отдохнуть и вернуть себе молодость и красоту в стране заката, где каждый фараон вовеки царствует в радости над народами, столь счастливыми, что никто и никогда не пожелал оттуда вернуться.

Еще полгода назад благочестивый фараон выполнял все обязанности повелителя страны, обеспечивая этим безопасность и благополучие всего зримого мира.

Рано утром с первыми петухами жрецы будили повелителя гимном в честь восходящего солнца. Фараон поднимался с лодка и совершал в золоченой ванне омовение розовой водой. Затем его божественное тело натиралось ароматными маслами под шепот молитв, имевших свойство отгонять злых духов.

Очищенный и окуренный благовониями, фараон шел к часовне, срывал с ее дверей глиняную печать и один входил в святилище, где на ложе из слоновой кости возлежало чудесное изваяние бога Осириса. Эта статуя обладала необыкновенным даром: каждую ночь у нее отваливались руки, ноги и голова,

отрубленные некогда злобным богом Сетом, а наутро, после молитвы фараона, вновь прирастали сами собой. Когда святейший владыка убеждался, что Осирис снова цел, он снимал его с ложа, купал, одевал в драгоценные одежды и, усадив на малахитовый трон, воскурял перед ним благовония. Обряд этот имел чрезвычайно важное значение, так как если бы божественное тело Осириса в какое-либо утро не срослось, это явилось бы предвестием великих бедствий не только для Египта, но и для всего мира.

После воскрешения и облачения бога Осириса фараон оставлял дверь часовни открытой, чтобы исходящая из нее благодать изливалась на всю страну. Он сам назначал жрецов, которые должны были охранять святилище, не столько от злой воли людей, сколько от их легкомыслия, так как не раз случалось, что кто-нибудь, неосторожно подойдя слишком близко к святому месту, получал невидимый удар, который лишал его сознания, а иногда и жизни.

Закончив обряд богослужения, фараон в сопровождении жрецов, поющих молитвы, шел в большую трапезную залу. Там стояли столик и кресло для него и девятнадцать других столиков перед девятнадцатью статуями, изображающими девятнадцать предшествующих династий. Когда фараон садился за стол, в залу вбегали молодые девушки и юноши, держа в руках серебряные тарелки с мясом и сладостями и кувшины с вином. Жрец, наблюдавший за царской кухней, отведывал кушанье из первой тарелки и вино из первого кувшина, которые затем прислужники, стоя на коленях, подавали фараону, а другие тарелки и кувшины ставились перед статуями предков. После того как фараон, утолив голод, покидал залу, блюда, предназначенные для предков, передавались царским детям и жрецам.

Из трапезной фараон направлялся в столь асе большую залу для приемов. Тут приветствовали его, падая ниц, самые важные государственные сановники и ближайшие члены семьи, после чего военный министр Херихор, верховный казначей, верховный судья и верховный начальник полиции докладывали ему о делах государства. Доклады прерывались религиозной музыкой и плясками, во время которых танцовщицы засыпали трон венками и букетами.

После этого фараон шел в расположенный рядом кабинет и отдыхал несколько минут, лежа на диване. Затем совершал перед богами возлияния вином, воскурял благовония и рассказывал жрецам свои сны. Толкуя их, мудрецы составляли высочайшие указы по делам, ожидавшим решения фараона.

Но иногда, когда снов не было или когда толкование их казалось повелителю неправильным, он благодушно улыбался и приказывал поступить так-то и так-то. Приказание это являлось законом, которого никто не смел изменить, разве что в деталях.

В послеполуденные часы его святейшество, несомый в носилках, появлялся во дворе перед своей верной гвардией, после чего поднимался на террасу и, обращаясь к четырем сторонам света, посылал им свое благословение. В это время на пилонах взвивались флаги и раздавались мощные звуки труб. Всякий,

кто их слышал в городе или в поле, будь то египтянин или варвар, падал ниц, дабы и на него снизошла частица всевышней благодати.

В такую минуту нельзя было ударить ни человека, ни животное, и если преступник, осужденный на смертную казнь, мог доказать, что приговор был прочтен ему во время выхода фараона на террасу, наказание ему смягчалось. Ибо впереди повелителя земли и неба шествует могущество, а позади милосердие.

Осчастливив народ, владыка всего сущего под солнцем спускался в свои сады, в чащу пальм и сикомор и отдыхал там, принимая дань ласк от своих женщин и любуясь играми детей своего дома. Если кто-нибудь из них обращал на себя внимание красотой или ловкостью, он подзывал его к себе и спрашивал:

— Кто ты, малыш?

— Я царевич Бинотрис, сын фараона, — отвечал мальчуган.

— А как зовут твою мать?

— Моя мать — госпожа Амесес, женщина фараона.

— А что ты умеешь делать?

— Я умею уже считать до десяти и писать: «Да живет вечно отец и бог наш, святейший фараон Рамсес!»

Повелитель вечности благодушно улыбался и своей неясной, почти прозрачной рукой прикасался к кудрявой головке бойкого мальчугана. С этого момента ребенок уже действительно считался царевичем, хотя фараон и продолжал загадочно улыбаться.

Но кого раз коснулась божественная рука, тот уже не должен был знать горя в жизни и был возвышен над остальными.

Обедать повелитель шел в другую трапезную, где делился яствами с богами всех номов Египта, изваяния которых стояли вдоль стен. Чего не съедали боги, то доставалось жрецам и высшим придворным.

К вечеру фараон принимал у себя госпожу Никотрису, мать наследника престола, смотрел религиозные пляски и разнообразные представления. Потом отправлялся снова в ванную и, очистившись, входил в часовню Осириса, чтобы раздеть и уложить чудесного бога. Совершив это, он запирали и припечатывал двери часовни и, провожаемый процессией жрецов, направлялся в свою опочивальню.

Жрецы до восхода солнца возносили в соседнем покое тихие молитвы к душе фараона, которая во время сна пребывает среди богов. Они обращались к ней с просьбой разрешить текущие дела государства и хранить границы Египта и гробницы царей, дабы ни один вор не посмел проникнуть в них и нарушить вечный покой славных повелителей. Однако молитвы утомленных за день жрецов не всегда достигали цели: государственные затруднения не переставали

расти, да и святые гробницы обкрадывались, причем выносились не только драгоценности, но даже и мумии фараонов.

Это происходило оттого, что в стране было много чужеземцев и язычников, у которых народ научился относиться с пренебрежением к египетским богам и святыням.

Сон повелителя повелителей прерывали один раз, в полночь. В этот час астрологи будили фараона и сообщали ему, в какой четверти находится луна, какие планеты сияют над горизонтом, какое созвездие проходит через меридиан и вообще не наблюдается ли на небе чего-нибудь необычайного. Иногда случалось, что появлялись тучи, звезды падали чаще, нежели обычно, или над землей проносились огненные шары.

Владыка выслушивал доклады астрологов и в случае какого-либо необыкновенного явления успокаивал их, что миру не грозит никакая опасность. Все наблюдения, по приказу фараона, заносились в таблицы, которые отправлялись ежемесячно жрецам храма Сфинкса — мудрейшим людям Египта. Ученые мужи делали на основании этих записей различные выводы, но самых важных не объявляли никому, разве что своим единомышленникам — халдейским жрецам в Вавилоне.

После полуночи фараон мог уже спать до первых петухов, если считал это нужным.

Такую благочестивую и многотрудную жизнь вел еще полгода тому назад добрый бог, податель жизни, мира и здоровья, неусыпно опекая землю и небо, зримый и незримый мир.

Но вот уже полгода, как вечно живущую душу его все чаще начала тяготить земная плоть и земные дела. Бывали дни, когда он ничего не ел, и ночи, когда совсем не спал. Иногда во время приема на кротком лице фараона появлялось выражение глубокого страдания, и он все чаще и чаще впадал в обморочное состояние.

Встревоженная царица Никотриса, достойнейший министр Херихор и жрецы неоднократно спрашивали повелителя, не болит ли у него что-нибудь. Но повелитель пожимал плечами и молчал, продолжая исполнять свои многотрудные обязанности.

Тогда придворные лекари стали незаметно давать ему сильные укрепляющие средства. Ему подмешивали в вино и пищу сперва пепел лошади и быка, потом льва, носорога и слона. Но могущественные целебные снадобья, казалось, не производили никакого действия; фараон так часто терял сознание, что министры перестали являться к нему с докладами.

Однажды достойнейший Херихор с царицей и жрецами пали ниц перед повелителем и умоляли его, чтобы он разрешил обследовать свое божественное тело. Повелитель согласился. Лекари осмотрели его и выстукали, но, кроме крайнего истощения, не нашли никаких опасных признаков.

— Что ты чувствуешь? — спросил наконец мудрейший из врачей.

Фараон улыбнулся.

— Я чувствую, — ответил он, — что пора мне вернуться к лучезарному отцу.

— Ваше святейшество не может сделать этого, не причинив величайшего вреда своим народам, — поспешил заметить Херихор.

— Я оставляю вам сына Рамсеса — это лев и орел в одном лице, — молвил повелитель. — И воистину, если вы будете его слушать, он уготовит Египту такую судьбу, о какой не слыхали от начала мира.

Святого Херихора и других жрецов обдало холодом от этого обещания. Они знали, что наследник престола лев и орел в одном лице и что они должны ему повиноваться, однако предпочитали еще долгие годы иметь вот этого великодушного повелителя, сердце которого, полное милосердия, было как северный ветер, приносящий дождь полям и прохладу людям.

Поэтому они все, как один, со стоном пали на землю и лежали на животе до тех пор, пока фараон не согласился подвергнуться лечению.

Тогда врачи вынесли его на целый день в сад под сень душистых хвойных деревьев, приказали кормить его рубленным мясом, поить крепким бульоном, молоком и старым, выдержанным вином. Эти прекрасные средства на несколько дней укрепили силы фараона. Но вскоре появился новый приступ слабости, и для борьбы с ним повелителя заставили пить свежую кровь телят, потомков священного Аписа. Однако и кровь помогла ненадолго, и пришлось обратиться за советом к верховному жрецу храма злого бога Сета.

Мрачный жрец вошел в опочивальню его святейшества, взглянул на больного и прописал страшное лекарство.

— Надо, — сказал он, — давать фараону кровь невинных детей. По кубку в день.

Жрецы и вельможи, находившиеся в опочивальне, онемели, выслушав такой совет. Потом стали перешептываться между собой, говоря, что для этой цели лучше всего подойдут крестьянские дети, ибо дети жрецов и высоких господ уже в младенчестве утрачивают невинность.

— Для меня все равно, чьи это будут дети, — ответил жестокий жрец, — лишь бы фараон пил ежедневно свежую кровь.

Повелитель, лежа в кровати с закрытыми глазами, слышал этот жестокий совет и робкий шепот придворных. Когда-же кто-то из врачей нерешительно спросил Херихора, надо ли начать поиски подходящих детей, фараон очнулся, пристально посмотрел на присутствующих своими умными глазами и сказал:

— Крокодил не пожирает своих младенцев, шакал и гиена отдают жизнь за своих щенят, — неужели же я стану пить кровь египетских детей — моих детей? Воистину никогда я не предполагал, что кто-нибудь посмеет прописать мне такое недостойное лекарство.

Жрец злого бога пал на землю, уверяя в свое оправдание, что крови детей никто никогда не пил в Египте, но что силы преисподней якобы таким способом возвращают больному здоровье. Этим средством пользуются в Ассирии и Финикии.

— Постыдился бы ты, — ответил фараон, — рассказывать во дворце египетских повелителей о таких мерзких вещах. Разве ты не знаешь, что финикияне и ассирийцы — темные варвары? А у нас самый невежественный земледелец не поверит, чтобы невинно пролитая кровь могла кому-нибудь принести пользу.

Так говорил равный бессмертным.

Придворные закрыли руками лица, покрывшиеся краской стыда, а верховный жрец Сета незаметно скрылся.

Тогда Херихор, чтобы спасти угасающую жизнь повелителя, прибегнул к крайнему средству и сказал фараону, что в одном из фиванских храмов тайно пребывает халдей Бероэс, мудрейший жрец Вавилона, чудотворец, не знающий себе равных.

— Для тебя, святейший государь, — сказал он, — это чужой человек, не имеющий права давать советы в столь важном деле. И все же разреши ему, о царь, взглянуть на тебя. Я уверен, что он найдет лекарство против твоей болезни и ни в коем случае не оскорбит твоей святости безбожными словами.

Фараон и на этот раз подчинился уговорам верного слуги, и через два дня Бероэс, вызванный какими-то тайными путями, прибыл в Мемфис.

Мудрый халдей, даже не осматривая подробно фараона, дал следующий совет:

— Надо найти в Египте человека, молитвы которого доходят до престола всевышнего, и, когда он искренне помолится за фараона, повелитель обретет свое здоровье и будет жить долгие годы.

Услышав эти слова, фараон посмотрел на группу окружавших его жрецов и сказал:

— Я вижу здесь столько святых мужей, что, если кто-нибудь из них захочет позаботиться обо мне, я буду здоров...

И чуть заметно улыбнулся.

— Все мы только люди, — заметил чудотворец Бероэс, — и души наши не всегда могут вознестись к подножию предвечного. Я дам, однако, твоему святейшеству безошибочный способ найти человека, который молится искренне и молитвы которого достигают цели.

— Так найди его, и да будет он моим другом в последний час моей жизни.

Получив согласие повелителя, халдей потребовал, чтобы ему отвели нежилую комнату с одной дверью. И в тот же день, за час до заката солнца, велел перенести туда фараона.

В назначенный час четверо высших жрецов одели фараона в новую льняную одежду, произнесли над ним чудотворную молитву, которая отгоняла злые силы, и, посадив своего господина в простые носилки из кедрового дерева, внесли его в пустую комнату, где стоял один только маленький стол. Там уже был Берозс; обратившись лицом к востоку, он молился.

Когда жрецы вышли, халдей запер тяжелую дверь, возложил на плечи пурпурный шарф, а на столик перед фараоном поставил черный блестящий шар. В левую руку он взял острый кинжал из вавилонской стали, в правую жезл, покрытый таинственными знаками, и описал в воздухе круг этим жезлом вокруг себя и фараона. Затем, обращаясь по очереди ко всем четырем сторонам света, стал шептать:

— Аморуль, Танеха, Латистен, Рабур, Адонай... Сжался надо мной и очисти меня, отец небесный, милостивый и милосердный... Ниспошли на недостойного слугу твоего святое благословение и защити от духов, строптивых и мятежных, дабы я мог в спокойствии обдумать и взвесить твои святыя дела!

Он остановился и обратился к фараону:

— Мери-Амон-Рамсес, верховный жрец Амона, видишь ли ты в этом черном шаре искру?

— Я вижу белую искорку, которая кружится, подобно пчеле над цветком.

— Мери-Амон-Рамсес, смотри на эту искру и не отрывай от нее глаз, не смотри ни направо, ни налево, что бы ни появилось по сторонам. — И снова зашептал: — Бараланенсис, Балдахуенсис, — во имя могущественных князей Гению, Лахиадаэ, правителей царства преисподней, вызываю вас, призываю данной мне верховной властью, заклинаю и повелеваю.

При этих словах фараон вздрогнул от отвращения.

— Мери-Амон-Рамсес, что ты видишь? — спросил халдей.

— Из-за шара выглядывает какая-то ужасная голова... Рыжие волосы встали дыбом... Лицо зеленоватого цвета... Зрачки глаз опущены вниз, так что видны одни белки... Рот широко открыт, как будто хочет кричать...

— Это страх, — сказал Берозс и направил сверху на шар острие кинжала.

Вдруг фараон весь съежился.

— Довольно! — вскричал он. — Зачем ты меня мучаешь? Утомленное тело хочет отдохнуть, душа — отлететь в страну вечного света. А вы не только не даете мне умереть, а еще придумываете новые муки... О... не хочу!

— Что ты видишь?

— С потолка поминутно спускаются как будто две паучьи ноги, ужасные, толстые, как пальмы, косматые, крючковатые на концах... Чувствую, что над моей головой висит чудовищный паук и опутывает меня сетью из корабельных канатов...

Бероэс повернул кинжал кверху.

— Мери-Амон-Рамсес! — произнес он опять. — Смотри все время на искру и не оглядывайся по сторонам... Вот знак, который я поднимаю в вашем присутствии... — прошептал он. — Я, вооруженный помощью божией, неустрашимый ясновидец, вызываю вас заклинаниями... Аие, Сарайе, Аие, Сарайе, Аие, Сарайе... именем всемогущего, вечно живого бога.

На лице фараона появилась спокойная улыбка.

— Мне кажется, — промолвил он, — что я вижу Египет... Весь Египет. Да, это Нил... пустыня... Вот тут Мемфис, там Фивы...

Он и в самом деле видел Египет, весь Египет, размерами, однако, не больше аллеи, пересекавшей сад его дворца. Удивительная картина обладала, впрочем, тем свойством, что, когда фараон устремлял на какую-нибудь точку более пристальный взгляд, точка эта разрасталась в местность почти естественных размеров.

Солнце уже спускалось, заливая землю золотисто-пурпурным светом. Дневные птицы садились, чтобы заснуть, ночные просыпались в своих убежищах. В пустыне зевали гиены и шакалы, а дремлющий лев потягивался могучим телом, готовясь к погоне за добычей.

Нильский рыбак торопливо вытаскивал сети, большие торговые суда причаливали к берегам. Усталый земледелец снимал с журавля ведро, которым весь день черпал воду, другой медленно возвращался с плугом в свою мазанку. В городах зажглись огни, в храмах жрецы собирались к вечернему богослужению. На дорогах оседала пыль и смолкали скрипучие колеса телег. С вышек пилонов слышались заунывные звуки, призывавшие народ к молитве. Немного спустя фараон с изумлением увидел как бы стаю серебристых птиц, реявших над землей. Они вылетали из храмов, дворцов, улиц, мастерских, нильских судов, деревенских лачуг, даже из рудников. Сначала каждая из них взвивалась стрелой вверх, но, повстречавшись с другой серебристоперой птицей, которая пересекала ей дорогу, ударяла ее изо всех сил, и обе запертво падали на землю.

Это были противоречивые молитвы людей, мешавшие друг другу вознестись к трону предвечного.

Фараон прислушался.

Вначале до него долетал лишь шелест крыльев, но вскоре он стал различать слова.

Он услышал больного, который молился о возвращении ему здоровья, и одновременно лекаря, который молил, чтобы его пациент болел как можно дольше; хозяин просил Амона охранять его амбар и хлеб, вор же простирали руки к небу, чтобы боги не препятствовали ему увести чужую корову и наполнить мешки чужим зерном.

Молитвы их сталкивались друг с другом, как камни, выпущенные из пращи.

Путник в пустыне падал ниц на песок, моля о северном ветре, который принес бы ему каплю воды; мореплаватель бил челом о палубу, чтобы еще неделю ветры дули с востока. Земледелец просил, чтобы скорее высохли болота; нищий рыбак — чтобы болота никогда не высыхали.

Их молитвы тоже разбивались друг о дружку и не доходили до божественных ушей Амона.

Особенный шум царил над каменоломнями, где закованные в цепи каторжники с помощью клиньев, смачиваемых водой, раскалывали огромные скалы. Там партия дневных рабочих молила, чтобы спустилась ночь и можно было лечь спать, а рабочие ночной смены, которых будили надсмотрщики, били себя в грудь, моля, чтоб солнце никогда не заходило. Торговцы, покупавшие обтесанные камни, молились, чтобы в каменоломнях было как можно больше каторжников, тогда как поставщики продовольствия лежали на животе, призывая на каторжников мор, ибо это сулило кладовщикам большие выгоды.

Молитвы людей из рудников тоже не долетали до неба.

На западной границе фараон увидел две армии, готовящиеся к бою. Обе лежали в песках, взывая к Амону, чтобы он уничтожил неприятеля. Ливийцы желали позора и смерти египтянам, египтяне посылали проклятия ливийцам. Молитвы тех и других, как две стаи ястребов, столкнулись над землей и упали вниз в пустыню. Амон их даже не заметил. И куда ни обращал фараон утомленный свой взор, везде было одно и то же. Крестьяне молили об отдыхе и сокращении налогов, писцы о том, чтобы росли налоги и никогда не кончалась работа. Жрецы молили Амона о продлении жизни Рамсеса XII и истреблении финикиян, мешавших им в денежных операциях; номархи призывали бога, чтобы он сохранил финикиян и благословил скорее на царство Рамсеса XIII, который умерит произвол жрецов. Голодные львы, шакалы и гиены жаждали свежей крови; олени, серны и зайцы со страхом покидали свои убежища, думая о том, как бы сохранить свою жалкую жизнь хотя бы еще на один день. Однако опыт говорил им, что и в эту ночь десяток-другой из их братии должен погибнуть, чтобы насытить хищников.

И так во всем мире царила вражда. Каждый желал того, что преисполняло страхом других. Каждый просил о благе для себя, не думая о том, что это может причинить вред ближнему.

Поэтому молитвы их, хотя и были как серебристые птицы, взвивавшиеся к небу, не достигали цели. И божественный Амон, до которого не долетала с земли ни одна молитва, опустив руки на колени, все больше углублялся в созерцание собственной божественности, а в мире продолжали царить слепой произвол и случай.

И вдруг фараон услышал женский голос:

— Ступай-ка, баловник, домой, пора на молитву.

— Сейчас! Сейчас! — ответил детский голосок.

Повелитель посмотрел туда, откуда доносились голоса, и увидел убогую мазанку писца на скотном дворе. Хозяин ее при свете заходящего солнца кончал свою дневную запись, жена его дробила камнем пшеничные зерна, чтобы испечь лепешки, а перед домом, как молодой козленок, бегал и прыгал шестилетний мальчуган, смеясь неизвестно чему.

По-видимому, его опьянял полный ароматов вечерний воздух.

— Сынок, а сынок! Иди же скорее, помолимся, — повторяла мать.

— Сейчас! Сейчас — отвечал мальчуган, продолжая бегать и резвиться.

Наконец женщина, видя, что солнце начинает уже погружаться в пески пустыни, отложила свой камень и, выйдя во двор, поймала шалуна, как жеребенка. Тот сопротивлялся, но в конце концов подчинился матери. А та втащила его в хижину и посадила на пол, придерживая его, чтобы он опять не убежал.

— Не вертись, — сказала она. — Подбери ноги и сиди смирно, а руки сложи и подними вверх. Ах ты, нехороший ребенок!

Мальчуган знал, что ему не отвертеться от молитвы, и, чтобы поскорее вырваться опять во двор, поднял благоговейно глаза и руки к небу и тоненьким, пискливым голоском затараторил прерывающейся скороговоркой:

— Благодарю тебя, добрый бог Амон, за то, что ты сохранил сегодня отца от бед, а маме дал пшеницы на лепешки... А еще за что? За то, что создал небо и землю и ниспослал ей Нил, который приносит нам хлеб. Еще за что? Ах да, знаю! И еще благодарю тебя за то, что так хорошо на дворе, что растут цветы, поют птички и что пальма приносит сладкие финики... И за то хорошее, что ты нам подарил, пусть все тебя любят, как я, и восхваляют лучше, чем я, потому что я еще мал и меня не учили мудрости. Ну, вот и все...

— Скверный ребенок! — проворчал писец, склонившись над своей записью. — Скверный ребенок! Так небрежно славить ты бога Амона!

Но фараон в волшебном шаре увидел нечто совсем другое. Молитва расшалившегося мальчугана жаворонком взвилась к небу и, трепеща крылышками, поднималась все выше и выше, до самого престола, где предвечный Амон, сложив на коленях руки, углубился в созерцание своего всемогущества.

Молитва вознеслась еще выше, до самых ушей бога, и продолжала петь ему тоненьким детским голоском:

«И за то хорошее, что ты нам подарил, пусть все тебя любят, как я...»

При этих словах углубившийся в самосозерцание бог открыл глаза, и из них пал на мир луч счастья. От неба до земли воцарилась беспредельная тишина. Прекратились всякие страдания, всякий страх, всякие обиды. Свистящая стрела повисла в воздухе, лев застыл в прыжке за ланью, занесенная дубинка не опустилась на спину раба.

Больной забыл о страданиях, заблудившийся в пустыне — о голоде, узник — о цепях. Затихла буря, и остановилась волна морская, готовившаяся поглотить корабль. И на всей земле воцарился такой мир, что солнце, уже скрывшееся за горизонтом, снова подняло свой лучезарный лик.

Фараон очнулся и увидел перед собой маленький столик, на нем черный шар, а рядом халдея Бероэса.

— Мери-Амон-Рамсес! — спросил жрец. — Ты нашел человека, молитва которого доходит до престола предвечного?

— Да, — ответил фараон.

— Кто же он? Князь, воин или пророк? Или, может быть, простой отшельник?

— Это маленький шестилетний мальчик, который ни о чем не просил Амона, а только за все благодарил.

— А ты знаешь, где он живет? — спросил халдей.

— Знаю. Но я не хочу пользоваться силой его молитв. Мир, Бероэс, это огромный водоворот, в котором люди кружатся, как песчинки, а кружит их несчастье. Ребенок же своей молитвой дает людям то, чего я не в силах дать, — короткий миг забвения и покоя... Забвения и покоя... Понимаешь, халдей?

Бероэс молчал.

24

С восходом солнца, в день 21 атира, в лагерь на берегу Содовых озер пришел из Мемфиса приказ, согласно которому три полка должны были отправиться в Ливию и стать гарнизонами в городах. Остальной египетской армии вместе с наследником предстояло вернуться домой. Войска ликующими кликами встретили это распоряжение. Пустыня уже начинала им надоедать. Несмотря на подвоз из Египта и из покоренной Ливии, продовольствия не хватало, вода в наскоро вырытых колодцах истощалась, солнечный зной сжигал тело, а рыжий песок поражал легкие и глаза. Солдаты стали болеть дизентерией и злокачественным воспалением век.

Рамсес отдал приказ свернуть в лагерь. Три полка коренных египтян он отправил в Ливию, дав солдатам наказ мягко обращаться с жителями и никогда не бродить в одиночку. Главную же часть армии направил в Мемфис, оставив незначительные гарнизоны в крепостце и на стекольном заводе.

В девять часов утра, несмотря на зной, обе армии были уже в пути: одна на север, другая на юг.

Тогда к наследнику подошел святой Ментесуфис и сказал:

— Было бы хорошо, если бы ты как можно скорее вернулся в Мемфис. На половине пути будут поданы свежие лошади...

— Значит, мой отец так тяжело болен? — спросил Рамсес.

Жрец склонил голову.

Царевич передал командование Ментесуфису, с просьбой ни в чем не изменять уже отданных распоряжений, не посоветовавшись с военачальниками. Сам же, взяв Пентуэра, Тутмоса и двадцать лучших азиатских конников, поскакал в Мемфис.

За пять часов они проехали половину пути, и тут, как предупреждал Ментесуфис, их ждали свежие лошади. Конвой сменился, и Рамсес со своими двумя спутниками и новым конвоем после короткого отдыха помчался дальше.

— О горе! — стонал щеголь Тутмос. — Мало того, что уже пять дней я не принимаю ванны и забыл, что такое розовое масло, — изволь-ка сделать еще два форсированных марша в один день. Я уверен, что, когда мы очутимся на месте, ни одна танцовщица не захочет на меня взглянуть.

— А чем ты лучше нас? — спросил царевич.

— Я слабее, — вздохнул Тутмос. — Ты привык к верховой езде, как гиксос; Пентуэр — тот готов путешествовать верхом даже на раскаленном мече. А я такой неясный...

С закатом солнца путники поднялись на высокий холм, откуда открывалась величественная картина: перед ними простиралась зеленоватая долина Египта, а на фоне ее, словно ряд багровых костров, пламенели треугольники пирамид. Немного правее пирамид, тоже как будто в огне, сверкали верхушки пилонов Мемфиса, окутанного синеватой дымкой.

— Скорей! Скорей! — торопил Рамсес.

Немного спустя их опять окружила ржаво-коричневая пустыня, и опять засверкала цепь пирамид, пока все не растаяло в бледном сумраке.

Когда спустилась ночь, путники добрались до обширной страны мертвых, тянувшейся вдоль левого берега реки по холмам на протяжении нескольких десятков километров.

Там в эпоху Древнего царства хоронили на вечные времена египтян: царей — в огромных пирамидах, князей и вельмож — в гробницах, простолюдинов — в мазанках. Там покоились миллионы мумий не только людей, но и животных: собак, кошек, птиц — словом, всех тварей, которые при жизни были дороги человеку.

Во времена Рамсеса Великого кладбище царей и вельмож было перенесено в Фивы, а по соседству с пирамидами стали хоронить только крестьян и работников из ближайших окрестностей.

Среди рассеянных кругом гробниц царевич и его свита наткнулись на группу людей, скользивших, как тени.

— Кто вы такие? — спросил начальник конвоя.

— Мы — бедные слуги фараона, возвращаемся от наших умерших, мы снесли им немного роз, пива и лепешек.

— А может быть, вы заглядывали в чужие гробницы?

— О боги! — воскликнул один из них. — Разве мы способны на подобное святотатство? Это только распутные фиванцы, да отсохнут у них руки, беспокоят мертвых, чтобы пропить в кабаках их имущество.

— А что означают эти костры, там, на севере? — спросил царевич.

— Ты, должно быть, издалека едешь, господин, если тебе неизвестно, что завтра возвращается наш наследник с победоносной армией... Великий воитель! Только одно сражение — и он покориł презренных ливийцев. Это жители Мемфиса вышли торжественно встречать его... Тридцать тысяч народу... То-то будет крику.

— Понимаю, — шепнул царевич Пентуэру, — святой Ментесуфис отправил меня пораньше, чтобы лишить триумфальной встречи. Ладно! Пусть будет так до поры до времени.

Кони устали, надо было передохнуть. Рамсес послал нескольких всадников договориться относительно лодок для переправы, а сам с остальной частью конвоя остановился под кущей пальм между группой пирамид и сфинксом.

Эта группа составляет северную окраину бесконечных кладбищ. На площади поверхностью приблизительно в квадратный километр размещено множество гробниц и небольших усыпальниц, над которыми возвышаются три величайшие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина^[123], а также сфинкс.

Эти колоссальные сооружения удалены друг от друга всего на несколько сотен шагов. Три пирамиды стоят в один ряд с северо-востока к юго-западу, а к востоку от этой линии, поближе к Нилу, лежит сфинкс, у ног которого расположен подземный храм Гора.

Пирамиды, и в особенности пирамида Хеопса, как создание человеческого труда, поражают своими размерами. Последняя представляет собой остроконечный каменный холм высотой в тридцать пять ярусов (сто тридцать семь метров), стоящий на квадратном основании, каждая сторона которого равна почти тремстам пятидесяти шагам (двести двадцать семь метров). Пирамида занимает около десяти моргов поверхности, а ее четыре треугольные грани покрыли бы поверхность в семнадцать моргов. На постройку ее пошло такое огромное количество камня, что из него можно было бы воздвигнуть стену выше человеческого роста и толщиной в полметра, а длиной в две тысячи пятьсот километров.

Когда свита наследника расположилась под чахлыми деревьями, часть солдат занялась поисками воды, остальные достали сухари. Тутмос же бросился на землю и заснул. Рамсес и Пентуэр стали ходить, беседуя друг с другом.

Ночь была довольно светлая, так что можно было видеть с одной стороны гигантские силуэты пирамид, а с другой — фигуру сфинкса, который по сравнению с ними казался маленьким.

— Я здесь уже четвертый раз, — сказал наследник, — и всегда мое сердце преисполняется изумлением и скорбью. Когда я был еще учеником высшей школы, я думал, что, вступив на престол, воздвигну нечто более величественное, чем пирамида Хеопса. А сейчас мне хочется смеяться над своей дерзостью, когда я вспоминаю, что великий фараон при постройке своей гробницы заплатил тысячу шестьсот талантов[124] за одни овощи для рабочих. Откуда бы я взял столько денег и людей?

— Не завидуй, господин, Хеопсу! — ответил жрец. — Другие фараоны оставили по себе лучшие творения: озера, каналы, дороги, храмы и школы.

— Да разве можно это сравнить с пирамидами?

— Разумеется, нет, — горячо возразил ему жрец, — в моих глазах и в глазах всего народа каждая пирамида — великое преступление, и самое большое — пирамида Хеопса.

— Ты преувеличиваешь, — остановил его царевич.

— Нисколько! Свою гигантскую гробницу фараон строил тридцать лет, в продолжение которых сто тысяч человек работали по три месяца в году. А какая польза от всего этого труда? Кого он накормил, одел, исцелил? Напротив, каждый год на этой работе гибло от десяти до двадцати тысяч народу. Другими словами, гробница Хеопса поглотила жизнь полумиллиона людей. А сколько крови, слез, страданий — кто сочтет? Поэтому не удивляйся, господин, что египетский крестьянин с ужасом смотрит на запад, где над горизонтом багровеют или чернеют треугольные контуры пирамид. Ведь это свидетели его страданий и бессмысленного труда. И подумать только, что так будет всегда, пока не рассыплются в прах эти свидетельства человеческого тщеславия! Но когда это будет? Три тысячи лет они страшат нас своим видом, а стены их все еще гладки и на них можно еще прочитать гигантские надписи.

— В ту ночь в пустыне ты говорил другое, — заметил наследник.

— Тогда я не видел их перед собой. А когда они у меня, как сейчас, перед глазами, меня окружают рыдающие духи замученных крестьян и шепчут: «Смотри, что с нами сделали. А ведь и наши кости чувствовали боль и наши сердца жаждали отдыха».

Рамсес был неприятно задет этим порывом жреца.

— Мой святейший отец, — сказал он, немного помолчав, — иначе представил мне это. Когда мы были с ним здесь пять лет назад, божественный владыка рассказал мне следующую историю:

«Во времена фараона Тутмоса Первого[125] приехали эфиопские послы договориться о размерах дани. Это был дерзкий народ. Они заявили, что одна

проигранная война еще ничего не значит, ибо в следующий раз судьба может оказаться к ним милостивее, и несколько месяцев торговались из-за дани. Напрасно мудрый царь, желая мирно вразумить их, показывал им наши дороги и каналы. Они отвечали, что в их стране воды вдоволь и она ничего не стоит. Напрасно показывали им сокровищницы храмов, — они уверяли, что в их земле скрыто гораздо больше золота и драгоценных камней, чем во всем Египте. Напрасно царь устраивал перед ними смотры своим войскам, — они утверждали, что эфиопов несравненно больше, чем солдат у фараона. Тогда фараон привел их сюда, где мы стоим, и показал пирамиды. Эфиопские послы обошли их кругом, прочитали надписи и на следующий день заключили договор, какого от них требовали».

— Я не понял смысла этой истории, — продолжал Рамсес. — Тогда мой святой отец растолковал мне ее.

«Сын мой, — сказал он, — эти пирамиды — вечное свидетельство необычайного могущества Египта. Если бы какой-нибудь человек захотел воздвигнуть себе пирамиду, он уложил бы небольшую кучу камней, бросил бы через несколько часов свою работу и спросил бы: „На что она мне?“ Десять, сто, тысяча человек нагромоздили бы немного больше камней, ссыпали бы их в беспорядке и спустя несколько дней тоже бросили бы работу. На что она им? Но когда египетский фараон, когда египетское государство задумает собрать груды камней, — оно сгоняет сотни тысяч людей и строит десятки лет, пока работа не доведена до конца. Ибо дело не в том, нужны ли пирамиды, а в том, чтобы воля фараона, раз высказанная, была исполнена».

Да, Пентуэр, пирамида — это не могила Хеопса, а воля Хеопса. Воля, которая находит такое количество исполнителей, какого нет ни у одного царя на свете, и проводится так планомерно и настойчиво, как это может быть только у богов. Еще в школе меня учили, что человеческая воля — это великая сила, величайшая сила под солнцем. А ведь воля человека может поднять едва лишь один камень. Как же велика, значит, воля фараона, который воздвиг гору камней только потому, что ему так захотелось, что он так пожелал, хотя бы и без всякой цели.

— А ты, господин, тоже хотел бы таким образом доказать свое могущество? — спросил его вдруг Пентуэр.

— Нет! — ответил царевич решительно. — Раз проявив свою силу, фараоны могут быть уже милосердны. Разве что кто-нибудь попытался бы противиться их повелениям.

«А ведь этому юноше всего двадцать три года!» — со страхом подумал жрец.

Они повернули к реке и некоторое время шли молча.

— Ляг, господин, — сказал жрец. — Засни! Мы совершили большой переход.

— Разве я могу уснуть? — ответил наследник. — То меня окружают эти сотни крестьян, погибших, как ты говоришь, при постройке пирамид (как будто без этих пирамид они жили бы вечно!), то я думаю о моем святейшем отце, который,

может быть, в эту минуту угасает... Крестьяне страдают! Крестьяне проливают свою кровь!.. Кто докажет мне, что мой божественный отец не больше мучается на своем драгоценном ложе, чем твои крестьяне, таскающие раскаленные от зноя камни? Крестьяне! Вечно эти крестьяне! Для тебя, святой отец, только тот заслуживает сострадания, кого едят вши. Целый ряд фараонов сошел в могилу, одни умерли от тяжелых болезней, другие были убиты, но ты о них не помнишь. Ты думаешь только о крестьянах, заслуга которых в том, что они рождали других крестьян, черпали нильскую грязь или пихали в рот своим коровам ячменные катышки... А мой отец? А я? Разве у меня не убили сына и женщину моего дома? Был ли ко мне милосерд тифон в пустыне? Разве не болят мои кости от долгой езды? А камни ливийских пращников не свистели над моей головой? Или есть у меня договор с болезнями и со смертью, что они будут ко мне милостивее, чем к твоему крестьянину? Посмотри вон туда... Азиаты спят, и спокойствием дышит их грудь, а я, их повелитель, болею душою о вчерашнем и с тревогой жду завтрашнего дня. Спроси у столетнего крестьянина, испытал ли он за всю свою жизнь столько горя, сколько я в эти несколько месяцев, что был наместником и главнокомандующим?

Перед ними постепенно вырисовывалась в темноте странная тень. Это было сооружение длиной в пятьдесят шагов, высотой в три этажа, сбоку возвышалось что-то вроде пятиэтажной башни странной формы.

— Вот и сфинкс, — воскликнул взволнованный предыдущим разговором царевич, — это детище жрецов! Сколько бы раз я не видел его, днем или ночью, всегда меня мучил вопрос: что это такое и для чего? Что такое пирамиды, я понимаю. Постройкой пирамид могущественный фараон хотел показать свою силу или, что, может быть, разумнее, хотел обеспечить себе вечную жизнь в загробном мире, которую бы не потревожил ни один враг или вор. Но сфинкс? Конечно, это эмблема священной касты жрецов: большая мудрая голова и львиные когти... Омерзительный идол, исполненный двойственности и как будто гордый тем, что мы рядом с ним подобны саранче. Не человек, не животное, не камень... Что же он такое? Каково его назначение? А улыбка... Дивишься незыблемости пирамид — он улыбается, идешь побеседовать с гробами — он тоже улыбается. Зазеленеют ли поля Египта, или тифон пустит во все концы своих огненных скакунов, невольник ли ищет свободы в пустыне, или Рамсес Великий преследует побежденные народы, — у него для всех одна и та же безжизненная улыбка. Девятнадцать династий прошли перед ним, как тени, а он улыбается... и улыбался бы, если бы даже высох Нил и Египет исчез под песками. Ну разве это не чудовище, тем более ужасное, что у него кроткое человеческое лицо? Вечный, он никогда не знал жалости к бренному миру, исполненному горестей.

— Вспомни, государь, лики богов, — сказал Пентуэр, — или мумий. Все, кто наделен бессмертием, с таким же спокойствием взирают на то, что преходяще. Даже человек, когда сам он уже отошел в вечность.

— Боги иногда еще внемлют нашим просьбам, — сказал как бы про себя царевич, — а его ничто не трогает. Он не знает сострадания... Он над всем смеется и в каждого вселяет ужас. Если б я даже знал, что уста его скрывают предсказание моей судьбы или совет, как восстановить мощь государства, и тогда я не осмелился бы спросить его. Мне кажется, что я услышал бы нечто страшное, сказанное с неумолимым спокойствием. Вот каково это создание жрецов и их воплощение. Он страшнее человека, потому что у него львиное тело; страшнее зверя, потому что у него голова человека; страшнее скалы, потому что в нем таится непонятная жизнь.

До них донеслись глухие стонущие звуки, источника которых нельзя было угадать.

— Уж не сфинкс ли поет? — спросил царевич с удивлением.

— Это голоса из его подземного храма, — ответил жрец. — Но почему они молятся в такой час?

— Спроси лучше: зачем они вообще молятся, раз их никто не слышит.

Пентуэр направился в ту сторону, откуда доносилось пение, а царевич присел на камень, заложил руки за спину, закинул голову и стал смотреть в страшное лицо сфинкса.

Несмотря на темноту, он ясно видел загадочные черты: сумрак вливал в них душу и жизнь. Чем дольше всматривался Рамсес в это лицо, тем сильнее чувствовал, что был предубежден и что его неприязнь к сфинксу несправедлива.

В лице сфинкса не было жестокости, — оно выражало покорность судьбе, а улыбка его казалась скорее грустной, чем насмешливой. Он не издевался над убожеством и брэнностью человека, а как будто не замечал их. Его выразительные, обращенные к небу глаза смотрели за Нил, в страны, скрытые от человеческого взора. Следил ли он за тревожным ростом ассирийской монархии или за назойливой суетней финикиян, предвидел ли зарождение Греции или события, которые надвигались на берега Иордана? Кто угадает?

Одно Рамсес мог сказать с уверенностью, — что сфинкс смотрит, думает и ждет чего-то со спокойной улыбкой, достойной сверхъестественного существа. И, казалось, когда это что-то появится на горизонте, сфинкс встанет и пойдет ему навстречу.

Что это будет и когда? Тайна, разгадка которой ясно рисовалась на лице Вечного. Однако это должно свершиться внезапно, ибо сфинкс никогда не смыкает глаз и смотрит... все смотрит...

Тем временем Пентуэр нашел окно, через которое из подземелья доносилось заунывное пение жрецов:

Хор первый. «Вставай, лучезарный, словно Исида, каким встает Сотис на небосклоне утром, в начале каждого года».

Хор второй. «Бог Амон-Ра[126] был по правую мою руку и по левую. Он вручил мне власть над всем миром и помог покорить врагов моих».

Хор первый. «Ты был еще молод и носил заплетенную косичку[127], но в Египте ничто не совершалось без твоего повеления, без тебя не был заложен ни один камень строящегося здания».

Хор второй. «Явился я к тебе, владыка богов, великий бог, господин солнца. Тум обещает мне, что появится солнце и что я буду похож на него, а Нил — что я получу трон Осириса и буду владеть им вовеки».

Хор первый. «Ты вернулся в мир, чтимый богами, повелитель обоих миров, Ра-Мери-Амон-Рамсес. Обещаю тебе вечное царство. Цари придут к тебе и поклонятся тебе».

Хор второй. «О ты, Осирис-Рамсес! Вечно живущий сын неба, рожденный богиней Нут. Пусть мать твоя окутает тебя тайной неба и пусть позволит, чтобы ты стал богом, о ты, ты, Осирис-Рамсес!»[128].

«Значит, святейший владыка уже умер!» — подумал Пентуэр. Он отошел от окна и приблизился к месту, где сидел погруженный в мечты наследник. Жрец опустил перед ним на колени, пал ниц и воскликнул:

— Привет тебе, фараон, повелитель мира!

— Что ты говоришь? — воскликнул царевич, вскочив.

— Пусть бог единый и всемогущий ниспошлет тебе мудрость, а народу твоему — силы и счастье!

— Встань, Пентуэр! Так, значит... так я...

Рамсес вдруг взял жреца за плечи и повернул его к сфинксу.

— Посмотри на него, — сказал он.

Ни в лице, ни во всей фигуре колосса не произошло никакой перемены. Один фараон переступил порог вечности, другой восходил, как солнце, а каменное лицо бога или чудовища осталось таким же, как было. На губах кроткая усмешка над земною властью и славой, во взгляде ожидание *чего-то*, что должно прийти, но неизвестно, когда придет.

Оба посланных вернулись с переправы и сообщили, что лодки скоро будут готовы.

Пентуэр направился к пальмам и закричал:

— Вставайте! Вставайте!

Чуткие азиаты тотчас вскочили и принялись взнуздывать лошадей. Встал и Тутмос, зевая.

— Бррр! — ворчал он, — так холодно. Добрая вещь — сон! Чуть-чуть вздремнул — и снова уже могу ехать хоть на край света, лишь бы не к Содовым озерам. Бррр! Я

забыл уже вкус вина, и мне кажется, что руки у меня обрастают шерстью, словно лапы шакала. А до дворца еще не меньше двух часов езды. Хорошо живется крестьянам: спят себе, бездельники, вовсе не беспокоясь о чистоте собственного тела, и не идут на работу до тех пор, пока жена не приготовит им ячменного отвара. А я, большой господин, должен, словно злодей, слоняться по пустыне, не имея ни глотка воды.

Лошади были готовы. Рамсес сел на своего скакуна. Тогда подошел Пентуэр, взял под уздцы коня повелителя и повел его, сам бредя пешком.

— Что это? — спросил удивленный Тутмос.

Но тотчас же сообразил, побежал и взял лошадь Рамсеса под уздцы с другой стороны. Все шли молча, пораженные поведением жреца, однако чувствуя, что произошло что-то очень важное.

Через несколько сотен шагов пустыня кончилась и перед путниками открылась дорога среди полей.

— В седла! — скомандовал Рамсес. — Надо торопиться.

— Его святейшество велел садиться на коней! — крикнул конвойным Пентуэр.

Все остолбенели. Тутмос же, положив руку на меч, воскликнул:

— Да живет вечно всемогущий и милостивый владыка наш, фараон Рамсес!

— Да живет вечно! — взвыли азиаты, потрясая оружием.

— Спасибо вам, верные мои солдаты! — ответил повелитель.

Спустя минуту всадники уже мчались вперед, к реке.